СЛУЖУ РЕВОЛЮЦИИ

Мне казалось, что виденный нами,
пережитый нами эпос Октября
и гражданской войны можно изобразить
метафорическим, возвышенным слогом,
а ритм книг должен быть стремительным,
в наиболее пафосных местах
переходя в стихотворение без рифм...

Только так,
можно было
о крови и п
о счастье и
за социализ

, казалось мне,
ю рассказать о недавних битвах,
пыли боевых дорог,
і горе борьбы за землю,
зм, за мир.

Вс. Иванов

СЛУЖУ РЕВОЛЮЦИИ

ПРОЗА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Москва
«Просвещение»
1987

ББК 84Р7-4
С49

Рецензенты:
доктор филологических наук *Е. Б. Скороспелова*,
учитель средней школы *Н. Ф. Онуфриева*

Составление, предисловие, комментарии ***А. Г. Лысова***
Оформление художника ***Н. А. Абакумова***

Печатается по изданиям: Вс. Иванов. Бронепоезд 14-69.— М.: «Правда», 1983; А. Малышкин. Сочинения в двух томах.— М.: «Правда», 1965.— Т. 1; В. Кин. Избранное.— М.: «Советский писатель», 1965.

Служу революции: Проза о гражд. войне / Сост.,
С49 предисл., коммент. А. Г. Лысова.— М.: Просвещение, 1987.—
256 с.: ил.

В сборник вошли произведения советских писателей о гражданской войне, написанные в 20-е годы: «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Падение Даира» А. Малышкина, «По ту сторону» В. Кина.
Книга предназначена учащимся старших классов.

С $\frac{4306000000-504}{103(03)-87}$ КБ—52—39—1986 (4800000000) ББК 84Р7-4

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
(О повестях Вс. Иванова, А. Малышкина и романе В. Кина)

> Двадцатый пришел как-то сразу, вдруг. Еще вчера белые снимали Орел и Тулу, еще вчера в Петрограде дрожали стекла от пушек Юденича, и Колчак гнал чешские эшелоны на Москву. И вдруг, почти внезапно, рванулась армия. И красноармейцы уже в Крыму ели... терпкий виноград... уже под Варшавой на стенах польских фольварков писали мелом — «не трудящийся, да не ест», а в Иркутске ветер трепал расклеенные объявления о расстреле адмирала. Это он, двадцатый, выдумал веселое слово — «даешь!»
>
> *В. Кин* («Старый товарищ»)

Непросто и по-разному создавались эти книги...

Одну из них — героическую песнь о штурме Перекопа — писатель творил на «еще не остывшей от боев земле», в только что освобожденном Крыму, где все еще было неспокойно и нередко приходилось обрывать рукопись на полуслове и «стрелять в форточку из нагана, чтобы отпугнуть бандитскую шпану».

Другая — повесть об обреченном бронепоезде — писалась в голодном, пообносившемся, почти обезлюдевшем Петрограде первого послевоенного года. Черновиком для пробных набросков служила порядком изношенная классная доска, на которую крупными буквами наносил, правил, стирал и вновь выводил на шероховатом глянце свои «рабочие пробы» неутомимый автор. «Перебелялся» же текст на оборотную сторону географических карт, вырванных из Британской Энциклопедии. Все это, по шутливому свидетельству современников, предопределило и мировой размах, и энергичный прерывистый стиль в будущем прославленного цикла «Партизанских повестей».

Третья книга была создана много позже, в Москве. Столицу, едва оправившуюся от бедствий и лишений военных лет, со всех сторон обступал уродливый быт нэпа с его самодовольной сытостью и вызывающей роскошью, кощунственной на фоне общей все еще тяжелой, неустоявшейся, аскетической жизни.

Жил писатель в безбытной комнатенке на Гоголевском бульваре, «работал над книгой преимущественно вечерами, много курил и, чтобы никому не мешать, уходил курить и писать на кухню», едва дождавшись, когда покинут ее «сумерничающие» обитатели. Порой озорная, порой лирически-строгая, а то и трагедийная сила вымысла влекла молодого писателя «по ту сторону» от мещанского быта и «по ту сторону» фронта, в тыл врага, по знакомым ему с юности, занесенным снегом путям, вслед за «кулацкими розвальнями», уносящими двух отважных комсомольцев в тот далекий и яростный мир, в котором были и «штурмовые ночи Спасска», и «с бою взятое Приморье», где все еще билось неистовое сердце Виталия Бонивура, и героический китаец Син Бин-у останавливал своим телом бронепоезд под номером 14-69.

«Мы входили в литературу волна за волной, нас было много».

«Падение Даира» А. Малышкина, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «По ту сторону» В. Кина... Что роднит, повивает одной суровой нитью эти три книги, три итога духовных биографий, а по существу, три писательские судьбы? Стоящие в едином ряду с лучшим, что создавалось тогда молодой советской литературой, все они объединены пафосом личной сопричастности к героическим свершениям своего времени. «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток»

А. Серафимовича, лирический триптих повестей Б. Лавренева («Ветер», «Сорок первый», «Рассказ о простой вещи»), «Барсуки» Л. Леонова, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Разгром» А. Фадеева — на всех, названных и неназванных, будет лежать та же печать духовного богатырства, будет ощущаться тот же эпический размах, который обрела в революции каждая индивидуальная писательская судьба. Органическая целостность всей советской литературы определялась прежде всего тем, что она была рождена людьми нового исторического склада, людьми иного измерения, «пронизанного ветром Октября» (В. Луговской). И не «варварская лира», а простой походный карандаш, годный и для разметки маршрута на штабной карте, и для короткой строчки приказа, служил орудием поэтического воплощения эпохи.

Гуманизм революции заключается в том, что всей своей мощью она вошла в самые сокровенные глубины человека, принявшего ее и слившегося с ней.

Так 17-й год застает на «задворках» бывшей Российской империи Всеволода Иванова, будущего писателя, а пока странствующего факира, сочинителя коротеньких «антре» для клоунов, а затем типографского рабочего, книжника и мечтателя, проходящего свои жизненные «университеты». А вот — 21-й год. Петроград. Промерзшая аудитория Литературной студии Пролеткульта. Кряжистый, обросший бородой солдат в куцей шинельшке и «обгорелых обмотках», отогревая в руках замерзающие чернила и близоруко щурясь, слушает глуховатый голос Блока, читающего лекцию...

Такое же выпрямление в полный рост человека происходит и у севастопольских пирсов, где вахтенным офицером на минном тральщике служит бывший филолог, автор десятка элегических рассказов из жизни русского захолустья — Александр Малышкин. Но и здесь начинается «время, о котором,— как пишет создатель «Даира», — не рассказать простым перечнем фактов. Время ломки биографий, время неожиданных негаданных профессий, время, когда многим приходилось рождаться сызнова...» «Пятилетняя кочевая жизнь с Красной Армией», жизнь на пределе человеческих возможностей. Кременчуг, Каховка, Перекоп, Севастополь — реальные вехи биографии. Личный итог этого общего легендарного движения — обретенная писателем художническая зрелость, увенчавшаяся созданием «Падения Даира».

«Семнадцатый буйный год, с серыми броневиками, с шелухой семечек на тротуарах, с наскоро сделанными бантиками на пиджаках и кепках Красной Гвардии. Он въехал в широкие российские просторы на подножках и крышах вагонов, на паровозном тендере, разбивая по дороге винные склады и стирая с дощатых уездных заборов номера списков Учредительного собрания...»[1]. В воронежской недвижной глухомани встречает дату своего второго рождения озорной пятнадцатилетний гимназист — Виктор Суровикин. Что ждало его в жизни!? Повторение участи отца — «жертвы и материала статистики», «с обычной статистической судьбой среднего рабочего», «с жизнью средней продолжительности», которая «была обречена течь по кривому руслу уездной улицы»[2].

Но и здесь революция оказалась сродни молодости: Виктор Суровикин, отбросив в своей фамилии ее «суровую» часть и придав обновленному имени стремительность клинка, как и его сверстники — Аркадий Голиков (Гайдар), Александр Фадеев, Николай Островский, «семимильными шагами врастал в коммунизм». Борисоглебский комсомолец «первого призыва», пулеметчик на польском фронте, боец ЧОНа, преследовавший остатки антоновских банд на Тамбовщине, крупный политработник, организатор комсомолии в «веселой Дальневосточной республике», революционер-подпольщик в Приморье, двадцатилетний редактор уральской газеты, а чуть позже известный журналист и знаменитый писатель. И опять — перед нами — все те же ступени, где личная биография становится Историей. Из этих распахнувшихся невероятных возможностей революции и следует в дальнейшем любимое присловье Кина о том, что «человек средних способностей может все!». В этом также

[1] Кин В. Избранное.— М., 1965.— С. 363.

[2] Там же.— С. 327—328.

была революция, которая вырвала человека из провинциального забвения и уездного эгоизма, востребовала личность во всем ее объеме, пробудила лучшее, что заложено в человеке и, обобщив самые разнообразные судьбы, придала каждому из принявших ее — смысл, цель и огромное счастье приобщения к великому Целому народа.

И в книгах о «последних страницах гражданской войны» есть все то, что позволяет, раскрыв первую страницу, сказать — это Книги Революции!

«И на Тихом океане свой закончили поход».

Всеволод Иванов вошел в литературу отрывистыми и частыми, но точно вымеренными шагами путешественника, закаленного в странствиях пешком. Его переполнял по-горьковски грандиозный опыт и знание жизни. И первый же дом, гостеприимно распахнувший двери перед путником и первопроходцем (будь то студия Пролеткульта, «узкий кабинет Горького» на Кронверкском проспекте или тесный кружок «серапионов-братьев»), наполнялся его нетерпеливыми, наплывающими один на другой, сильными правдой и страстью очевидца рассказами, принесенными вместе со свежими «цветными ветрами» сибирских дорог. И весь он, как есть, в потрепанной шинели солдата, которую в первую же ледяную петроградскую зиму сменил на сшитую крупными, суровыми стежками лохматую и неуклюжую шубу (из бог весть где добытой шкуры белого медведя), плотный, близоруко и лукаво щурящийся, неловкий той особой нерастраченной силой, которой живут его почти сказочные герои, он сам напоминал собою тех «былинных людей», о ком повел в советской литературе свои неиссякаемые и захватывающие рассказы.

Именно поэтому его «последняя страничка гражданской войны» открыла не только потаенные таежные тропы, по которым пробирались партизаны Сучана и Приморья, и не только «заповедный край», «обойденный», по словам Горького, вниманием «старой литературы». Она вывела на широкую магистраль советского литературного развития, на ту тревожную, полную опасностей и раздумий дорогу, по которой пойдут герои В. Кина, «угольное племя» фадеевского «Разгрома», вехами ее станут «Сердце Бонивура» Д. Нагишкина, «Даурия» К. Седых, «Красные и белые» и «На краю земли» А. Алдан-Семенова, вплоть до недавних — «Сибири» Г. Маркова, «Вечного зова» Анат. Иванова, «Комиссии» С. Залыгина.

Кто герои ивановского цикла «Партизанских повестей» («Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра»)? Это потомки тех измученных бесконечными переходами пешком не меренных российских пространств крестьян-переселенцев, которые пришли в Сибирь и Приамурье, влекомые мечтой об изобильных краях. Передвигаясь дорогами Ермака и продолжая этим мирное расселение России, они принесли в необжитые места опыт ее общинного и артельного труда, ее нравственные устои, прочно обосновались на этой щедрой и требующей хозяйской руки земле, с ее нескончаемой охотничьей зимой и коротким страдным летом землепашца. Так утвердилась и осела в дремучей вековой неподвижности уткнувшаяся в самый берег Великого Океана «бегствующая» в поисках счастья крестьянская держава.

Так и застал ее Октябрь. Поэтому «врастающие в революцию» из этой суровой предыстории герои Иванова — прежде всего «земляные люди»; они могут быть крестьянами, «артельщиками», «ребятами из приисковых», но всех их надежно держит вспоенная мужицким потом почва. Они «пахнут землей», их натруженные руки оттягивает та былинная «торбочка с тягой земной», с которой не справились Святогор-богатырь и Вольга с дружиною, но которую легко отрывает от земли могучий пахарь Микула Селянинович.

В этом Иванов, разрабатывавший одновременно с Малышкиным художественную концепцию революции как процесса величайшего исторического и духовного синтеза, несколько расходится в традициях героики с автором «Даира». Истоки ивановского лирико-героического повествования уже не в богатырском эпосе Киевской Руси, не в древнерусской воинской повести. Это эпос крестьянства, героизировавшего труд, испытывавшего своих ратников-богатырей, «допрежь послать их» к заставам отечества, будничной работой по выкорчевке леса, пахотой, всем укладом «привычного дела».

Поэтому Вершинин Никита Егорыч, «рыбак больших поколений» и «мужицкий

Еруслан», суеверно и по праву выбранный крестьянами за свое «вершининское счастье» и удачливость в работе председателем ревштаба, рвется от моря к «земле, пахоте». И сама восставшая волость, прежде чем взяться за «длинноствольное прадедовское ружье», подумывает, как «набить брюхо японцу землей — я в море».

Однако «земля» в повести — это не только держащая крестьянина пашня, нуждающаяся в защите. Образ ее — это и непрестанно вершащийся труд общей жизни, который, ни в чем и нигде не обрываясь, непосредственно вышел к перевалу, за которым дымились еще свежие, отринутые плугом пласты прежней российской действительности и откуда начиналась глубинная перепашка застойной ее истории. Это органическое вырастание стихии борьбы из естественных буден крестьянского труда осознается буквально в каждой строке ивановского повествования. Недаром мужики выстраиваются перед митингом, «как на покосе», «патроны рассыпаются, как зерно», машиниста вражеского бронепоезда «отстреливают» (в одной из редакций повести) обычным для промыслового человека выстрелом, «как белку — в глаз». И жизнь, оскорбленную сапогом интервента и бесчинствами «атаманцев», приходится «тесать, как избу» и не так, как прадеды. И наконец,— центральный эпизод ивановского героического сказа — остановка изрыгающего огонь и смерть «бронепоезда» — это не только подвиг интернационалиста Син Бин-у, повторенный тысячекратно на этих же рельсах вершининскими партизанами, но и тот же, повседневно-привычный для таежных людей труд лесорубов, упорно укладывающих на шестиверстный отрезок пути бревно к бревну, могучий поваленный лес, ограничивающий свободу передвижения бронированного чудовища.

Для Вс. Иванова чрезвычайно важно, что революция вырастает из исторической толщи народной жизни, из ее исконных родовых начал, трудовой организации, нравственного уклада и даже эстетического чувства. В определении Пеклеванова, большевика и организатора восстания как «предыдущего человека», звучат и традиция и новизна. Его интеллигентность, застенчивость, способность краснеть за чужую трусость, сам факт, как он уходит на восстание через окно, страдая от слез жены,— все это кажется Знобову ненужным для вождя. И другой смысл: «впереди идущий» — это те качества борца, которые рождали в народе легендарный ореол вокруг его имени.

Если для Малышкина революция — это концентрированная воля истории, ринутая на приступ «прекрасных времен», то для Иванова — это «процесс природы» (термин Л. Леонова; ср. у А. Блока: «революция сродни природе»), вырастающий из всего объема движущейся и совершенствующейся жизни, из по-есенински «живой завязи ее».

Ивановскому лиризму, так же как и малышкинскому, присуще значение всеобщности. Поэтому и неважно, кто вершит этот вольный поэтический полет: Вершинин ли, сам ли автор, силой лирического причастия открывающий свою сокровенную связь с происшедшим, или славный его «мильен» партизанского Приморья, или это голос самой природы, отбросившей, подобно людям, «последнюю пыль и последний деготь» прежнего существования. Нет здесь концов и начал: одно переходит в другое, и не вырвать никого и ничто из этой живой, неразрешимым узлом схваченной, неизбывной естественно-исторической связи. Звучат голоса в преображенном (бурей ли? битвой ли?), новом великом мире, всем существом осязается каждая клеточка бытия, идущая в «навсегда» к согласию, любви, вселенскому единству.

Это «процесс природы». Истории. Это Революция.

«Мы миру путь укажем новый!»

Властная правда «последнего и решительного боя» гражданской войны вела точный карандаш (Малышкин писал карандашом) одного из первых историков революции, ее солдата, ее сурового и страстного певца.

Реальная канва сюжета в «Падении Даира» строится на особо организованной, но точной событийной основе. В ней — истина, ядро авторской позиции; она — исторически конкретна, документирована, деловито-строга. Это «Республика, кричащая в аппараты» и требующая уничтожения «последних». Это истерзанные голодом, но клокочущие жизнью города севера России, по-

сылающие на юг эшелон за эшелоном, чтобы «телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир». Это средоточие схватки: сам Перекоп, легендарный перешеек, укрепленный и с севера и с юга линиями глубоко эшелонированной обороны, образующий неприступную железную террасу, которая и преграждает путь красным армиям. Это «лампы, полыхающие в полночь», «бессонница штабов», где разрабатывается невиданная доселе стратегия, основанная на «законе масс», возведенных в ранг активного творца собственной истории; «каменный, торжественный командарм N», готовящий свой знаменитый удар, лапидарные строки приказов, расцвеченные флажками штабные карты и — четкая цель: «бросить массы за террасу», «ворваться на плечах противника в Даир» и опрокинуть сопротивляющихся «последних» в море.

И все-все, включающее и военный совет в Тагинке, и четкое решение о «молниеносном маневре» в обход террасы «по осушенным ветром глубинам» Сиваша, и разнузданная вольница, и «целый день идущие войска», и наплывающие кадры с бесплотными тенями и «мертвецами» белого Даира,— вплоть до чеканной поступи парада, военного смотра армии «бездомных, суровых людей, национальностей, лохмотьев, из которых ковались победоносные полки...» с их торжественной и святой клятвой «Служ...ба ре-во-лю-цин»,— все это, доходящее до срединной точки повествования, еще только историческая экспозиция, расстановка сил, героический план, полагающий и героическую развертку военных событий.

Стратегический первотолчок пяти начальных глав во второй части «Падения Даира» облекается в реальные эпизоды борьбы. И во всех них обнаруживает «естество и плоть» коммунизма.

Повести присущ классический принцип зеркальной композиции, как бы перегибающий эту «последнюю страничку гражданской войны» пополам. И здесь на самом сгибе событий, от кажущегося несбыточным замысла командования до полного и точного его победоносного воплощения,— на этом переходе Мечты и Плана в зеркально повторенную практику исторического Дела, звучат адресованные всему миру пламенные строки «Интернационала», возникает символическая картина смертельной схватки Красного и Черного Всадников.

Еще ничего не решено, и «стоит желтый день на рубеже времен». Еще неясен исход боя, впереди — пятнадцатиградусный мороз, ледяные и соленые воды Сиваша и Чонгара, жажда, кровь, гибель, свинцовый ливень Даирской скалы. Еще мерно и четко идут в парадном строю земляки Малышкина — пензенцы («Не солдаты, а босая команда!»), проходят части Железной дивизии, «обмундированные с причудливым многообразием», еще силен за террасой белый Даир и томится в резерве «свежий, нерастраченный» корпус «мертвецов генерала Оборовича». Все еще накануне, и все уже решено. Ибо в революции —«конец эпохам, основанным на крови», в ней —«мировое, правда». И притихает железная поступь идущих последним парадом дивизий, «чудесным становится вечер, или чудесным переход фанфар, будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...».

С одной стороны, реальный сюжет взятия Перекопа лишен неуместной патетики и бьющего через край пафоса. Это Дело, конкретный труд исторического возмездия «старому и страшному миру» (А. Блок). К месту и вовремя звучат торжественные строки «Интернационала». Косноязычен в изъяснении своей мечты солдат и романтик Юзеф. По складам читает песенную строку плаката «мы — миру — путь — укажем — новый!» по-крестьянски обстоятельный и «добычливый» Микешин, смутно догадывающийся, что и его судьба находится на стрелке нового исторического времени. Нескладна и бесхитростна, но зато «от души», то ли песня, то ли частушка, завершающая последним аккордом музыкальную стихию «Даира» («Бей буржуазию! Товарищи, ура!»).

С другой стороны, перед этой реальной, суровой пядью перекопской земли, начиненной бетоном, железом, свинцом, порохом и «мстительным упорством последних», не только застыли в яростном ожидании красные

полки, но «с облаками бурь, с гулом движущихся где-то масс затихли и стали времена в вещем напряжении». Откуда-то из глубины седых веков доносятся отголоски былинного эпоса, прорывается глуховатый голос автора «Слова о полку...», призывавшего некогда Русь к единению. Ибо нет в минувшем равного вершащемуся.

И Даир — это уже не просто последний форпост обреченной белой гвардии. Это мечта, которая издревле ср ала с обжитых земель целые полчища крестьянских переселенцев и двигала их на восток, в поисках страны Беловодья, Муравии, «стороны Опоньской».

На самой окраине материка концентрируется воля Истории, собирается в единый фокус революционного устремления вся доселе блуждавшая в потемках «смутных эпох» оптимистическая энергия народа и, более того,— всего рода людского. Поэтому так органично, в эпизоде у костра, с наивной крестьянской мечтой о Даире как об изобильной стране («Там лето круглый год, по два раза яровое сеют... А богачества!») сочетаются еще неловкие и корявые, но глубоко прочувствованные слова разогнувшегося в мировую жизнь человека — солдатского философа Юзефа («У бедных дому нема. Една семья, една хата — интернационал»).

Так складывается малышкинская концепция революции как мирового процесса, впитавшего в себя все формы народного единства: от патриотического единения, «по набату» поднимавшего народы на борьбу с посягателем, до крестьянских общин, всем «миром» влекшихся за воспалившей их мечтой, все, вплоть до простых проявлений боевого товарищества, столь трогательно выраженных обычно угрюмым Микешиным («Давай за друг дружку держатца, братишка»).

Говоря о революции как о «величайшем организаторе мировых сил», Малышкин запечатлевает особое величие сложившегося революционного братства, новый уровень связи воспрянувших к исторической жизни людей и те процессы «восчеловечивания», которые повели каждого из «множеств» к подвигу борьбы и самопожертвования.

Вся масса армии как бы заключена писателем в духовный промежуток между земным и практическим Микешиным и выросшим до осознания мирового интернационального долга — мечтателем Юзефом. И все эти, часто колоритные фигуры, выхватываемые из «стотысячного» то отсветом костра, то беспристрастным светом дня, то тревожными вспышками боя, представляют собой разные ступени одухотворения и прозрения в борьбе, то есть все то многообразие целей, интересов, волений, которые в новом единстве переплавлялись в «железный поток» революции. Безгубый солдат, прогулявший шинель, но знающий «механизму»; рябая девица, лихо стреляющая из пулемета; «черноусый» щегольской вестовой Петухов, неожиданно обнаруживающий почти богатырскую удаль; «гололобый матрос» и др.

Входя в художественный мир «Падения Даира», мы попадаем в напряженную, драматически нагнетаемую атмосферу лирико-героического повествования, родственного «Слову о полку...» и рылеевским «Думам», пушкинской «Полтаве» и гоголевскому «Тарасу Бульбе». Однако это не переживание отделенной от событий историческим пространством личности повествователя и не печалящийся авторский голос, влекущийся за фатальной неизбежностью происходящего.

Лиризм Малышкина — всеобщий, высвечивает драматизм ярких духовных процессов, происходящих в эмоциональном мире всех и каждого из участников штурма перекопской твердыни.

Красота нового человека, в ком «работа высшего освобождения» «началась не с «я», но с «мы» (М. Горький), особенно хорошо видна на фоне обреченного белого Даира, распавшегося на отдельные, безликие людские атомы. Здесь исчезает мускульное напряжение эпопеи, никнет сказочная мечта, разрушается упругий строй речи, дробится целостный и полный мир.

Энергический строй и лирическая стихия глав, посвященных «множествам», как бы выталкивают, вытесняют художественно чуждое, аморфное вещество обрывков повествования о белом Даире. Ведь лиризм Малышкина — это прежде всего сосредоточенная сила причастности к Целому, он, изображая, выражает, передает в жгучем ритме, тяготеющем к стиху, в яркой звукописи,

в сквозных развивающихся метафорах новую тревожную Красоту мира, коллективистскую устремленность и подвижническую волю людей «новой исторической породы» (А. Фадеев).

Таким образом, даже самой формой повествования Малышкин противостоял всем тем ложным воззрениям на революцию, которые пытались представить ее как уравнительно-обезличивающий процесс, превращающий человека из самоценной величины всего лишь в цифру, в «единицу в миллионе».

Созданием «эпоса причастности», основанного на лирических оценках и психологическом высвечивании героического содержания жизни, Малышкин высказал свою горячую «любовь к новому миру как своему», положив совместно с Серафимовичем «Железного потока» и Ивановым «Партизанских повестей» начало той неиссякаемой традиции, которая в иных исторических обстоятельствах вспоила живой водой героики и лиризма «Василия Теркина» А. Твардовского и «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Звезду» Э. Казакевича, «Дневные звезды» О. Берггольц, «Берег» Ю. Бондарева.

«Учусь революции!»

Мог ли знать Виктор Кин, отправляясь, подобно своим будущим героям Безайсу и Матвееву, «догонять» незабываемый 19-й год, трясясь в теплушке агитвагона «занкающегося» на всех полустанках поезда,— догадывался ли, получая опасное задание и подпольное имя (Михаил Корнев) в Чите, в веселом двухэтажном доме, бывшем комсомольским сердцем Дальневосточного края,— что во всем этом было не только продолжение биографии революционера, но и исток подвига писателя-борца.

Не знал, не мог предположить; хотя с удивительным постоянством вел дневниковые записи, быстрым росчерком схватывая невероятные по трудности «заключительные страницы гражданской войны» в Приморье. Не запылились тетради, не остались проходными статьями-однодневками лирические фельетоны Кина, чуть ли не через день появлявшиеся на первой газетной полосе (внизу или в центре) «Комсомольской правды». Время затребовало и героический опыт бойца революции, и блестящий талант журналиста, и любовь к новому миру, чтобы все это — в ином, благородном сплаве — перешло в целомудренные, задорные и щемяще-трагические строки его мужественного романа «По ту сторону».

Литература 20-х годов, опираясь на сложные искания современности, видела смысл «великой учебы у революции» в том, чтобы воспитать человека, в ком не утратилось бы мужество, добытое в огне борьбы, и одновременно воплотились бы те идеалы, во имя утверждения которых и вспыхнул Октябрьский огонь.

Так же понимал уроки революции и Виктор Кин, измеряя все, рожденное ею, по самому крупному счету: «Я учусь большему и лучшему, что мне может дать современность — революции!» Писатель на основе воссозданной им героической действительности возложил на своих героев, «этих мальчиков с веснушками на похудевших по-взрослому лицах», труд выверения жизнью тех ценностей бытия, «вековечных забот мира», миновать которые не могла революция.

Кин не задавал смятенных вопросов строящемуся миру. Он, начав с оптимистических итогов литературы «лирического отчаяния», вызванной нелепыми «контрастами нэпа» («Гадюка» А. Толстого, «Вор» Л. Леонова, лирика Э. Багрицкого, М. Светлова середины 20-х годов), устремился вслед «за молодыми трубачами», «за блеском штыка, промелькнувшего в тучах, за песней трубы, утонувшей в лесах».

Так из «железного потока» книг о революции стала отливаться в чеканные формы характеров новая литература. Ей был присущ интерес к содержанию отдельной личности, но это не означало распада на одинокие составляющие героев. Логика революции, лирические формулы причастности к «делу класса» обнаруживали себя и во внешней целостности характера, и в самых сокровенных глубинах человека.

Восстановление в художественном полотне романа «По ту сторону» героической преемственной связи поколений, адресованное к современникам 1928 года, проходит у Кина непростым маршрутом. Роман напоминает собой многоколейный железнодорожный разъезд мировых, культурных, реально-жизненных путей,

на которых подзвдержалась со сломвииой рессорой «ромвитнческая теплушка» героев и где ив одяой нз «веток» формнруется «состав» новых качеств рвущегося в грядущее человека.

«Всего лншь мальчики», «лобвстые мальчики невиданной революцин», как скажут о иих поэты. «Молодость бродит в иих как зелеиый сок», оии катаются кубарем в веселой дружеской возне, «крвсиеют от удовольствия», когда нм дарят заветный нож, могут до отвала объедаться орехами, ио могут и честио сказать о друге, который должеи выйти из строя: «Пусть лучше умрет». Все ожнвает под нх ясным взглядом: у револьверв оказывается «простая и честная душа», «картв иаполняется трепетиой, смутиой жизиью». Время, «облагородившее людей» н «давшее иовый цвет вещам», определило нх место в жизия; их сжигает «велнкий и иевыноснмый огонь» свмопожертвоввиня, ведет стремительнвя мечта и презренне к старому миру.

Оян очень разиые, Безайс я Матвеев. Поэтому каждому яз иних прииадлежнт своя духовиая работа, свое измереяяе судеб людей и мирв тем героическим содержаиием, которое они заключнли в себе. Неугомояяый, экспвясивный, видящий все «в питнах смешяого», Безайс — жявее, иепосредствениее рыцврственяого Мвтвеева; его реакцни на события простодушны, более чутки, по-мальчишески искреиин н благородяы. В нем — «очароваиие человека» н свободиое от предрвссудков пламеное сердце. На Безвйса пясатель может положиться как иа свмого себя, нбо это н есть ои свм — только восемнадцатилетиий — Виктор Кни. Этой ввтобиографнчяостью в известном смысле и определяется лирическая струя ромаиа, продолжающего слввную традицию лирико-героических повествоваиий.

«Живая жнзнь» иравствеииого отиошеиия героев к событиям н сложиым духовиым положеиням уточняется, «правятся», как острне клиикв, общим содержаиием революции н причвстиостью к целому. Оставлениые однн иа одни с Историей, оян вынуждеяы соизмерять мнр естествеяиых человеческих эмоций с запросамн времеяя я необходямости, яе поступаясь ян в чем человеческой правдой. Собствеиио говоря, героя, оказавшнсь «по ту сторону» фроита, отделеииые от «большой землн» огиеяной стеной, постояиио ощущают живую связь с яею; предоставлеииые себе, оии являют островок революциоиного братства, взаимно дополняя друг друга и иепосредствеяностью иравствеиного содержаиия, и суровостью революцнониого долга (сцеиы с Майбой и Варей, за которую вступается Безайс; эпизод с вынесением пригвора Жуканову, в которого Безайс, иедавио смеявшийся иад Раскольниковым, смятеино отказывается стрелять).

Роман как бы разорван иадвое шальиой казацкой пулей, прошнвшей влетающне в Хабаровск розвальян и искалечившей Матвеева. Суровый, мужествеиный, предельио сдержанный Матвеев, по существу, волощает в ромаие вскетическую идею революция. Искреииа н даже педантнчиа его предаииость общему делу, честна и прямодушнв позиция категорнческого отвержения всего, что связаяо с традициониым строем человеческих чувств. Его иасмешки иад «уездяой любовью», со слезами я локояамя на пвмять, нронические выпады протнв «провинциальных» я «скучных историй» поиятны; от всей бульварщиины я пошлости прежией жизня его н Безайса освободила революция. Куда сложяее его яедооценка той горячей прнвязаииости, которой дврит его пробудившвяся к иовой жизин Варя, в зводно н равиодушне к добросердечню приютнвшего его «тихого семейства». Все это уже нтог поблескивающей в его душе стали, железиости человека, ие «жалеющего себя» н имеющего право «ие задумываться о других».

Но сталь стали — розиь. Она бывает «усталой», «спокойиой» нли той, что иадо «перелнвать». Но есть молодая сталь. Оиа должна звкаляться, чтобы стать богатырским булатом нли звеняющнм на взмахе клиником. Горячо любя своего героя, Кии ие прощает ему взгляд иа человека лнщь как иа «материал нсторин» («Людей надо считать взводамн, ротами н думать ие об одном человеке, а о массе»), яо дает возможиость в трагнчнейшем положеиии убедиться в глубоко человечной сущиости революцин.

Матвеев, как н поквлечеиная дорогвми «теплушка» героев, «отцеплеи» от общего состава и звгиан в жизиеиный тупик. Остаиавлнвается стремнтельиость

исторического времени, но не прекращается, а получает еще большую интенсивность неиссякаемая работа нравственной мысли. Все, что ни произносилось героем в начальной части повествования, ложится нравственным балластом на его плечи во второй. Прежде всего следует жестокое возмездие за небрежение любовью, взаимно оскорбленной (и Лизой и Матвеевым), за ложно понятую свободу и презрение ко всему, что составляет глубоко человеческий смысл любви. Подобно Базарову, наказанному автором в 18-й главе «Отцов и детей», Матвеев любит глубоко и страстно, всей чистой силой нетронутого юношеского сердца, но вынужден тоном опытного ловеласа произносить черствые и жестоко ранящие его слова о «расхожей паре чувств», не отломившемся куске и пр.

Стремительно сменяют друг друга эпизоды болезни, бреда, раздумий перед преданным дулом револьвера; то вспыхивает надежда, когда слышит Матвеев «простые отточенные слова бойцов», то гаснет, чтобы вновь воспалить его мечтой и «безумством храбрых» при виде одной лишь строки подпольной листовки. Все это высокие и нелегкие ступени духовного восхождения героя к вершинам новой человечности. Перемеряны все маски, отложены все «представления», сожжена недописанная (как у Онегина) повесть. Герой Кина нов, новы и пути его. Энергия завершенной нравственной работы, зажатая болью морального перелома, распрямляется в открытый, почти титанический рывок «по ту сторону» железной власти обстоятельств.

Матвеев не ищет смерти. Он идет к жизни широко и свободно, тем шагом, к которому приучила его революция, возвращая собственное уважение к себе, право на высокое человеческое достоинство, равное достоинству революции.

В последней неравной схватке — и безмятежная сусально-рождественская картина уездного городка, и звереющие от силы изуродованного, безоружного человека лица солдат, и слезы, над которыми так потешались друзья, текущие теперь молодой мальчишеской злостью по «одеревенелому лицу» одного из них, и конь, «добрый зверь» матвеевских сновидений, с «белой, похожей на сердце отметиной», и «тщеславие»... «последнее тщеславие». Идет и длится бой, и нет поэтому смерти героя. «Он получил все то, что ему причиталось. Снова он стоял в строю и смотрел на людей как равный и шел со всеми напролом, через жизнь и смерть...»

И вот — строка о «последнем тщеславии». В ней звучит уже не слабеющий голос борца, а почти богатырская бравада сотрясенного происшедшим самого молодого писателя, едва сдерживающего и боль свою, и те «торжественные и высокие слова», которых избегал в разговорах его «безнадежно нормальный», «немного педантичный» Матвеев. Да разве выразили бы слова то «изумительное и невозможное», ту «великолепную», но уже истекающую минуту, которая, вмещая всю жизнь, «встает над всем и горит ярким огнем»?!

...Нет, не мог знать восемнадцатилетний коммунист Виктор Кин, совершая свое опасное «путешествие в 200 верст, партизанскими тропами по дикой Уссурийской тайге»[1], в Приморье, что этот его полный «благородной мальчишеской отваги» романтический порыв, обретя художественную плоть, станет отправной точкой того главного для советской литературы процесса, в котором будет закаляться духовная сталь новых людей.

Роман Кина открывал славный путь «рожденных бурей», таких, как бессмертный Павел Корчагин, и тех, кто в годы войны и в послевоенный период подхватывали эту героическую эстафету. Среди них — герои-краснодонцы А. Фадеева, мужественно поднявшиеся над страшной волей обстоятельств, Алексей Мересьев Б. Полевого и герой автобиографической повести В. Титова «Всем смертям назло».

Войдем в тревожный мир этих, испытанных признанием и любовью многих поколений, правдивых и искренних книг. Задумаемся еще раз над их страницами о том, на каких высоких образцах людей создано все то, что мы сегодня называем — «советская литература».

А. Г. Лысов

---

[1] Иващенко Л. Виктор Кин на Дальнем Востоке // Литературный Владивосток, 1982.— С. 219.

БРОНЕПОЕЗД 14-69

Повесть

ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!

I

Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как сиежиые четки... На дверях купе, на рамах окна, иа ремие, на кобуре револьвера. Везде. Точио огромиая мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стрижеииой головой в огромные, как степиые дороги, плечи — прапорщик Обаб, помощиик капитана Незеласова.

Даже иа сигаретах, которые одну за другой испепелял капитаи и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугуииого китайского божка, тоже цифры и аиглийские поджарые, словио галеты, буквы.

— Что ж?.. Стекаем, как гиой из раиы... иа окраииы... Мы!.. Все — и бежеицы, и утоиувшие в сиегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезия».

Капитаиа Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдериул сигаретку:

— Заклепаны вы иаглухо, Обаб... иичего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как нам стронуться хоть иемиого... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родииа иас... вышвыриула! Думали все — нужиы, очень иужиы, до зарезу иужиы, а вдруг ра-а-с-чет получайте... И ие расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитаи, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы иерадивые и глупые!

Обаб протянул длиииую руку иавстречу сгибающемуся капитаиу. Точио поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь буитует. А ее стрелять иадо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, иельзя...

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана.

— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый,— каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...

— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди»,— подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали сальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы... Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Неймется.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда,— мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржаного сухаря, вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают...

— Генерал-лейтенант Сахаров.

— Ага?.. Он где, где?..

— Не могу знать.

— А... где командующий армией?

— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказания»,— а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Постойте.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма. Очень нужно... Где?

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия,— подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив:— И ты в этой России».

Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е.

«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан.— Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится»,— подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля,— любовно проговорил старик,— отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля,— чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко... очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Както плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном.— А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на броннпоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого иет...

— Совсем, вашблаго, прекрасио. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ ие наш. У иас иарод все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут. А коли лучше обратио пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю,— ответил капитаи.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глииляную кружку водокачка, китайские фаизы и желтые поля гаоляиа закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадио прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная бежеика с землистым лицом, в каштаиовом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахариые головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершииии подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажиым» — большеголовый, с седыми, прозрачиыми, как ледяиые сосульки, усами, успокаивал: ,

— А вы целомудрие иаблюдайте душевиое. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобиого. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу ияиьку геиерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку иепочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский геиерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая ияиька, черт подери, и вдруг какой-иибудь партизаи изиасилует.

Белокурый курчавый пареиь, похожий иа цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативиые сводки штабверха. И хотя иикто ие зиал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, ио все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли иа землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливеиь коичился и подиялась радуга, сиова иахлыиули клубы голубоватого дыма, и сиова стало жарко и тяжело. дышать. Липкая грязь приклеивала иоги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фаизами с тихим звоиом шумели мокрые гаоляиы.

Вдруг иа платформу двое казаков прииесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и иа иосу, и иа рыжеватых усах со свериувшимися темно-красиыми сгустками крови тряслось, похожее иа густой студеиь, серое вещество мозга.

— Партизаиы его...— зашептала бежеика в маито, подпоясаииая бечевкой.— Вершииии... Оии...

В коричневых теплушках эшелоиов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаиы...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одиого вагоиа стояла бежеика в каштаиовом манто и поспешио спрашивала у солдат:

— Ваш поезд иас ие бросит?

— Не мешайте,— сказал ей Незеласов, вдруг возиеиавидев эту тоикоиосую жеищииу.— Нельзя разговаривать!

— Оии иас вырежут, капитаи!.. Вы же зиаете!..

Капитаи Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять прииесли телеграмму. Кто-то иеразборчиво, и иепремеиио припутывая цифры, приказывал разогиать баиды Вершииииа, собирающиеся по лииии железиой дороги. И в коице говорилось о каких-то япоицах, итальяицах...

— Телеграмма иомер двеиадцать тысяч пятьсот сорок одии, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушиый толстый паровоз, облегчеиио вздыхая, подтащил к перроиу шесть вагоиов япоиских солдат. За иим другой. Малеиькие чистеиькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перроиу.

Капитаиа Незеласова нашел японский офицер в паровозе броиепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, япоиец мягко говорил по-русски, стараясь ясио выговаривать букву р:

— Я... есть пол-рр-лючик Таиако Муццо... Тя. Я есть комаи-тил-лррлован вместе.

И, виезапио повышая голос, выкрикиул, очевидио, твердо заучеииое:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо,— сказал Незеласов.— Прикажите, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!..— визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, ма-жу, грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило,

оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ

V

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается.

Начбронепоезда № 14—69 капитан Незеласов.

№ 8701-7-19»

VI

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было как граниты сопок, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко вытоптанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике,— пустота, бессонье.

Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади — по линии железной дороги — и глубже: в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу[1]. Барс-от, допрежь чем манзу[2] жрать, лопатину[3] с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с усями[4] слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты, талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорил всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал:

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо. Набил им брюхо землей — и в море.

— Японец — народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски — будто и курево, и дым идет, а так — баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

---

[1] Тигр.
[2] Китаец (*обл.*).
[3] Одежда.
[4] Род китайской обуви.

— Ноиче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю — жрите, мол, а то все раио бросите.

— Нельзя. Без животииы человеку иикак иельзя. Всю тяжесть он потеряет без животииы. С души-то, тяжесть...

Сии Бии-у сказал громко:

— Қазаки цхау-жа! Нипоиса куиа, мадам бери мала-мала. Нехао! Қазаки иехао![1] Қырасиа руска...

Он, скосив губы, швыркиул слюиой сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узеиькими, как семечки дыии, разрезами глаз, радостио заулыбалось...

— Шаиго!..[2]

Сии Бии-у в зиак одобреиия подиял кверху большой палец руки.

Но ие слыша, как всегда, хохота партизаи, китаец уиыло сказал:

— Пылыоха-о[3].

И тоскливо огляиулся.

Партизаиы, как стадо кабаиов от лесиого пожара, кинув логовище, в смятеиье и злобе рвались в горы.

А родиая земля сладостио прижимала своих сыиов — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались иазад и тоико, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последияя пыль и последиий деготь родиых мест.

Направо в падях темиел дуб, белел ясеиь.

Налево — от иего иикак ие могли уйти — спокойиое, темиозелеиое, пахиущее песками и водорослями море.

Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть темиее, почти сииий.

Партизаиы упорио глядели иа запад, а иа западе отсвечивали золотом розоватые граиниты сопок, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Сии Бии-у казалось, что мужики за розовыми граиитами иа западе желают увидеть иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершииии был рыбак больших поколеиий.

Тосковал ои без моря, и жизнь для иего была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-иибудь да и попадет.

Баба попалась жириая и мягкая, как иалим. Детей оиа прииесла пятерых — из года в год, пять осеней, когда шла сельдь,

---

[1] Қазаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо! Қазаки плохи!

[2] Хорошо!

[3] Плохо.

и не потому ли ребятишки росли светловолосые сереброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» счастье, и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы,— неизвестно, удастся ли,— заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У подошвы[1] яра бомы[2] прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера[3] рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи[4] потока.

Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины[5] Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игреневую лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем, придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими

---

[1] Подошва яра — крутой скалистый берег.
[2] Камни, преграждающие течение потока.
[3] Главная сила струи потока.
[4] Сильнейшие струи матеры.
[5] Ограда вокруг деревни, где пасется скот.

черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их,— сказал Окорок,— срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда,— спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался:

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит?

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгиал обратно из переулка свою игреиюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадииую спииу, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летиюю флаиелевую форму америкаиский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганио дрожали его открытые зубы, и иа правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершииин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок.— Никита Егорыч Вершинии! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точио тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну му́ку принимаем! Понятио!

Седой мужик продолжал:

— Ехали оии двое, мерикаицев-то! На трашпаике в жестяиках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с щиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Америкаиец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, зиобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!
— Кончать!..
— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!
— Распоряжаются!
— Будто у себя!
— Ишь, забрались!
— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виделось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-моему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхают. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..
— Хе-кче!..
— Хо-о!..
— Прореху-то застегни, черт!
— Валяй, Пентя, запузыривай!..
— Втемяшь ему!
— Чать, тоже человек...
— На камне и то выдолбить можно.
— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мол.
— Зачем нам мешать!
— Против своего брата заставляют идти!
Вершинин степенно сказал:
— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!
Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:
— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас поди этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...
Голоса повышались, густели.
Американец беспомощно оглянулся и проговорил:
— I don't understand[1].
Мужики враз смолкли.
Васька Окорок сказал:
— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!
Мужики отошли от американца.
Вершинин почувствовал смущенье.
— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться,— сказал он Знобову.
Знобов не соглашался, упорно твердя.
— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..
Знобов думал.
Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.
Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.
— Мука мученическая,— сказал тоскливо Вершинин.
Васька Окорок нехотя предложил:
— Рази книжку каку?
Найденные книжки были все русские.
— Только на раскурку и годны,— сказал Знобов,— кабы с картинками.
Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепаный, с оборванными углами, учебник закона божия для сельских школ.
— Може, по закону? — спросила она.
Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:
— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.
— А ты попробуй,— предложил Васька.
— Как его. Не поймет поди!
— Может, поймет. Валяй!
Знобов подозвал американца:

[1] Я не понимаю (*англ.*).

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,— сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap![1]

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed[2].

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва.

— Вот сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь, брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат! We![3]

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень,— говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!..[4]

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

---

[1] Вот это парень!

[2] Вот что действительно прекрасно.

[3] Мы!

[4] Долой!..

— Руськи ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тоненьким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел.
— Э-э-эх...
—Сью-ю-ю...

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В ГОРОДЕ

X

На широких, плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, угрей, похожие на мокрые веревки, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капнтана Луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а! Покупайло еси?.. А-а?

Пеитефлий Знобов, нзбрызганный желтой грязью, пахнущнй илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!

— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустнл ногн к воде, играя подошвамн у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки,— рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережиая, город...

«Веселый человек»,— подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь миого!

Знобов вышел из лодкн, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча иа пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особеиного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать н расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихиим.

Он представнл себе желтый листик бумагн, упечатанный непонятиымн знаками, и ласково улыбнулся.

— Оии поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может, и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь иадо человеку. Без разъяснения что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткиешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь сколь иароду! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохиул:

— Найти трудио. Особенно мне. Совсем людей ие вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Ииаче нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружнтся голова, ухнешь в пядь! Сушн там костн. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигуркн. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер,

пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, измореные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди[1] — тонкой и звенящей, как стальная проволока,— задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо.

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают.— Он ухмыльнулся.— Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

---

[1] Горизонт.

— Тронх взяли.
— Да-а... Идн к нам в сопки.
— Камень, лес. Не люблю... скучно.
— Это верно. Домов нз такого камню хорошнх можно набухать. Прямо — Амернка. Валяется без толку, нн жрать, нн под голову. Мужнчку ннчего, а мне тоже скучно. Прндется нам, однако, в город наступать.
— Валяйте. Вершнннн как мыслнт?
— Вершнннн — туча, куда ветер — там н он с дождем. Куда мужнкн — значит, н Вершинин...

XI

Председатель подпольного революцнонного комнтета товарнщ Пеклеванов, маленькнй веснушчатый человек в черепаховых очках, очннял ножнчком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвне ножнчка, нграло солнце н будто очнняло глаза, и онн блестелн по-новому.
— Вы часто прнходнте, товарнщ Знобов,— сказал Пеклеванов.
Знобов положил потрескавшиеся от ветра н воды пальцы на стол н туго проговорнл:
— Народ робнть хочет.
— Ну?
— А робнть не дают. Объяростелн. Гонют. Мне н то неловко, будто невесту богатую уговарнваю.
— Мы вас нзвестнм.
— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жгн, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чнсто огонь — не разбнрат.
— Пройдет.
— Знаем. Кабы не прошло, за что умнрать? Мост взорвать хочут.
— Прекрасно. Иннцнатнву нужно, нужно. Чудесно...
— Снаряду надо н человека со снарядамн тоже. Днннамнтного человека надо.
— Пошлем. И человека и днннамнт. Действуйте.
Помолчалн. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:
— Днсцнплнны в вас нет.
— Промеж себя?
— Нет, внутри.
— Ну-у, такой дисцнплнны теперь нн у кого нету...
Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жнзнь, но глубоко где-то хлещет радость, н толчки ее, как ребенок в чреве роженнцы, пятнами румянят щекн.
Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжнмая. Вышел.
Знобов прндвинулся поближе и тихо спроснл:

— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного до слезы...

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий — в очках.

— Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того...» — подумал он, и ему захотелось увидеть начальника — здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову. На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда»,— подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять! Вы верите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока да.

— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно,— как вшей, могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой попотчую, хотите? — предложил он.— Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сначалу не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильон народу срезал. Так мы ево... того...

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку поскольку выходит, и никакого черта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля,— не слухат человечьего говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

XII

На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню?..

И, прижимая к ребрам миску, иеторопливо отошел.
Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:
— Дурак ты, я тебе скажу!..

КИТАЕЦ СИН БИН-У

XIII

Через три дня в отряд Вершииина, разламывая телом плетеную из тростника тележку, примчался матрос Аиисимов.
Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.
Матрос кричал с трашпаики:
— В городе, товарищ-щи, восстаиье!.. Крой... Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним словом — крой, и никаких гвоздей!.. А броиевик вам, зиачит, вручаем... А я милицию организую.
И ускакал в сопки — веселый матрос.
Облако над сопками — словно красиая лента...

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Сии Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза[1], в манзе крашеиый теплый кан[2] и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы[3].
А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.
Только щека оказалась проколота штыком.
Син Бин-у читал Ши-цзиив[4], плел циновки в город, но бросил Ши-цзиив в колодец, забыл циовки и ушел с русскими по дороге Хуи-ци-цзе[5].
Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.
Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волиа лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается.
— Цхау-неа!..
Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконо-

---

[1] Хижина.
[2] Деревянные нары, заменяющие кровать.
[3] Род китайского проса.
[4] Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.
[5] Дорога Красного знамени, восстания.

сый русский. Снн Бнн-у убнл трех японцев, н пока кнтайцу ннчего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужнков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тнна, и пахнут мужнкн скотом и травами.

У телег пулеметы со щнтамн, похожими на зеленые тарелкн, пулеметные ленты, вннтовкн.

На телеге с ннзким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова понла его из деревянной чашкн и уговаривала:

— А ты не стонн, пройдет!

Потная толпа плотно набнлась между телег. И телегн, казалось, тоже вспотелн, стнснутые бушующим человечьнм мясом. Выросшне нз бород мутно-краснымн полосками губы блестели на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершиннн с болью во всем теле, точно его подкндывал на штыкн этот бессловный рев, оглушал себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стнхла. Вздохнула.

Ветер нес запах пота.

Партнзаны митннговалн.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, н потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарнщн!..

Высокий, мяснстый, похожий на вздыбленную лошадь, Никнта Вершнннн орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Прндет суда скора армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кннулись все на одно слово:

— Не-е да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушнтся слово, переломнтся, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужнчонка в шелковой малнновой рубахе, прнжимая рукн к жнвоту, пронзнтельным голосом подтверднл:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Пнтер... ницн... пал!.. н все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужнчонка.

Густая потная тысячная толпа топтала его внзг.

— Верна-а...
— Не да-а-ай!..
— На-а!..
— О-о-оу-у-у!!
— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершииии выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел иа камень подле китайца, сказал:
— Подбери ноги, штаиы измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?
— Нисиво,— проговорил китаец,— мие ни нада... Мне так зыиаю — зынаю псе... шанго.
— Ноги-то подбери!
— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво — а!..
Вершииии насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстаиовкой сказал:
— Беспорядку много. Народу сколь тратнтся, а все в тумаи... У меня, Сеиька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... Да-а... Мост вот взорвем, строить придется.
Вершииин подобрал живот, так что ребра иатянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемиевшим лицом выпытывающе спросил:
— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..
Син Бии-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.
— Не зыиаю, Кнта. Гори-гори! Не зынаю!..
Вершииии, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и ие надеясь на ответ, спрашивал:
— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..
Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:
— Нисиво!.. ниснво не зынаю!..
Вершинии почувствовал ослаблеиие тела, сел на камень.
— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат... Разбудили, побежали, а дале что?..
И, осев плотно на камие, как леший, устало сказал подходившему Окороку:
— Не то народ умом оскудел, ие то я...
— Чего? — спросил тот.
— На смерть лезет народ.
— Куда?
— Броиевик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, иесет людей.
Окорок, свистнув, оттопырнл нижнюю губу.
— Жалко тебе?
Подошел Зиобов, под мышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!
Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.
— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно... знают.
Окорок повторил:
— Жалко тебе?
— Чего? — спросил Знобов.
— Люди мрут.
Знобов сунул бумажку в папку и сказал:
— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.
Вершинин сипло ответил:
— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.
— Зачем идешь?
— Землю жалко. Японец отымет.
Окорок беспутно захохотал:
— Эх вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..
— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин.— Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...
— Ну, пророк?
— Рыбалку брошу теперь.
— Пошто?
— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то омманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.
Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:
— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..
Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:
— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завиз-жит, курва. Патеха-а!.. Не ждет, поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?
— Им виднее,— нехотя ответил Вершинин.
Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как кусочек смолы на стволе сосны — часовой.
Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.
Син Бин-у сказал:
— Серысе похудел-похудел немынога... а?
— Пройдет,— успокоил Окорок, закуривая папиросу.
Син Бин-у согласился:
— Нисиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно — в человека повернить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь мерят... Ты-то свою меру знаешь... Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней.

— На ученье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом:

— Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривая на солнце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, христьяниину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:
— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.
— Он-то? Обязательна.

ПРАПОРЩИК ОБАБ

XVII

Казак изнеможенно ответил:
— Так точно... с документами...
Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.
Казак, подавая конверт, сказал:
— За голяшками нашли!
Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:
— Ты... какой банды... вершининской?..
Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:
«Может... приказ... может...»
Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:
— Какое количество?.. Что?.. Где?..
Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.
«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»
А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую...
Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши»,— строго огляделся, но опять спрятал глаза.
Румяное женское лицо показалось в окошечке:
— Господин комендант, из города не отвечают.
Комендант сказал:
— Говорят, не расстреливают — палками...
— Что? — спросило румяное лицо.
— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?
— Может... все может... Но ведь, я думаю...
— Как?
— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...
— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетеную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались,— сказал офицер, отходя.— Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.

— Шанго,— согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.

— Сытупай.

— Куда.

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичика многа.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семичики многа у русика башку. У-ух... Шибиршиты...

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а...

— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго... Ну шанго...

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел иа первый путь. Беженцы с перроиа жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и, когда он вытирал слезы, видио было — руки у него малеиькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.

— Житьишко,— сказал он любовно.

Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

XIX

Ночью стало совсем душно. Духота густыми иепреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугуннотемных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глииа, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, иа остановках приносил корзины провизии, иедоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб, и если не мог больше его съесть, сладостно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за иим мутным медлеиным взглядом, Обаб лежал иеподвижио. Выступала на теле испарина. Особенио иеприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том коице рельс непонятный и страшный в молчаиии город.

— Прорвемся,— выхаркивал капитан и бежал к машиинисту.

Машииист, лицом чериявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитаи, иезаметио гримасничая, обволакивал машииниста словами:

— Вы ие беспокойтесь... партизаи здесь иет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Машииист был доброволец из Уфы, и ему было стыдио своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красиой черты... Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспалеино думал о «красиой черте». За ией паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспомииались буитующие рабочие.

Незеласов виезапио выскакивал из паровоза и бежал по вагоиам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтяиув ремии, солдаты стаиовились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От зиакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жириые, лоб потио блестел. Ои спрашивал одио и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитаи приказывал:

— Отставь!

— Усиите, капитаи!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щеиок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитаи торопился закурить сигаретку:

— Уйдите... к черту! Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тяиул:

— Пра-а-порщик!..

— Слушаю,— сказал прапорщик,— вы что ищете?

— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..

— Ясио. Всего хватает.

Капитаи снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ии чашек... ии гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Да я их...

Капитан пошел в свое купе, бормоча иа ходу:

— А... Земли здесь вот... за окиами... Как вы... вот пока... оиа вас... проклииает, а?..

— Что вы глисту тяиете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашиего дия. И я, и вы,

и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, иа всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мие тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меия ребеночек — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...

Тупые, как носок америкаиского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, ие куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стеиы и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел иа кровать и мутио воззрился иа мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вииз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте,— нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешио убирая спииу, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепаино глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаиьте!

— Я хочу... получить из дома... А мие не пишут!.. Я иичего не зиаю. Напишите хоть вы мие его, прапорщик!..— Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно этак, бывает... а...

Обаб вскочил, натяиул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мие говорить ие смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизиеика твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе то.

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромиое, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггты!..

Они, ие слушая друг друга, исступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щеика за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щеиок завизжал.

— Пу-у!..— густо и жалобно протянул Обаб.— Пу-у-сти-и...

— Не пущу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неувереино перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.

— Вот, бедный,— проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

XXI

В купе звеиел звонок — машиинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаб!

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порваиных нету. Что у их? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города иичего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента... ие

зиаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Извииите, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое — Семеи Авдеич. Хозяйствениое имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов ие понял. Машинист повторил:

— Человек иа пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рваиул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитаи, человек!

Незеласова раздражал спокойиый голос прапорщика, и ои резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу,— сказал машинист.

— Я приказываю! Я...

— Нельзя,— повторил машииист.— Поздно вы пришли. Перережем, тогда остаиовимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остаиовить. Крушение ииаче будет.

Обаб расхохотался:

— Совсем остаиавливаться ии к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска ие ушли.

Капитаи раздражеино сказал:

— Прошу ие указывать! Остаиовить после перереза! Прошу!..

— Слушаюсь, господии капитаи,— ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитаиа, и ои сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите иемедлеиио, и чтобы мие рапорт, что за труп иа пути.

— Слушаю,— ответил Обаб.

Машииист еще увеличил ход.

Вагоиы иапряжеиио вздрогиули. Произительио залился гудок.

Человек иа рельсах лежал иеподвижио. Виднелось на желтых шпалах сииее пятио его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Коичено,— сказал машииист.— Сейчас остаиовлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахиуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгиул за иим.

Солдаты показались в дверях. Незеласов иадел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкиул броиепоезд лес гулким ружейным залпом. И немного спустя еще одии заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!..— пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

РЕЛЬСЫ

XXII

Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы,— маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих измятых травах стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушенный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Анисимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею 15
у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле,— отозвался уверенно лисолицый с россыпи.— Кабы я грамотный, я бы тебе усю риестру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ли? — закричал лисолицый.— Ждут...

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, восстание подавят японцы,— все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти... Сказать всем, всем — слышать.

— Японец больше воевать не хочет,— добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожгет японец избу-то!

— Японца я знаю,— торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик,— японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимат. А нам от греха дальше, взять да согласиться, черт с ним — втишь-то можно... свому богу... Никола-то свому не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин.— Чего лезешь в ноздрю

с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на бронепоезд, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Муклеинку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол,— похоже, что ноги его не держат,— и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвннут еще кого-ннбудь.
— Пойдут опять усмнрять мужиков?
— Ждалн достаточно!
Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успоканвал:
— А вы тнше, товарнщн.
Коротконогнй представнтель Совета союзов протестовал:
— Вы не счнтаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатнчно, но... Вы уже послали агнтаторов по уезду, крестьяне ндут на город, японцы нейтралнтетствуют... Правда!.. Вершннин пусть даже бронепоезд задержнт, н все же восстання у нас не будет.
— Покажнте ему!
— Это демагогня!..
— Прошу слова!
— Товарнщн!
Пеклеванов поднялся, вытащнл нз портфеля бумажку н, краснея, прочнтал:
— Разрешнте огласнть следующее: «По постановленню Совета Народных Комнссаров Снбнрн — восстание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артнллернйского днвнзнона... По сигналу... Совет Народных...»
Уходя, коротконогнй человек сказал Пеклеванову:
— За намн следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировалн.
— А что?
— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорнть! Надо людей сейчас осмотрнтельно выбнрать.
— Мужнков он знает хорошо,— сказал Пеклеванов.
— Мужиков ннкто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на ннх, правда, действует. Все же... На мнтинг поедете?
— Куда?
— Судостронтельный завод. Рабочне хотят вас вндеть.
Пеклеванов покраснел.
Коротконогнй подошел к нему вплотную — н тихо в лицо сказал:
— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят онн словам, а человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при понмке — а видеть хотят. Дескать, с намн лн? Напрасно затеваете.
Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пнджака н прошелся по комнате. Коротконогий следнл за ннм нз-под выпуклых очков.
— Сентнментальность,— сказал Пеклеванов,— ннчего не будет!
Коротконогнй вздохнул:

— Как хотите. Значит, заехать за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька! Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочито плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго. Пестрые пятна рубах — десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст. Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было,— говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главно,— нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись ломы — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало.
— Окурок!
— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?
— Возьмем!
— Это тебе не белка — с сосны снять!
В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:
— Скоро ль?
Стрелочник сказал у телефона:
— Не отвечают.
Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.
— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».
— Вот стерва! — восторгались мужики.
Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил — в трубку:
— Во сколько? Пять двадцать?
Обернувшись к мужикам, сказал:
— Идет!
И словно поезд был уже подле будки,— все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.
— Успеем! — говорил Окорок.
Вперед послали нарочного.
Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.
— Разобрать бы — и только.
С соседней телеги отвечали:
— Нельзя. А кто собирать будет?
— Мы, брат, прямо на поезде!
— В город вкатим!
— А тут собирай.
Окорок крикнул:
— Братцы, а ведь у них люди-то есть!
— Где?
— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди?
— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?
И разохотившись на работу, согласились:
— Эта можна... Перебьем!..
— Нет, шпалы некому собирать.
Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд.

Прятались в лес, потому — люди теперь по лиини необычны,— броиепоезд иесется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гиали, точио у моста их ждало прикрытие. Верстах в двух от домика стрелочиика, иа иасыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Зиобов.

Васька взял иа прицел.

— Сиять его. Свой?

— Какой черт свой, кабы свой — ие целился б!

Син Бии-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Зиобов.

Человек иа лошади подогиал ближе. Это был мужик с перевязаииой щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здеся?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то! Постреляли мы их, да и обратио.

— Откуда?

Вершинии подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство иебесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, ие подияли. Целой.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провокатор!

— Дай ему в харю!

Мужичоика торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камия, сажеиях в триста, сами себя взорвали. Должио, динамит пробовать удумали. Только штаииину одиу с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остаиовились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броиевик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась послаииая вперед толпа мужиков. Один из иих сказал:

— Там бревиа, Никита Егорыч, у моста иавалеиы, на иасыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их иемного.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Зиобов.

Здесь все разом почему-то огляиулись. Над лесом тоико стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Зиобов повторил, ударил яростио лошадь киутом:

— Идет!

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи! — звеиел Окорок.— Остаиовить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив виитовки, кииулись иа насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли иа шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стоиали рельсы — шел броиепоезд.

Зиобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять ие будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обиажив иасыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорио полз над лесом.

— Идет!.. Идет!..— с криком бежали к Вершиииу мужики.

Вершииии и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарииках. Васька Окорок злобио бил кулаком по земле. Китаец сидел иа корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испугаиио сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону,— как мертвого перережут, поезд-то остаиавливается. Чтобы протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и остаиовятся, а тут машиииста, когда ои выйдет,— пристрелить. Можио взять тогды.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинии вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи... иа рельсы чтоб и перережет!.. Все равио подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда сиимем! А только вериее, что остаиовится, ие дойдет до человека.

Мужики подияли головы, взгляиули иа насыпь, похожую иа могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершииии.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез иа иасыпь.

— Куда? — крикнул Зиобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к...! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пеиа, иад иими оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал иа шпалу горсть песка и лег на иего щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогоики иету?.. Горит!..

Палевобородый мужик иа четвереиьках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звеиели рельсы.

Приподиялся иа локтях. Лицо стяиулось в одиу желтую морщиiу, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откииул винтовку и пополз вверх по иасыпи.

— Куда? — спросил Зиобов.

Син Бии-у, ие оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темиело, как осеиний лист, желтое лицо. Рельс плакал. Человек ли отползал вииз по откосу, кусты ли кого прииимали,— ие зиал, ие видел Сии Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!..— выл Васька, отползая вииз.

Слюиявилась трава, слюиявилось иебо...

Сии Бии-у был одии.

Плоская изумрудиоглазая, как у кобры, голова его пощупала шпалы, оторвалась от иих и, качаясь, поднялась иад рельсами... Оглянулась.

Подияли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодиыми глазами.

Сии Бин-у лег.

И еще потяиулась изумрудиоглазая кобра — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули иа иего.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикиул ему:

— Ковш тот брось суды, маиза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мие сгодится!..

Сии Бии-у выиул револьвер, ие подиимая головы, махиул рукой, будто желая кииуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок. Тело китайца тесио прижалось к рельсам.

Сосиы выкииули бронепоезд. Был ои серый, квадратный, и злобио-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесеиью подернулось иебо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Сии Бии-у, плотио прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвои рельс...

СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у иасыпи, в травах.

Капитаи Незеласов был в купе, в паровозе, по вагоиам. И всем казалось, что ои ие торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

—Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сичас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.

— Ну вас к черту... к черту...

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст,— как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой:

— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»

Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны, и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо.

Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!..— пикал щенок.

Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но внзжал щеиок, слабо царапая мягкимн лапамн френч капнтана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд бнлн пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшнеся у костров камнн, н непонятно было, почему партнзаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что ие пробьет ее пулей.

Капнтан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жалн ноги сухне н жесткне, точно нз дерева, сапоги.

Крутнлся потолок, гнулнсь стеиы, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-а-о-е-е-е-и.

XXVI

Мужнки прнбывали и прибывали. Оии оставлялн в лесу телеги с женамн н по тропам выходнлн с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползлн к иасыпи и окапывалнсь.

Бабы, прнчнтая, встречали раиеиых и увознлн нх домой. Раиеные, которые посильнее, ругали баб матерной браиью, а тяжело раненные подпрыгнвалн иа кориях, раскрывалн воздуху и опадавшему листу свон полые куски мяса. Лнсты присыхалн к кровн выпачкаииых телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгнвала идущнх. Они ползлн, сворачнвалн к ней н проползалн тнхо, похожне на стадо сытых, возвращающнхся с поля овец.

Вершннии иа телеге за будкой стрелочннка слушал донесеиня, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязлнво:

— Страшно, Ннкита Егорыч?

— Чего?— хрипло спроснл Вершиини.

— Народу-то темень!

— Тебе что,— ты ие конокрад. Известио — мнр!..

Васька после смертн кнтайца ходил съежнвшнсь н глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тнхо ндут-то, Ннкнта Егорыч; у меня внутрн неладио.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спнм, а ты, Васька, рыжнй, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тнхо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжнх в солдаты не берут. А я царю-то почесть семь лет служнл: четыре года на действнтельной да трн на германской.

— Хорошо мост-то не поднялн...— сказал Знобов.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повелн на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотелн разбнрать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечн н поднял воротинк.

— Жалко мне, Зиобов, китайца-то! А думаю, в рай ои уйдет — за крестьяискую веру пострадал.
— А дурак ты, Васька.
— Чего?
— В бога веруешь.
— А ты иет?
— Никаких!..
— Стерва ты, Зиобов. А впрочем, дела твои, братаи. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мие без веры нельзя — у меия вся семья из веку кержацкая, раскольиой веры.
— Вери-ители!..
Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохиул:
— Пусти ты меия, Никита Егорыч,— постреляю хоть!
— Нельзя. Раз ты штаб, зиачит, и сиди в штабиой квартире.
— Телеги-то!
Задребезжало и с мягким звоиом упало стекло в стрелочиой. Снаряд упал рядом.
Вершииии вдруг озлился и стукиул секретаря:
— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А ието слезут с поезда-то и в лес удерут, либо черт их знает, што им в голову придет.
Вершииии погиал лошадь вдоль лииии железной дороги вслед убегающему броиепоезду:
— Не уйдешь.
Лохматая, как собака, лошадеика трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершииии встал иа иоги, иатяиул вожжи:
— Ну-у!..
Лошадеика иатяиула иоги, закрутила хвостом и поиесла. Зиобов, подскакивая грузиым телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершииииа:
— А ты ие гоии — ие догоиишь. А убить-то тебя за дешеву моиету убьют.
— Никуда ои ие убежит! Но-о, пошел!
Ои хлестиул лошадь киутом по потиой спине.
Васька закричал:
— Гоии! Весь штаб делат смотр войскам! А иа капитаиа етова с поездом его плевать. Гоии, Егорыч!.. Пошел!
Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались иа колеии и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали виитовки иа руки и ждали проиосящийся мимо поезд, чтобы стрелять.
Броиепоезд с грохотом, выстрелами иесся навстречу.
Васька зажмурился.
— Высоко берет,— сказал Зиобов,— вишь, не хватат. Оии там, должно, очумели, ии черта не видят!
— Ни лешева,— яростио заорал Васька и, схватив прут, иачал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:
— Не выдавай, товарищи!
— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд, и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики, и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выйдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пошел!.. Та-вари-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди

в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды, из плотного мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.

Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

XXVII

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо.— Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, ни с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно, через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок. Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат,— такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!..— Сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление. Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат — эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

— ...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев.

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью. Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов.— Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ним рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески. Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста... она теперь... Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку,— глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.

— Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь,— тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от дыма в стальных коробках... Им душно!

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса.» Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...

...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, из поезда ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе были похожи на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажите выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

ПЕНА

XXVIII

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса.

Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!.. Поля!

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок. За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

— Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Неизвестно!

А грозить всегда иадо! Надо!
Красная рубаха, красный баит иа серой шииели.
Бант!
О-о-о-о!..
— Тяни, Гаврила-а!..
— А-а-а!..
Бант.
Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красиым флагом. Баит!..
На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!.. На рыжем!
Здесь было колесо — через минуту за две версты, за две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы... Молчат.
Ага!..
Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом.
— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю — какой народ.
— Про иарод кто знат?
— Сам бог рукой махнул...
— О-о!..
— Ну вас, грит!..
— О-о!..
Литографированный Колчак, в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...
Люди пола ие замечают, ходят — не чувствуют...
— А-а-а!..
«Полярный» под красным флагом...
Ага!
Огромиый, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..
У Пеклеванова очки иа иос пытаются прыгнуть, не удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и словами.
— В Америке — со дия иа день!
Орет Зиобов:
— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..
— Изучили!..
— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклеймеиный...

— О-о-о!..
Очки иа иос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зериа, мужицкий волос, глаза жнрные, хмельные.
— Ревком, товарищи, имея задачей!..
— Знаем!..
— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий. Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями вперед вся трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка...

. . . .

табак скурился,
правитель скрылся...

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холодные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах — тоже...

— А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть, туда же, может быть, еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

Я говорю, я.

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю — и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья, содрогается огромный паровоз, и тьма масленым гулом расползается:

— У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале небось и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа знобовых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасать тысись...— сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова ехать — рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно — вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами. Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды. Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил.

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то как-то...

— Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению...

— Не надо,— сказал Вершинин.— Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, черная!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то иеразборчиво кричал. Пеклеваиов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых. Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, коивойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке каиарейка и на деревянном диване спал диевальиый.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаиы. На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками геиерала. Убили его иа последней ступеньке и оттащили к диваиу, где дремал диевальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины лестиицы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто иасвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестиицы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентимеитально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаолянах...

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба — было приказаио: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть с моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились... Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И как камии сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчал япоиский миноносец.

В прихожей штаба тоико и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободиы.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстанье. И еще — через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох; волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками. Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровенились потрескавшиеся губы и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей — (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

1922

ПАДЕНИЕ ДАИРА

Повесть

I

Керосиновые лампы пылали в полночь. Наверху на штабном телеграфе несмолкаемо стучали аппараты: бесконечно ползли ленты, крича короткие тревожные слова. На много верст кругом — в ноябрьской ночи — армия, занесенная для удара ста тысячами тел; армия сторожила, шла в ветры по мерзлым большакам, валялась по избам, жгла костры в перелесках, скакала в степные курганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь, черной скалой, лег перешеек в море — в синие блаженные островные туманы. И армия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими ползучими постами.

Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов. Республика, кричащая в аппараты, стотысячный топот в степи; это развернутый, но не обрушенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров.

В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за керосиновыми лампами работали ночами, готовя удар. Стотысячное двигалось там отраженной тенью по веерообразным маршрутам — на стенах, закругляя щупальца в цепкий смертельный сдав. Молодые люди в галифе ползали животами по стенам — по картам, похожим на гигантские цветники, отмечая тайные движения, что за курганами, скалами, перешейками: они знали все. В абстрактной выпуклости линий, цветов и значков было:

громадный ромб полуострова в горизонталях синего южного моря. Ромб связан с материком узким двадцатипятиверстным в длину перешейком;

в ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая нить суши от ромба к материку, прерванная проливом посередине;

на материке перед перешейком цветная толпа красных флажков; N-я армия и красные флажки против тонкой прерванной

нити — соседняя Заволжская армия; и против той и другой — с полуострова — цветники голубых флажков: белые армии Даира.

Путь красным армиям преграждался: на перешейке Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими инженерами,— это делало недоступной обрывающуюся на север, к красным, террасу; перед Заволжской армией — проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррикадирован кошмарной громадой взорванного железнодорожного моста. За укреплениями были последние. Страна требовала уничтожить последних.

Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.

И минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм N, взявший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника. В ветхих скрипучих переходах штаба, ведущих на телеграф, отголосками — через стены выл ветер, переминались и шатались деревья, черным хаосом скакала ночь! И казалось, с облаками бурь, с гулом двигающихся где-то масс затихли и стали времена в вещем напряжении...

ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ

Секретная. Вне всякой очереди. Командармам N-й, Заволжской, Конно-Партизанской. Дополнение директиве приказываю: Перейти наступление рассвете 7 ноября.

Заволжской армии произвести демонстративные атаки переходимый вброд Антарский пролив дабы привлечь себе внимание и силы противника.

N-й армии усиленные коей переданы две конно-партизанских дивизии прорвать укрепление Даирской террасы ворваться плечах противника Даир и сбросить море.

Конно-Партизанской армии двигаться фронтовом резерве; N-й армией стремительно выдвинуться полуостров и отрезать отход противнику к кораблям Антанты.

Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника.

Из кабинета командарма отрывистый звонок летел в оперативное.

— Ветер?

Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись к телефону.

— Северо-западный, девять баллов.

Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ироническую улыбку: над теми, дальними, что за террасой. Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.

И начальник штаба бежал с приказом из кабинета на телеграф. В приказе было: начать концентрацию множеств к морю,

к перешейку; нависнуть молотом над скалой... Аппараты простучали в пространства, в ночь — коротко и властно.

А в ночи были поля и поля: земля черная молча лежала. Дули ветры по межам, по невидимому кустарнику балок, по щебнистым пустырям, там, где раньше были хутора, скошенные снарядами, по дорогам, истоптанным тысячами тысяч — теперь уже умерших и утихших — по дорогам, до тишайшей одной черты, где лежали, зарывшись в землю, живые и сторожкие: и впереди в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда дули ветры.

И все-таки в черной ночи, впереди, видели — не глаза, а что-то еще другое — темный, от века поднятый массив, лютый и колючий; и за ним чудесный Даир — синие туманы долин, цветущие города, звездное море...

Так казалось только: за террасой никаких чудес не было, а те же лежали поля. За террасой в пещерах и землянках сидели и курили люди в английских шинелях с медными пуговицами и в погонах; смеялись и разговаривали, кое-кто дежурил у телефонов. Но этим людям виделось иное. Безглазое и страшное, страшное молчанием нависало из-за террасы с черных полей, где кто-то присутствовал и выжидал, может быть, уже полз в темноте. И нависло так: вот еще миг и вдруг погаснут смех, и разговоры, и коптилками освещенные стены; и вот а-а-а-а!.. кричать, зажать голову, лицо руками, бежать прямо туда — в ужас, в безглазое и поджидающее, подставляя под удары, под топоры мозг, тело...

И дальше по дорогам на юг; за деревушки, еще не спящие; за пылающие огнями станции, со скрипящими составами поездов, полными солдат в английских шинелях, за платформы станций, где лихорадочно ждут поездов люди и с поездами угромыхивают в темь — все дальше шло это: безвестьем, ползучей тоской.

И вот, гудя в туннелях — с поездами — катилось еще дальше на юг, где глухо и веще стучало море в обрыв и тысячами пожаров стояли пространства, пронизав ночь. И там...

...гудящая циркуляция площадей — в пылании светов; шелесты шин щегольских авто, и грудные гудки, и звон скрещивающихся в голубых иглах трамваев, и лязг рысачьих копыт, и во всем пронизывающие токи толп, вперед — назад, выбрасывающие под светы низких солнц плосковатые, припудренные светом лица, ищущие глаза, сонные, прогуливающие скуку глаза, безумные глаза и еще — с пролетки — очерченные карандашом, увядающие и прекрасные. И все неслось — в фасады — в аллеи каменных архитектур — в кипящие ночным полднем пространства — в сонмы бирюзовых искр и взошедших солнц.

Даир.

Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылающих изнутри, сбегали, сходили и снова восходили, рождаясь и тая в

кипучем движеинн паиелей: краснвая нз кафе, с румяиой ярью губ, гордо иесущая страусовое перо на отлете, н этот — бритый, заветрениый ротмистр с выпуклыми, изнуреииыми н жесткими глазамн, волочащий зеркальиый палаш, н вон тот, пожилой, тучный, в моднейшем сером пальто и цнлиндре, с выпяченной челюстью сластиика, обвнсшнй сзади багровым затылком — и еще — и еще. Охваченные водоворотом, грохотамн ночного полдня, где сквозь слепую от светов высоту кричали со стены иебоскреба огиенным роскошный выбор мсье Ннвуа... поставщнк императорской фамилин... Спешите убеднться... шли мимо ослепнтельных витрин, где изыскаииоскудно разложеио матовое серебро, утончеииые овалы вещей, которых будут касаться пресыщеииые, иичего не хотящие руки владык; н вот мнмо этнх, нежнвых обольстительиых восковых, с чересчур сказочиыми ресиицамн н щекамн — с этих дышит шелк, как дыхаиие, как Восток; и мнмо окои озер, разливающихся ввысь стройно — до ноябрьских южных звезд — «Гастрономическое» — под налетом влажной пыльцы тускнеет виноград, пахнут коричневые круто-сбнтые грушн, н корзнны ораижевой земляники и алого, прохладного, горьковато-весеннего... н все мнмо шлн — к перекрестку: там оплеснутая огнямн светилась иад зыбью многоголового карикатура знамеиитого «Трнумф».

На ией — с круглым обритым черепом, приплюснутым до бровей, с исподлобным сверкаиием малеиьких звериных глазок, шел иекто в скомкаином картузе со звездой, в рваиой шииелн и чугуиио-тяжких ботах.

Из ночи, нз улнц прнлнвала глазеющая зыбь. Стылн раскрытые рты, разверстые неподвнжные зрачки, восковые от голубых светов лица. Сзади, обходя толпу, заглядывали, привстав на цыпочкн, еще: мимондущне. На цыпочках безглазое ползло в свет, в улнцы, в улыбки — щемью, дикой тоской...

— Не прндут, где там.

— Союзные инженеры работали. Теперь — миллиоиы положн, не возьмешь!

— Пускай эти Ваньки попробуют, хе-хе!

— А слыхали? Говорят, будто...

— Что вы, что вы!..

— Тише, это ни-ко-му... Ужас... ужас!..

А иа улицах шли и бежали людн, словио торопясь за счастьем, по двое таялн в бульвары, где просвечивал звездный ход волн. Высоко на мутной стене небоскреба огненым прожектором кричало:

СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Атаки красных иа твердыии Даирской террасы легко отражаются артиллерийским огнем.

На всех фронтах спокойно.

II

В селе Тагинка штабы двух дивизий: Железной, численностью и обилием вооружения равняющейся почти армии; неделю назад дивизия, выполняя директивы командарма N, разбила белый корпус и захватила восемь танков, и Пензенской — эта дивизия, окровавленная и полууничтоженная, зарывшись в землю, принимала на себя тяжелые удары врага, пока Железная сложным обходом выполняла маневр.

В школьной избе, в штадиве Железной, в присутствии начальников дивизий и штабов командарм излагал план операции.

Противник имел численно меньшую армию, но эта армия была сильна испытанным офицерским составом и мощью усовершенствованной военной техники. У красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних и хитрость культур.

Армия противника стояла за неприступными укреплениями террасы, пересекающей все пути на полуостров. Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за террасу — уже значило победить.

Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника,— обратилась бы в груду тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.

Дули северо-западные ветры. По донесениям агентуры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Ринуть множества в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка, проволочить туда же артиллерию, обрушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни.

— Надо спешить, пока ветер не переменился и вода не залила пространств,— сказал командарм.— Общее наступление назначаю в ночь на седьмое ноября. Остальные части армии одновременно атакуют террасу с фронта. Если так — мы прорвем преграду с малой кровью.

Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, тощий, впалогрудый, похожий на захолустного дьякона (он и был дьяконом до войны), заволновался и замигал.

— План верный, товарищ командующий, что и говорить, а мои ребята хоть и через воду — все равно перепрут. Только я ведь докладывал: разутые, раздетые все, как один. Железная после операции вся оделась — они, изволите видеть, первые склады захватили! А за что мои страдали? Как?

— Относительно обмундирования мне известно,— сказал командарм,— но нет нарядов из центра. И вообще... У Республики едва ли есть. За террасой все оденутся!

Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.

— Оперативиых поправок нет?

Очевидно, не было: все молчали. План был приият — он висел над глухой сосредоточеиностью полей. В них снилась невозможная горящая ночь.

В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и люди.

Командарм вышел на улицу.

В сумерках, жидко дрожавших от множества костров, шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая огоньками цигарок. Земля гудела от шагов, от гиета обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах набились вповалку, до смрада: в колеблющейся тусклости коптилок видио было, как валялись по избам, по полу, едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами у коптилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там сидели и лежали, варили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, присаживались испражниться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, галдели распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из дверей. Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века.

Комаидарм подошел к костру. На колодах кругом сидели несколько; кое-кто, сутулясь, мешал ложкой в котелке; обветрениый и толстомордый пареиь, оголившийся до пояса, несмотря иа мороз, озабочеино искал в лохмотьях вшей и бросал их в костер; у костра лежал пожилой, в австрийской шинели и кепи, глядя иа огонь, из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще безликие. Сколько бездомиых костров видели они в далеких затерянных скитаньях... Из тьмы подошел комаидарм, на него взгляиули мельком: велик мир, бескоиечны дороги, миого людей подходит к бездомным кострам... Полуголый рассказывал:

— Есть там железиая стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Стороиа за ней ярь-пески, тумаииы горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней эти самые елементы в еиотовых шубах, которые бородки коиусами: со всей России туда иабежались. А богачества-а-а! Что было при старом режиме, так теперь все в одну кучу сволокли!

— И опять они хозяева,— сказал лежачий от костра.

Полуголый обозлился и хлестиул об землю лохмотьями.

— Хозяева, в душу их мать!..

— Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь!

— До-мой-ой!.. А ежели вот у этого,— парень ткиул пальцем в пожилого в кепи,— и дома-то нет, кругом один териацеиал остался? Што?

Лежавший поднял иа него мутные добрые глаза.

— У бедиих дому иема. Една семья, една хата — интериациоиал.

— Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и заржал.— Все книжки читаешь, умна-ай!

Сутулый от котелка хихикнул.

— А ты, Микешин, все больше насчет жратвы? Имнастерка-то где? Ох, и жрать здоровый, чисто бык!

— Верно, что бык,— отозвались лежавшие.

— У нас в деревне у дяде бык был, такой же на жратву ядовитый, так уби-или!

— Ха-ха-ха!..

Микешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозубый рот.

— Вот когда в Цаплеве стояли,— сказал он,— так кормили: пошеничный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма. Вот кормили! А теперь народу нагнали, братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых пощупам, погоди, погуля-ам!..

Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой стуже:

— Боже ж, какая есть сторона!..

— А может, брешут,— хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно.

Сутулый исподлобья взглянул на командарма, греющего руки над костром, и спросил:

— Вот вы, може, ученый человек будете, скажите: правда ли, если мы этих последних достанем, так там столько добра напасено, что, скажем, на весь бедный класс хватит? Или как?

Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил.

Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох...

Из потемок огляну́лся: у костра сели в кружок около полуголого, хлебали из котелка, говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чудесной стране Даир. В избах хлопали двери, кто-то, оберегая смрадное тепло, кричал: «Лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?..» За околицей, в темном, цвела чудесная бирюзовая полоса от зари; в улицах топало, гудело железом, людьми, телегами, скотом, как в далеком столетии. И так было надо; гул становий, двинутых по дикой земле, брезжущий в потемках рай — в этом было мировое, правда.

III

Целый день шли войска.

С рассвета двинулись конно-партизанские дивизии. Запружая дороги, лавой катились телеги с пулеметами, мотоциклетки, автомобили со штабами и канцеляриями, подтрясывались конные с пиками, винтовками и палицами, высматривая зорким озорным глазом, нет ли дымка за перевалом. И если показывался дымок, деревня — сваливалось все в кучу, задние с лету шарахались на

передних: началась дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками «дае-о-ошь!». В улицах, сразу пустеющих, сползали на скаку, брюхами с лошадей, жгли наскоро костры, шарили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую пыль.

Впереди скакал слух: конные идут.

У мостов еще с ночи стояли мужики с подводами: через мосты было не проехать, надо было ждать, когда схлынет волна... Мужики обжились, распрягли лошадей, варили в ведерках снедево, спали, а то прохаживались, переругиваясь от тоски. Сзади подъезжали еще; останавливались; гомоном, ярмарками кишело в полях у мостов.

От Тагинки примчались и тут же круто застопорили армейские автомобили. С машин гудели в упор в едущих сиплыми пугающими гудками; адъютант бегал по мосту, едва не попадая под ноги лошадям, кричал, потрясая револьвером, но безуспешно: глухая сила хлестала через мост, спершись стеной и не пропуская никого. Черноусый в бурке нагнулся с седла к командарму и, дерзко подмигнув, крикнул:

— Посидишь, браток! Закуривай! Га!

С трудом рванулись из клокочущих летящих лав назад — к Тагинке, чтобы взять в объезд. И сразу обе машины ринулись, словно спасаясь,— и сразу рухнуло гиком, засвистело сзади и заревело тысячами горл; отставшие неслись, нахлестывая лошадей, на автомобили, на близкий дымок. Командарм оглянулся: оторвавшись от толп, падали в зияние дорог автомобили, за ними, словно предводимое вождями, неслось облако грив, пик и развевающихся в ветер отрепий. Ревели дико и пугливо машины вождей; мчалась ножовщина, сшибаясь друг с другом осями, сворачивая плетни и ветхие палисаднички, улицы тонули в звякающем железе, вопле бубнов, визге лошадей. Командарм силился подняться, его сбивало ветром — в ветер, в гик злобно кричал:

— Молодцы! Блестящая кавалерийская атака!..

Селом зачертили машины — в пустые пролеты — в степь. Из штаба дивизии глядели недоуменно, в штабе бросили работу, липли к окнам: все хотели увидеть знаменитые полки, овеянные ужасом и красотою невероятных легенд. Пылью и гомоном крутило улицы. За пылью и гомоном в полдень разграбили дивизионный склад с фуражом; гикая, метались по задворкам, высматривая у мужиков и по штабным командам лошадей; которых посытее брали себе, а взамен оставляли своих, мокрых и затерзанных скачкой. То и дело запыхавшиеся прибегали в кабинет к начдиву — доложить; в кабинете топали ногами, материли в душу и в революцию,— улицы крутили пылью, гоготом, стоном; дьяволы мчались, скалясь на штаб.

В переулке остановили вестового Петухова, подававшего ло-

шадей комиссару; в лакированную пролетку переложили молча пишущую машинку и пулемет, поверх всего посадили рябую девицу в шинели и велели ехать за собой.

Петухов было фыркнул:

— Ну-ну, шути, да не больно!.. Я тебе не собачья нога! Я от комиссара штаба, за меня ответишь, брат!..

В это утро выряжен был Петухов в новый френч и галифе, нарочно без шинели — на зависть тагинским девкам, и ехал с фасоном, держа локти на отлет. Конные оглядели его озорными смеющимися глазами и фыркнули:

— Вот фронтовик, а!..

Черноусый в бурке подскакал, танцуя на коне, по-кошачьи изловчился и переел лошадей нагайкой.

— Га!..

Лошади встали на дыбы, упали и понесли. И сзади тотчас же загикало, засвистало, рушилось и понеслось стеной. Вот-вот налетит, затопчет, развеет в пыль. В глазах помутилось. «Несут, ей-богу, несут»,— подумал Петухов, закрыл глаза, сжал зубы и вдруг — не то от злобы, не то от шалой радости — встал и навернул еще раз арапником по обеим лошадям...

— Держись! — завопил он в улюлюканье и свист.— Разнесу! Расшибу, рябая бандура!..

Так и унесло всех в степь.

Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных улицах, грудясь у котлов, наедались на дорогу; котлы и рты дышали паром; костры стлали мглу в поля. А небо под тучами гасло, день стал дикий, бездонный, незаконченный; тело отяжелело от сытости, а еще надо было ломить и ломить в ветреные версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески, туманны горы?

Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к впалоглазому в кепи, лежавшему у завалины с книжкой, и сказал тоскливо:

— Юзеф, што ты все к земле да к земле прилаживаешься? Вечор тоже лежал... Тянет тебя, што ли? Нехороший это знак, кабы не убили.

Юзеф слабо улыбнулся из-под полузакрытых век.

— А что же, у мене никого нема. Ни таты, ни мамы. За бедних умерéть хорошо, бо я сам быв бедний.

За околицей налегло сзади ветром, забираясь под шарф и под дырявый пиджак. Микешин глядел на шагающего рядом Юзефа: и о чем он думает, опустив в землю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру кругом в незаконченном дне, в бездонных насупленных полях — о чем?.. В дали, в горизонты падали столбы, ползли обозы, серая зернь батальонов, орудия. По дорогам, по балкам, по косогорам тьмы тем шли, шли, шли...

И еще севернее — на сотню верст,— где в поля, истоптанные и сожженные войной, железными колеями обрывалась Рос-

сия — ветер стлал серой поземкой по межам, по перелескам, по льдам рек, голым еще и серым — где в степных мутях свистками и гудками жила узловая станция — кишел народ, мятый, сонный, немытый, валялся на полях и на асфальте; на путях стояли эшелоны, грузные от серого кишащего живья, и платформы с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы N-й армии на юг, к террасе.

И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: даешь Даир! Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы с былым обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и запаутинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, живело и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города на юг; телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир.

Из грязных теплушек валил дым: топили по-черному, разжигая костры на кирпичах, прямо на полу и, когда холодно, ложась животом на угли. Но чем южнее, тем неузнаваемей и чудесней становилось все для северных — обилием былого, уже затерянного в снах; а на узловой станции, преддверии юга, продавали давно невиданное — белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, засиженные копотью, сбегав куда-то, возвращались и, задыхаясь, кричали в вагоны своим: «Братва, айда, здесь вольная торговля, ей-богу!» — «А де ж базар?» — «А там за водокачкой...» За водокачкой стояли телеги с мясом и тушами, бабы с горшками и тарелками, в которых было теплое — жирный борщ с мясом, стояли с салом, коржами, молоком, буханками пшеничного... И из эшелонов бежали туда косяками с бельем, с барахлом, навив его на руку для показа; и тут же сбывали за водокачкой и проедали, садясь на корточки и хлебая теплый борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки. В вагонах уборных не полагалось, и, расслабленные, распертые от обильной пищи, лезли тут же под тормоза и в канавы.

Поезда шли только на юг: на север не давали паровозов силой. Едущие на север жили на станции неделями, обносились, проелись, обовшивели, очумели от долгого лежанья по перронам и полям, но надежды уехать все-таки не было. Напрасно представитель Военных Сообщений, черненький, ретивый, в пенсне и кожаном, бегал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратами в телеграфной, писал, высунув язык от гонки: на узловой пробка, на узловой катастрофическое положение и саботаж, самовольная прицепка паровозов, угрозы оружием — «прошу виновных привлечь к суду Ревтрибунала, единственная мера — расстрел»... напрасно с пеной на губах кричал озлобленной, понурой и голодной толпе, ловившей его на перронах, что пер-

вый же паровоз, тот, который подчиииивается сейчас в депо, пойдет иа север,— все шло своим чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукосительиом и чудовищном ударе на юг. И иа паровозе, предназиаченном иа север и чистящемся в депо, кричало уже иа чугунной груди мелом: даешь Даир! — у депо дежурили суровые и грубые с винтовками наперевес: ждали. И на перронах ждали, глядя в провалы путей жадными, впалыми и полубезумными глазами — видели только муть, тоску, безиадежье...

А в отяжелевших от сытости эшелоиах ухало и топало. Из дверей черный ядовитый дым полз иа пути, в дыму кричали:

— Ох-ох-ох! Безгубный шинель загиал! Полпуда сала, три четверти самогону! Гуля-ам!

Чумазый плясал над дымным костром распоясаииый, с расстегнутым воротом гимнастерки. В теплушке словно медведями ходило.

— Крой, Безгубиый! Ах, ярь-пески, туманны горы! Зажаривай! Не бойсь, там те и без шииели жарко будет!..

— На теплы дачи едем!..

Из депо выкатывался паровоз, тяжко пыхтя; машииист, перегнувшись над сходней, курил и хмуро ждал. Платформу запрудили едущие иа север с мешками, с узлами, зверели, толкались кулаками и плечами, пробиваясь к путям, чтобы ие опоздать и не умереть. Ждавшие с винтовками вывели паровоз иа круг, схватились за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Начальник эшелона вынул иаган из-за пояса и сказал машинисту: «Веди к эшелону на одиннадцатый путь». Машииист хотел протестовать, но подумал, бросил с сердцем окурок и повел. Помощник успел сбежать.

По эшелону обходом кричали:

— Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!

— Вали Безгубнова, ои летось у барина на молотилке ездил, всю механизму зиает! Погреется заодно без шииели-то!

— Без-губ-на-а-а-ай!

Паровоз стал под эшелон. На платформах завыло: обманутые материли, махали кулаками, выбегали на рельсы, дребезжали по стеклам станции, грозя убить.

Черненький бегал вдоль вагонов, терял пенсне и исступленно кричал:

— Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спутали, вы подводите под катастрофу всю дорогу! Помните — это даром не пройдет!.. Я по проводу в Особый Отдел!

— К черту! — отмахивался начальник эшелоиа.— У меня боевой приказ в двадцать четыре часа быть на месте — плевал я на ваши графики. Дежуриый, отправление!

— Расстрел!..— вопил черненький.

В эшелонах зазвякало, задребезжало, рявкнуло тысячеротым ура и пошло всей улицей.

— Дае-о-о-о-ошь!..

На подъеме за станцией паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был не под силу. Распоясанные выскакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ногтями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы не скользило; ухали, подталкивали, подпирая плечом, и в то же время откусывали от пшеничной буханки и пропихивали за отторбученную щеку.

— Гаврило, крути! Таш-ши, миленок!

— Безгубна-а-ай, поддава-а-ай!..

— Го-го-го!.. Гаврюша, крути!..

— Таш-ши!..

В перелески, в мутную поземку волокли красную громадину плечами, а впереди черный, с налитыми огнем глазами, натужно пыхтел, крича хриплыми гулами в степь: дае-о-о-ошь!..

IV

И за террасой готовились. В Даире провожали на фронт эскадрон, свою надежду, самых храбрых и блестящих, чьи фамилии говорили о веках владычества и слав.

Наутро они уходили в степи — к конному корпусу «мертвецов» генерала Оборовича,— того, который сказал:

— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.

Был незабываемый вечер в Даире. Он вставал бриллиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег. Музыка оркестров опевала вечер; бежали токи толп; женские нежные глаза покоренно раскрывались юным — в светах мчавшихся улиц, в качаниях бульварных аллей. В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк, юные проходили по асфальтам, надменно волоча зеркальные палаши за собой; в вечере, в юных была красота славы и убийств. И шла речь; во мраке гудело море неотвратимым и глухим роком; и шла ночь упоений и тоски.

Был круговорот любвей; встречались у витрин, у блистающих зеркал Пассажа, в зеленоватых гостиных улиц, у сумеречных памятников площадей. Девушки на ходу протягивали из мехов тонкие свои драгоценные руки; звездные глаза смеялись нежно и жалобно: их увлекали, сжимая, в качающуюся темь бульваров, голос мужественных, тоскующих шептал:

— Последняя ночь. Как больно...

Горя хрустальными глазами, метеорами мчались машины — через гирлянды пылающих перспектив — во влажные ветры полуостровов,— с повторенными в море огнями ресторанов (там скрипка звенит отликом цыганского разгула...), в свистящий плеск ветвей и парков. Сходили в муть, в обрывы, там металось довременное мраком, нося отраженные звезды, шуршали

колеблемые иад ветром покрывала. Прижимались друг к другу холодноватыми от ветра губами, полными улыбок и тоски, и волны были сокровенны и глухи, волны бросали порывом это хрупкое, драгоценное в мехах к иему, уходящему, и девушка, приннкая, шептала:

— Мне сегодня страшно моря... Я вижу глубину, оиа скользкая н холодная.

И он, может быть, этот, ушедший с любимой к морю, может быть, другой — там, в городе, у сумеречного памятника, может быть, еще третий и сотый — в ослепительных зеркалах ресторaиов — повторял, торопясь и задыхаясь:

— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь — жить. Мы выпьем жизиь ярко! Ведь любнть — это красиво гореть, забыть все...

И снова в туманы, теплые и влажные, кричала сирена, летели, валясь назад, загородные кварталы, трущобы бедноты и керосиновых фонарей. А влажные тумаиы просвечивались и утончались; раздвигались; рос и шнрился в золотистом зареве иочной полдень улнц; раздвнгалнсь перспективы, н туда, ринувшись, потеряв волю, мчались машины — в арки громадных молочно-голубых сияющих шаров.

Это Доре.

Замедлеи лет плавиых крыльев; еще толчок — и стали, качнув брнллиантовую эгретку. И еще и еще, обегая полукруги, стекались авто; убегали; спархивали, стопывали иа асфальт засидевшиеся телеса, ловко оталиенные, цилиндры, плюмажи мнссий, драгоценные манто, аксельбанты сиятельных: туда — в кружащнеся монумеитально зеркальные зевы.

Уютный подъем лестниц, сотворенных из ковров, растений и мягкнх сияний; утонченно почтительные поклоны лакеев, перехвативших иа лету крошечное пальто бритого, тучиого, с обвислой сзади оливковой шеей; у зеркал на повороте краткая остановка блистающей подруги, и за ней причмокивающнйся, щурящнйся через моиокль взгляд того, с выпяченной челюстью — в атласиый вырез, в розовую роковую теплоту.

Спутник сжал рукой палаш. «Наглец!» — хотел крикнуть он, но девушка умоляюще, иежно сжала локоть.

— Это же известный... парижский... Z...— Офицер почти приостановился, подавленный: это качалнсь на лакнрованных носках, шаловливо посмеиваясь, сумасшедшне алмазные россыпн, мировая иефть... Надо было улыбнуться, хотя бы дерзко, но любезно — в прищурениый испытующий монокль, в бриллиантовую запонку пластрона — мы не варвары, мсье!

И за портьерой открылась сияющая вселенная: проборы, орхидеи, белые снега грудей, бриллианты, голые плечи, летящие в блаженую беспечность, выдохи сигар, смех и говор беспечиых. Пьянели залы, опеваемые смычками. Был вечер у Доре, был час, когда — жить...

Рты, раскрываясь, давили горячим небом нежную сочащуюся плоть плодов; распаленные рты втягивали тонкое, жгучее, на свету драгоценно-мерцающее вино; челюсти, сведенные судорогой похоти, всасывали, причмокивая, податливое, жирное, пряное.

Смычки окутывали мир.

Вставали — откуда? — преисполненные спокойствия и обилия вечера, любовь на закате, у тихого дома. Качались задумчиво головы опьяненных; грустили ушедшие куда-то пустые глаза, смычки терзались в идиотическом качании, мир исходил блаженной слюной. Шептали, безумея:

— Любимая, мы будем потом навсегда, навсегда... Будет ваш парк в Таврии, пруды, солнце... Мы будем одни! Парк, звезды твоих глаз... Как хочется забыть жизнь, моя!..

— А завтра?

И вдруг тревогой колыхнуло из недр, смычки кричали режуще и тоскливо: дуновением катастрофы пронеслось через зальные, бездушно сияющие пространства. И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие глаза...

...А на много верст севернее — за дебрями ночи — из дебрей ночи прибежали двое в английских шинелях с винтовками и, показывая окоченевшими, дрожащими пальцами назад, крикнули заглушенно: «Там... идут... колоннами... наступление...» Зазвонили тревожно телефоны из блиндажных кают в штаб командующего, ночью проскакали фельдъегери в деревни — будить резервы; зевы тяжелых орудий, вращаясь, настороженно зияли в мрак: три дивизии красных густыми лавами ползли на террасу. Из штаба командующего, поднятого на ноги в полночь, звонили: немедленно открыть ураганный огонь по иаступающим, взорвать фугасы во рвах. И в ночь из-за террасы ринули ураганное: пели все сотни пулеметов, винтовки; и еще громче стучали зубы в смертной лихорадке. Прожекторы огненными щупальцами вонзились ввысь — и вот опустились, легли в землю, в страшное, в оскалы ползущих... но не было ничего, пустые кусты трепыхались в ноябрьском ветре, мглой синела безлюдная ночь, огненный ураган безумел и вихрился в пустых полях...

— Ложная тревога! — кричали бледные в телефон — в штаб командующего; и те двое, прибежавшие из ночи, тут же легли у каюты начальника дивизии, пристреленные из нагана в затылок...

А из стен, с высот, нависло, росло... и вдруг, под рукой надменного метрдотеля погасли огни, где-то визгнул гонг; подтолкнутый ужасом, тучный рванулся, прижимая вилку к груди, коротенькими безумными шажками добежал до прохода и упал, хрипя. Взвыл гонг, погасли залы, эстрада вспыхнула малиновым неземным сиянием сквозь вязь волшебных растений — и знаменитая баядера выплыла из сказок, из томных лун, заломив голые руки в алом... Бесшумные лакеи бежали к лежавшему,

бережно и почтительно будили за плечо, но поздио: на губах трупа густела и склеивалась кровь.

И когда в темноте — в пьяное, и жадное, и тоскливое дыхаиие притянули девушку, оиа сказала изиеможеиными и влажными глазами: да, можно все.

Глыбы черных этажей, пылающие изиутри. Каменные аллеи улиц, пустые, чуткие после полуночи.

Остановиться у фонаря, глядеть в тихое насильствеиное сияние его в безглубом. Не кажется ли, что делается потайиое, страшное за зловещей безмолвью? И им, в этот час и им, несущимся иа бесшумных крыльях авто, сжимала сердце тревога, плывущая с пиров.

Раскрывались зеркальные зевы гостииниц, распахивались портьеры комнат, принять тех, кто возвращался спать, усталый, со ртом, раскрытым от наслаждеиий. И тени бесшумных любовников скользили в зеркальиые двери: цилиндры, ярь губ, заглушенный стук палаша, черный шелк Коломбины, опущенный на бровь. И в кабииетах — в полузакрытых, упоенных глазах, в объятиях последней ночи — были закаты гаснущих уходящих веков...

А на площади, оцеплеииой гигантским каиделябром голубых фонарей,— и где еще скрещивались фонари кварталов, где звонко и безлюдно процокали последние рысаки, летя в кварталы,— безглубая тишина поднялась ввысь, в мировое пространство. Никла вселенская ночь. В мутиой обреченности площадей, на фонарях висели трое, с покорными понурыми головами, глядя себе в грудь черными впадинами глазниц...

К зеркальным дверям поднесли рысаки. Двое поднимались в темио-красные, отуманенные мерцанием слабых светов бесконечные ковры. За портьерой, полной мрака и невнятного благоухания чужих, любивших и ушедших, повторялось вдруг: площадь, опрокинутая в безглубое, трое висящих — и где-то в черных пропастях та полночь, жуткая ужасом и позором... Девушка прижала ладони к бьющимся вискам; вдруг в близящиеся к ней с мукой и обожанием глаза тихо засмеялась, слабея...

И шла или стояла ночь. В сказках щемящим разгулом выл бубен баядеры. Или звенели неисходным пространства гаснущего рая, в зеленоватом тумане заката, последиего на земле...

...Пели гудки в тусклом брезжущем окие. Рождался день; он был, может быть, в навсегда. Распахнули окио — в зелень высот, в холодное играние рассвета. Пели гудки; по асфальтам — из переулков, из кварталов, из трущоб шли, тихо перекликаясь, безликие, утренние; шли в гудки.

В непогасших лампах комиаты тени вчерашнего, непроснувшегося, жили еще. В постели клубочком спала подруга и был

округл в усталой сииеве драгоценный очерк ресниц, ушедших в себя.

В жесткой ясиости восхода свет. Утренние шли в сумерках асфальтов, за ними четкость будней, жизнь. Кто-то, бережно целуя руку спящей, глядел, тускнея, в окно; день оттуда восходил, как смерть.

V

На побережье готовились к смотру красных войск.

С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами. С курганов открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты батальонов зыбились под ветром, как поле; от опушки изб кольцом теснился глазеющий народ. Был день перед боем, день, нахмуренный в безвестье...

На плаху среди поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний ветреный день:

— То-ва-ри-щи!

О последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь. Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плескались под плахой в желтом свечении горизонтов. А в горизонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная матерями.

Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке... А за ними уходит ночь, и брезжут рассветы красной золотеющей рожью.

Это есть наш последний и решительный бой...

Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью наплывали замедленные певучие ветры: колыхались знамена застывших батальонов. Перетянутые ремнями накрест ротные семенили перед фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво говорил:

— Вы на моих-то картинок обратите внимание, товарищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?

С рядов летела придушенная команда:

— Ра-вня-й-айсь!

И вдруг, после паузы застывших движений — ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мерно и четко. И в степи — от медных и певучих стенало откликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрасных веках.

Был на рубеже времен желтый день в полях, и в нем торжественный церемониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм и штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и безвестье неизжитых, неизволнованных дней...

И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм — шли, наступая, ряды, кося глаза ему в грудь. И впереди всех двое — их встречал он где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень с красным обветренным лицом, в черном заплатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной шинели и кепи, усатый, пожилой, с крупными прозрачными глазами.

Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля — безгранные; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брызжущие сны...

Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.

— Спасибо, товарищи!

— Служ... ба... ре-во-лю-цин!

Железные птицы гудели в зените. Закат из-за далеких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц червонной дрожью. Как ветры, бесконечные, безликие провлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури, и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях...

Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях стального цвета. В командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли тупомордые броневики, безглазые и безлюдные, слепо поводя щупальцами пулеметов. Рыча гигантскими гусеницами, ползли глыбастые суставчатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж; еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные,

потрясающие землю тела: таики отдавали честь комаидарму. И шла суета сует. Газетиые корреспоидеиты бегали в соседние избы, лезли в погреба заряжать фотографические камеры, иарод глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.

Вечерея, уходили ряды вдаль, в темио-кровавую пыль, в иавсегда. Суровей и иастойчивей дул ветер иа залив. В волиы, в муть гортаиио грустили трубы, уходя в бескоиечиое.

VI

И еще деиь прошел.

Вечером — в Даире — восходило огиеииым:

СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Красиые перешли к позициоииой войие.

Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередиому разгрому большевистских армий.

На всех фронтах спокойно.

И еще через миииуту:

—ДОРЕ—
Несравиеииейшая
Анжелика Асти
Балет! Открытая сцеиа до утра!
Элегаитные кабинеты!

Но кто-то уже проведал о красиых лавах иа побережье. На тайиой иеуловимой бирже платили безумиое — бриллиаитами и золотом, чтобы попасть в секретиый плаи эвакуации, лежавший в иесгораемом шкафу в кабииете главкома. Паиический шепот шелестел в улицах. На рейде дредиоуты дымили загадочио и угрюмо.

Ночью в степиом городке горели факелы и строился корпус геиерала Оборовича. Под звездами, сияв шапку, геиерал сказал:

— Прощайте, братцы. Помиите: идя в бой, мы должиы себя считать уже убитыми за Россию.

Корпус шел в боевой резерв: его берегли для решающего момента. Первым скакал в степь офицерский эскадрои. Просмеявшись беспечиой лихостью, гииул ои в пустыию, где замкнулась за иим ночь иавсегда...

И еще позже — в селе Перво-Николаевка, что иа севериом берегу залива, было так:

Красиоармеец Микешии, сидя перед пылающей печкой в волостиом исполкоме, где разместился взвод, доел последиее сало, аккуратио подрезая его иожичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу, что лежал животом иа полу:

— Коичил, Юзефка. Ну, и сала же попалась вкусиая, лихо ее забери...

И лег рядом.

В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, кото-

рого заели в боковушке солдатские вши. От бессоницы решил кое-что поделать для завтрашнего праздника — годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:

— Помогите, што ль, лозунга-то развесить, эй!

Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из цигарок. Кривой протянул один плакат над окном, но для другого не хватило места, да и работать одному разонравилось. Микешин поднял голову и от безделья разбирал:

МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ...

Секретарь сел к печке, к теплу и прикорнул. В полночь велели собираться. Взводу назначено было идти в головной колонне, роздали ножницы для резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего секретаря и взял, подмигнув, оставшийся красный сверток.

Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожно зяблось. Ротный обходил, считая людей.

— Первое дело, братва, не шуметь, ни гугу... Мы его на печке живьем сцапаем! Слушать команду...

В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.

— Взвод... ар-рш...

Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За откосами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом: старые обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди колыхались по земле багровые тени — это на берегу, сзади, жгли костры, чтобы не сбиться идущим.

И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары. Они светили в пустые поля, где не шел никто... А в сухое море сползали из мрака тьмы тем, уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое глухое ржанье, скатываясь в неезженный морок. Головные ушли далеко. Понемногу скрылись костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин сказал Юзефу: «Друг за дружку давай держатца, братишка...» И вот стало все глухо, черно и мертво, как на дне.

Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел: «Ложись!» Тогда пригнулись к земле и полезли дальше, сжав зубы...

Так начался знаменитый удар командарма N.

Всю ночь молчали аппараты.

И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства ползли полчища облаков — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили в кабинет к командарму: «Дуют ветры южных румбов, восемь баллов...» Из бессонного кабинета верные и четкне шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам. Свннцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли, годы лн? И опять:

— С частями за заливом связи нет. Слышна канонада иа побережье...

Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было: вспыхнуть зовамн, заревами в далеком — за террасой, загудеть из моря позади смятенного, не верящего еще противника; и тогда, с севера — ощетиненным потоком взреветь на террасу — в крик, в крошево, в навстречу.

Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами продолжал лежать враг, хитрый, настороженный, и сзади его все молчало... На рассвете, не дождавшись, потоком разъяреных, опасливо пригибающихся к земле, хлестнуло на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легло человечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма...

С моря дул ветер.

И с моря бежало ручейками, серо-грязнымн озерами — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно залива, взрыхленное ступнями тысяч. В слякоти, в озерах, глубнневших каждую минуту, хлюпали резервы, брошенные вдогонку ушедшим. Свннцовым поясом стоялн воды у берегов, в водах тонулн дороги. Не было дорог. И опять:

— Немедленно, по приказанию командарма...

— Все меры нсчерпаны... Связи нет...

На рассвете грозой пробило нз-за моря. Это они, прижатые к берегу множества — прижатые к морю — в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая, по колена в воде; с материка выгоняли деревни в воду — мостить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, путались леннвыми, вязнущими телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие, седые — и таяли тотчас: ветер и воды пожирали их.

Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессонной иочи — может быть, единственной в жнзни и — в истории. Аппараты молчали... и вдруг — из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло грозой:

— Есть. В двенадцать часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый краснымн дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.

Армия была за террасой. Рубеж был перейден. Полки лежали на солончаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений, опутавших узкие дефиле озер. Сквозь

шестидесятиверстную даль — через шнпы железных проволок — сквозь жарь боя — н командарм видел уже счастливую сннь озер.

Армейские автомобилн мчалн к террасе. Конно-партизанским дивизиям, еще замешкавшнмся у залнва, было приказано стянуться на перешеек через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с перешейка уже дышало гулом, дрожаннем недр; там начнналось... И, хрипя от нетерпення н злобы, конные свалилнсь под берег, ордой забурлилн — в воды, в кипящую муть.

VII

Был день — нз жизни, из снов лн? — во мгле его остались седые плескання воли, кому-то понятные передвнжения в тумане прибрежий — вперед — назад, обреченность переступнвшнх через черту, стоны, матерщнна озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете зарева зажженных хуторов — в нзбе, на минутку, хлопнулся Микешнн бедрами на пол, отвел в сторону потные волосы н пил, тяжело дыша, из котелка.

— Ну, и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоленая, аж с нее пить хоцца! И железой отдает... Вот ты какая местность, а!..

И потом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечереннн снннх озер, н в этот беглый огневой треск отдавал свою долю, ложась ухом на приклад, едва открывая векн, усталые, запавшне — какая мечта, какая боль за ними?.. А впередн выло н ахало железом из-за озер, рвалось, ураганнлось сзадн, в безводных солончаках, заревамн вздыблнвалась пыль, н в пологах пыли, в ночах пыли и дыма тупо и леннво ползлн суставчатые серые громады в синь озер.

— Садуны-то! — всхлипнул Микешнн.— От зажварят теперь! Крепись, Юзефка!..

Танкн шлн прорвать первую лнннию дефиле. На хуторе, в пятн верстах сзади, сндел командарм с начдивами и штабами дивизий: танкн былн его воля. За танками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Даирскую степь. И на мннуту вдалеке смолкло татаканье сотен пулеметов, только ухало и дышало железиым гулом в земле — это танки подошлн к окопам, н, не переставая, бнлн мортнры нз-за озер. И вдруг слева застрочило, запело, внзгнуло медиымн ннтями ввысь — н в степн, в озера бежалн поднимающнеся нз-за бугров, бежали прнгнутымн, разреженными токамн в крик н грохот, где танки плющили костн, дерево н железо; нз-за бугров подходили еще, пригнбаясь, и тоже бежалн, н за нимн еще зыбилось нескончаемое поле масс — до краев степей, до мутных вечереющнх залнвов: это был вечер, историческнй вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньскнх дефнле.

На карте одноверстного масштаба командарм зачеркивал математически рассчитанные параболы движений. Он думал: это уже завершение, конец.

Но это было не все. За озерами стоял свежий, нерастраченный корпус генерала Оборовича: его берегли к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор белых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую колючую сеть и пешие настигали его железом, сбыченными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого, растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом глаз — в брешн живых, теплых, раздавливаемых тел мчались те, которые уже были убиты.

Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших против правого сектора. Конные растекались уже сзади — во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в лавы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был занесен отчаянный удар.

На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тревожное. В долах метались спины масс, крики и гиканье плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались с привязи фельдъегерские лошади, вставали на дыбы, били копытами по лакированным крыльям автомобилей. Командарм вышел и глядел в степи: там творилась смута.

Корпус выходил в тыл армии, загоняя ее в мешок между дефиле и заливом. Впереди корпуса офицерский эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в смерть. Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в вечере, и в звериной шатании масс была острая жизнь, было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми твердели века владычества, верилось в гениальность маневра, в легкость победы, над диким, орущим и мечущимся безголовьем.

Командарм был спокоен, может быть потому, что знал закон масс. От командарма скакали фельдъегери к конно-партизанским дивизиям с приказанием немедленно выступить на поддержку частям. Но не успели доскакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от усталости и воды, проволочившие свои телеги и пулеметы через море,— шли прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.

Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива до залива, тяжко неслась лава коней, бурок, телег, прядающих грив — в вечереющее. Это шел конец. Против прорыва, зияющего между заливом и скопищами армии, развертывались гигантским полукругом телеги, подставляя себя под бешеное паденье мчащихся фаланг.

На левый сектор только еще дошла тревога из тылов. Пешие не знали, куда идти; глыбастые громады, огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор подкатившиеся почти вплот-

ную орудия. В водовороте стоял Микешин, большой, с кроваво-красными обмотками на упорно расставленных ногах, кричал в лезущее:

— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку держатца! Уходют, слышь, Юзеф!..

Из-за второй линии озверелые лезли догонять отходящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зевов, расстреливавших почти в упор, на картечь... Во вселенском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный... или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними кричал Микешин, охрипнув, разевая в гуле будто безмолвный рот:

— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок! Слышь, Юзеф! Эх, друг-то ведь какой бы-ыл...

И, обернувшись к озерам, махал винтовкой.

— Жлобы!.. Вы! Напоследок и его, а-а-а!..

Рядом, из сумерек, упирался в бегущих ротный, гололобый матрос, тряся маузером, визжал:

— Бежать? Шкурники! Трусы!.. А революция, бога вашу мать? Первого на месте... сам!.. Назад!..

В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег: на них обрушились, хрипя лошадьми, эскадроны. И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. Распадались перебитые кости, чернели рты, исцелованные вчера любовницами, в кровавое месиво, истоптанные ногами, сваливались улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств... А телеги мчались по лежачим взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Петухов на пролетке, в одном френче, с цигаркой в зубах, держа локти наотлет: сзади рябая, сжав зубы, строчила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми визгами.

И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой подъятых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обратно в правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в левый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин и за ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды — «дае-о-ошь!» — и вот: на второй линии полег матрос, повиснув через проволоку затылком почти оземь, и на правом — мчась в табуне визжащих взбешенных коней, рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем, завязив размозженную голову ему под шею. И через них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блиндажей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные; далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, ухо-

дили остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми глазами.

Конец.

К ночи прошли укрепления, под откосом, в степной речушке, пили пресную воду. Микешин лег на живот, пробил прикладом ледешок и пил, а потом камнем уснул тут же на берегу. И легли еще множества и спали. И в снах — сквозь зарево, жуть и кровь — успокоением сияли в мглах светы.

Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.

И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов, в века.

VIII

В ночь противник оторвался от передовых нагоняющих частей и сгинул в степях. Вперед были брошены конно-партизанские дивизии — настичь отходящего и не дать ему сесть на корабли. Из-за террасы — с севера шли резервы, вразвалку, в накинутых на плечи шинелях, за ними волочились бесконечные обозы в солончаках; резервы шли на смену усталым от трехдневных переходов и боев частям. Но боевые части встретили пришедших матерщиной и насмешками и сменяться не пожелали — впереди уже светились млечно-синие долы Даира. Резервные бригады тоже не хотели оставаться в тылу; полки их втиснулись кое-как между полками Пензенской и Железной, и на рассвете, скрипя и гудя тысячеголосым, армия повалила по большакам на юг.

И правофланговая Заволжская армия, проделав заход правым плечом, выходила на магистральный тракт к Даиру. Запоздавшая благодаря маневру, она наткнулась там же на обозы далеко ушедшей N-й армии. Но армия не хотела прийти последней; она свернула на проселки, там понеслась вскачь на подводах и повозках, задыхалась пешком, волочила рысью артиллерию, бросая застрявшие орудия у зыбких рухающих мостков на степных речонках; и с тылов двинулась конно-партизанская — прямо в неезженное, сбритое осенью и утрамбованное копытами белых — три армии бежали наперегон в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные богатства городов; золотом крыш горело из сказок... С пересохшими ртами бежали кочевья потных, иструженных, ведомых снами...

Далеко впереди катились, расползаясь по радиусам степей, армии врага: к кораблям. С презрительной усмешкой, свертывая с дорог, отделялись от иих последние из мертвецов Оборовича. Этн не хотели уходить: скрываясь в горах, поджидалн ндущих с севера, чтобы напасть, убить, еще раз умереть...

И дальше в бушующей мути крутнлись корабли бежавших. Еще грузнлнсь у берегов: толпы бежали по дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущимн зыбкой обвисалн н трещалн сходни, с берега кричали и проклииали оставленные, гудкн кричали угрюмо с берега в нависающую жуткую расправу н смерть. Чериый дым с судов, не оседая на зыбь, куревом иочн полз у прибрежий; дикая смятеииая иочь шла.

В иочи гул дальних. Все ближе иа города иадвигались раскалеииой теиью костров.

Комаидарм выехал в рассвет — в степь.

Были пустые поля, теплеющий нией, иа развалииах разбнтых хуторов, за курганами иевнятиая, огромно восходящая заря, как граиь времеи. Ночь грезилась за спиной, будто черные дремотиые ворота, вставшие до высот. Заглушеиио гудел мотор, главиымн крыльями пожирая пространство; мерцающая дорога, обложеииая лошадиными трупами, кружительно пробегала иазад. Трупы... трупы со вздутыми боками, с оскалом челюстей, за горизоитами опять трупы, иедвижиые, как вещи... Тысячи, коридоры из тысяч... И заслышав шум, стаи трупиых собак, пригибаясь брюхамн к земле, отползали в поля, облизываясь, гляделн на дорогу фиолетовыми кровяными глазами, мутнымн от страсти...

В сумерках нсторнн, в полуснах лежалн пустые поля, бескрайные, вогнутые, как чаша, подставлениая из безди заре...

Как это? Русь, уже за шеломяием еси?.. В бескрайиом кургаиы уплывали, как черные — иа заре — шеломы: назад, в сумерки, в историю... Где-то сзадн раскииулось в рассвете поле бнтв, еще бредящее кровью, криками, гарью; пустынно брошеиные, не раскраденные еще деревиями иа топливо, стоят рогатки с сетями колючек, разметаио железо убийц, кости, помет животиых, ямы, зияющие сумраком. Ветер треплет лохмотья бурки, повнсшей на железиых шипах в безумио-иаклонном полете вперед... И тишииа плывет иад полем битв — диевиая тишииа запустенья; плывут, осыпаясь иеуловимыми пластамн забвенья, времена.

. . . .

Перед сумерками аваигард ворвался в Данр. По площади копыта отзвонили пустыино н гулко. Аваигард подскочил к углу трех улиц, где над камеииой рябью мостовых свисали со стеи иебоскреба алые флаги непоколебимо, как металл: Ревком. Под балконом, потрясая пиками, аваигард прокричал свой дикий н радостиый вызов. И с высоты из-за решетки, ликуя, наклоиялнсь

маленькие, безумно юркие, в пиджаках и без шапок, махали руками и кричали в приливающие ощетиненные низины:

— ...приветствуем...

— ...пусть услышат угнетенные массы мира!..

— ...да здравствует!..

Из далей, перспектив, как прибой, мчались конные, рассыпая в улицах крик телег и дробь копыт. С низов махали шапками, из опрокинутых лиц тысячи горящих глаз глядели ввысь — на ниспадание алого, на гаснущие алебастровые химеры небоскребов, на каменные арки культур — там оркестры веяли волнами слав — из раскрытых пересохших глоток, из спертых зыком грудей выло:

— ...а-а-а-а!..

С окраин, из доков, из трущоб бедноты шли вставшие из земли, давя улицы множеством, зыбля алые лохмотья над зыбким океаном тысячеголовья, и от них, еще невидимых, из сумеречных недр стенало:

— ...а-а-а-а!..

В порту глыбями и насыпями громоздилось изобилие вспоротых пакгаузов и складов — тюки, ящики, остовы машин, брошенные задыхающимися на бегу. Цепи конных оттеснили берега и порт, сторожили, покуривая, глядя в невиданную тысячелетнюю даль; зыбь шла туда зеленоватым свечением, словно из-за горизонтов заря.

Улицы вспыхнули от синих, бесконечно убегающих огней. В светы изумленные смеющиеся глаза тысяч глядели, как в утро. Из этажей, из стеклянных подъездов выходили нерешительные, спускались на асфальт, кривясь ласковой и боязливой улыбкой, помахивали тросточками: «И мы рады, и мы тут!..» — выходили, осмелев, женщины напудренные, со сладкой горячкой глаз, шепчась, улыбались обветренным и хищно скалящимся галифе. Мутным, радужно-болотным оком вчерашнее глядело, догасая...

В особняке черного переулка, оцепленного конными, угрюмыми и молчаливыми, осудили последних, захваченных у взорванного туннеля в горах. За безлюдьем переулка ширился гул и крик, вещающий о рассветах; резко и жутко прогрохотал грузовик в мраке у ворот.

А ночью пришли полки. Массы расступились под железным упором рядов. На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в светы культур. Из глоток мощным выдохом ревело:

Не надо нам монархии,
Не надо нам царя,
Бей буржуазию!
Товарищи, ура!

Промчавшийся из степей автомобиль, замедленый полками, стал иа перекрестке. На шествии бескоиечиых, иа сиянии простраиств — недвижим был в остром шишаке профиль камеииого, думающего о суровом. Полураскрытый рот хотел крикнуть призывио и властио.

Армия, комаидарм вступали в Даир.

1923

ПО ТУ СТОРОНУ

Роман

СЛИШКОМ МНОГО ПРИРОДЫ

— Так я и знал,— сказал Безайс, ковыряя замазку на окне.— Вон там торчит какой-то курятник, и поезд опять остановится около него и будет стоять пять часов, пока ему не надоест. Меня так и подмывает спрыгнуть и надавать ему пинков сзади, чтобы он ехал скорее.

Безайс покосился на Матвеева. Он сидел на опрокинутом ящике и рисовал химическим карандашом пятиконечную звезду на ладони. Был вечер, с неба сыпалась какая-то мокрая крупа, и в пустом вагоне стояли сумерки. На полу, звеня, перекатывалась бутылка. Матвеев уже второй час ждал, что она закатится в угол и перестанет дребезжать, но бутылка не унималась. Тогда он встал и с ругательством выбросил ее за дверь. Безайс, скучая, следил за ним, а потом снова отвернулся к окну. Он ошибся: на этот раз поезд не остановился.

— Это сплошная развалина — Амурская дорога,— продолжал он, помолчав.— Кондуктор говорил, что шпалы совершенно гнилые, их можно проткнуть пальцем. Мосты шатаются и держатся только по привычке. Черт их знает, в этой глупой республике некому смотреть за порядком. Помнишь эту каналью, дежурного по станции на Укурее? «Не ваше дело!» Они тут страшно избаловались, потому что не чувствуют над собой твердой руки. Когда мы приковыляем в Хабаровск, я пойду к начальнику станции и скажу ему в глаза, что я думаю обо всем этом.

Матвеев кончил рисунок и, прищурившись, разглядывал его.

Он успел уже привыкнуть к этому. Каждый день Безайс уходил к окну, ковырял замазку и ругал железную дорогу. Он называл ее последними словами и хотел куда-то жаловаться. Это облегчало немного дурное его настроение: «Иначе оно останется во мне,— говорил он,— и я заболею». Матвеев не мешал ему — это все-таки было лучше, чем крупный скандал с криками и топотом, который закатил Безайс в Укурее. Поезд стоял там двое суток,

и на Безайса было тяжело смотреть. Наконец, рыча, он побежал на станцию и устроил там землетрясение. Ему хотелось крови.

— Демократическая республика! — орал он, когда Матвеев тащил его за руку к двери.— Развели тут... Художественный театр!

У него был беспокойный характер, и он не мог молча сидеть и ждать, когда поезд дотащится до Хабаровска. Ему было восемнадцать лет, и молодость бродила в нем, как зеленый сок.

Сначала и сам Матвеев принимал участие в этих погромах. Он, впрочем, никогда не шел дальше решения крупно поговорить с кондуктором. Но дни шли, и каждое утро рассвет заливал розовым светом спящую под снегом тайгу. В морозном тумане появлялись и исчезали занесенные снегом станции. Убегали назад изломанные утесы и рыжие лиственницы. Иногда под откосом из-под снега виднелись скрученные жгутом рельсы, ребра товарных вагонов и объеденный ржавчиной паровоз. Однообразно вставало багровое солнце, пятнистый чайник вскипал на чугунной печке, и Безайс уходил к окну ругать железную дорогу. Матвеев устал от всего этого. У него не хватало духа сердиться несколько дней подряд. Поэтому он предпочитал молча сидеть и сосредоточенно мечтать о том, как было бы хорошо, если бы вдруг наступила весна и ему не надо было бы ходить за дровами на остановках.

Из Москвы они выехали три недели назад, а Безайсу казалось, что прошло уже несколько месяцев. До Иркутска они ехали в такой тесноте, что трудно было вынуть руки из карманов. Спали сидя и стоя, вздрагивая от толчков поезда. Целыми днями стояли в тупиках. На одном перегоне загорелась букса,— весь вагон, затаив дыхание, прислушивался к умоляющему визгу колеса. Боялись, что вагон отцепят. Однажды ночью все проснулись от дикого, страшного воя,— в коридоре, на полу, рожала женщина. Для роженицы очистили место, подостлали газету и попросили мужчин отвернуться; под утро родился мальчик,— вагон придумывал имена и ругал бабу за дурость.

Но самое плохое началось от Иркутска. Здесь надо было слезть с поезда и идти в губчека брать визу на проезд в Дальневосточную республику. В Иркутске они с руганью, с клятвами, с воплями сели в теплушку, в которой ехала труппа артистов политотдела Н-ской дивизии. Труппа ругала их всю ночь и весь следующий день, вплоть до Верхнеудинска, пока не выбилась из сил. Они сначала пробовали огрызаться, но потом замолчали и сидели растерянные, мрачные, думая о том, что жизнь все-таки тяжелая штука.

По утрам первый просыпался режиссер. Он спускал с нар толстые ноги в необъятных штанах и, зевая, скреб щетину на щеках и подбородке. Потом он толкал исполнителя комических куплетов — потертую, презираемую в труппе личность — и посылал за кипятком. Просыпался трагик и шел пить чай со своим мешочком сахару. Это был сосредоточенный, жилистый, желчный

человек. Он изводил всех, устраивал скандалы и бил по лицу комическую старуху, когда у него пропадали селедка или сахар. Весь мир был слишком плох для него: вагон трясет, из двери дует, личность не уважают. Матвеев с любопытством смотрел на него, удивляясь, что человек может быть такой скотиной.

Потом просыпался весь вагон, кашляя и жалуясь. Разжигали печь, пили чай, рассказывали сны. Женщин было три: две молодых и одна старуха. У старухи было красивое с крупными чертами лицо и молочно-белые волосы. От лучших дней она сохранила заботу о внешности, и когда трагик бил ее, она старалась только, чтобы он не попадал по лицу.

А в Чите случилось чудо. Им достался громадный вагон-клуб, переделанный из классного. Они сами толком не понимали, как это вышло. В партийном комитете, где они получали командировки в Хабаровск, к ним подбежал взволнованный человек в армейской форме и стал горячо убеждать их, чтобы они взялись сопровождать вагон-клуб до Хабаровска и сдать его стоявшему там бронепоезду. Они высокомерно согласились и, ликуя, побежали на станцию. Снаружи вагон был раскрашен, как детская книжка. Тут были нарисованы и рабочий, и крестьянин, и негры, и социализм, и большая зеленая змея с красными глазами. Это их потрясло и наполнило тщеславием. Не каждому приходится ездить в таком вагоне.

Внутри тоже было неплохо. Посреди стояла массивная, добрая печь, огромная, точно дом. К левой стене прислонился исцарапанный рояль; какой-то осел написал на клавишах химическим карандашом разные непристойности, очевидно загиав на это уйму труда и времени. Рояль был бесконечно старый, его рыжие ноги шатались, но он крепился кое-как и покорно нес свою судьбу — павший аристократ среди дюжих плебеев. На голой стене висел плакат, изображавший небрежно одетую девушку с красным флагом, которой Безайс подрисовал усы и бороду, говоря, что ему неудобно раздеваться при женщинах. В передней стороне вагона возвышалась сцена со всем необходимым: с суфлерской будкой, с занавесом и отличными декорациями зимнего леса.

Они выехали из Читы, и первое время все шло хорошо. Они слонялись по вагону, удивляясь его размерам, лазали в суфлерскую будку, закрывали и открывали занавес. По вечерам они садились около горячей печки и долго разговаривали, умиротворенные своим необычайным счастьем. За окнами летела белесая мгла и огненные брызги. Колеса отбивали каждый шаг их глухого пути, конец которого терялся далеко, за Хабаровском, за лесными массивами, в каменных увалах, где зверь, встречаясь с человеком, прямо смотрит ему в глаза.

Тут по вечерам они оттаивали и говорили друг другу то, о чем обычно мужчины молчат,— самое задушевное, сохраняемое только для себя. У них было одно общее слово, которое связывало

их почти кровным братством, в нем звучало эхо старых, ушедших годов. В памяти вставали люди в косоворотках, в старомодных пиджаках, имена которых звучали, как клятва,— и Безайс чувствовал, что на его мальчишеское, с веснушками, лицо падает их большая тень.

А потом начались несчастья. Сначала у паровоза отлетел кусок трубы. Этот случай они встретили бодро, бегали смотреть и долго обсуждали, как это случилось. Потом лопнул какой-то шатун, за ним сломался клапан, а дальше паровоз начал разваливаться на куски — каждый день что-нибудь ломалось. Это было скучно и очень обидно. Его немного чинили и потихоньку ехали дальше. Потом дали другой паровоз, но тут начались заносы, опоздания, ремонт пути. Дорога растягивалась, как резина: по расчетам, они давно уже должны были быть в Хабаровске, а поезд еще кружился по безвестным полустанкам, между гор и снега, и казалось, что Хабаровска нет вовсе, что рельсы идут в бесконечность, в мороз и в туман.

Первые дни они стояли у окна и любовались природой. Их глаза, привыкшие к широкому размаху русских полей, поражало это обилие камня и леса. Все здесь имело определенный чистый цвет, без полутонов. Небо было густо-голубого, василькового цвета, лес зеленел сочной зеленой краской на коричневом камне. Они старались не пропустить ничего и, прижавшись к стеклу, удивлялись каждой мелочи.

Так прошли первые дни, а потом наступила дикая скучища, которая сводила челюсти зевотой и разламывала плечи. Делать было совершенно нечего. Вагон, рояль, сцена были исследованы ими до последних деталей. День проходил в одуряющем безделье и бессмысленно кончался в густых сумерках, когда оставалось последнее спасение — спать. Безайс сердился и бренчал на рояле до полного изнеможения. Все вокруг было знакомо, привычно и раздражало бесконечным повторением. К концу первой недели Матвеев почувствовал, что больше не может смотреть в окно.

— Знаешь, старина,— сказал он как-то,— это уже сотая по счету гора с одинокой сосной, и они мне до смерти надоели. Невозможно повернуться, чтобы не наткнуться на какую-нибудь природу. Мне нужно совсем немного: какой-нибудь цветочек или бабочку, а тут ее бог знает сколько.

Это был удар в спину. Но Безайс крепился еще несколько дней, а потом тоже бросил,— надоело.

— Я буду больше спать, изо всех сил,— заявил Матвеев.

Сразу после обеда он направлялся к печке, сваливался на шинель и лежал несколько часов, разложив около себя для экономии движений табак, бумагу и спички.

— Глупо стоять, когда можно сидеть,— говорил он,— но еще глупее сидеть, когда можно лежать.

Потом он так втянулся в это занятие, что лежал почти весь день. Безайс пробовал, но не мог.

Это было началом разложения, которое первое время заставляло их стыдиться друг друга и выдумывать жалкие оправдания. Они так обленились, что дошли до той ступени, когда не хочется ни умываться, ни одеваться, ни думать,— когда каждое движение вызывает страдание. Безайс уже несколько дней собирался выдернуть из двери гвоздь, о который попеременно рвал то левый, то правый рукав, но не мог найти в себе решимости, и гвоздь оставался на прежнем месте.

Особое отвращение стала внушать им громадная печка, которую надо было растапливать по утрам. Эта печка была их проклятием, потому что требовала за собой непрерывного ухода. Рано утром надо было наколоть лучину, положить дрова и затем около получаса ползать вокруг нее на четвереньках, раздувая огонь. Наперекор всему дым сначала шел не вверх, а вниз, вызывая удушливый кашель. Когда дрова разгорались, в трубе таял набившийся за ночь снег и заливал огонь. Приходилось начинать снова. Казалось, печь была поставлена в наказание, и они возненавидели ее от всего сердца. Один раз они взбунтовались и не топили печь, но им пришлось сдаться после обеда, когда вода в котелке покрылась тонким слоем льда.

Матвеев по утрам осторожно высовывал лохматую голову из-под одеяла и начинал вставать. Вставал он по частям: сначала отрывал от пола голову, затем руки, спину и все остальное. Если ничто не мешало, то через полчаса он был уже на ногах.

Страдальчески морщась, они растапливали печь и пили густой кирпичный чай. Это несколько поднимало настроение. Отругав железную дорогу, Безайс, еще сонный, прицеливался на рояль и пробирался к нему, раскачиваясь от толчков вагона. Исцарапанный рояль на всех своих опозоренных клавишах издавал одинаковый хриплый, простуженный бас. Под руками Безайса он рычал и взвизгивал с таким естественным отчаянием, что Матвееву становилось не по себе.

— Да брось ты, дурак! Ведь все равно ни одной ноты не знаешь! — кричал он Безайсу.— Что он тебе сделал, этот рояль? Оставь его в покое. Вот я приду сейчас и разделаюсь с тобой!

— Хотел бы я посмотреть, как ты разделаешься,— отвечал Безайс, не оборачиваясь, зная, что никакие силы не заставят Матвеева встать.— Если тебе не нравится, то выйди покурить на площадку. А я не оставлю рояля до тех пор, пока он не подожмет хвост.

Это повторялось ежедневно, до тех пор, пока рояль действительно не сдался. Безайс подобрал какой-то бесформенный, истерический мотив, который поражал своим необычайным уродством. «Марш покойников»,— так они назвали его. В нем не было ни начала, ни конца, истерзанные ноты рвались и падали, как

удар по голове. Достигнув этой цели, Безайс оставил рояль и совершеиио не знал, чем ему заняться.

Матвеев, когда ему надоедало лежать, вытаскивал записиую киижку, получеииую в подарок от политотдела дивизии, и приимался записывать дорожные впечатлеиия. Это было нелегким делом, потому что иикаких впечатлеиий не было. Ои раскачивался, обхватив колеии руками, сосал караидаш и щурил глаза. Наконец ои шумио вздыхал и записывал:

«За окиом вагоиа развертывается прекрасная панорама дикой и своеобразиой природы. Могучая флора и фауна...»

Природиая добросовестиость брала в ием верх, ои зачеркивал «фауиу» и продолжал:

«...иевольио возбуждает жажду деятельиости и борьбы. Все идет прекрасно...»

Услышав позади шаги подкрадывавшегося Безайса, поспешио добавлял:

«... если не считать балбеса Безайса, который подглядывает и сопит у меия иад левым ухом, в увереииости, что я его ие замечаю...»

— Гоп! — кричал ему иа ухо Безайс.

Матвеев вскакивал, хватал его за шею, стараясь подмять под себя. Оба сваливались иа пол и через иесколько минут клубком катались по всему вагону. Из их карманов дождем летели карандаши, патроны и деиьги. Устав, оии вставали и рассаживались на своих постелях.

— Если бы мие удалось хорошеиько схватить тебя за шею,— говорил Безайс, тяжело дыша,— то я бы тебе показал! Ты бы тогда узиал, как ставить людям подножки и хватать за рукав, который и так еле держится! Надо было бы мне сразу взять тебя крепче за шею, и тогда ты ие мог бы пальцем пошевелить...

— Что же ты не хватал? — спрашивал Матвеев.— Тебе хотелось бы, чтобы я сам просуиул ее тебе под мышку? Да?

— В следующий раз схвачу, и тогда увидим, чья возьмет,— отвечал Безайс, ползая по полу в поисках вылетевших из карманов вещей.

А поезд несся вперед со скоростью, прииятой в двадцать первом году, подрагивая на стыках рельсов, замедляя ход иа скрипящих под тяжестью деревяииых мостах. Убегали назад сверкающие льдом утесы, кедровая тайга, голубые пики гор. За последиим вагоиом вилась легкая дымка сухого, колючего сиега.

ВСЕ ЛЮДИ МЕЧТАЮТ

Мир для Безайса был прост. Ои верил, что мировая революция будет если ие завтра, то уж послезавтра наверное. Он не мучился, не задавал себе вопросов и ие писал диевииков. И когда в клубе ему рассказывали, что сегодня иочью за рекой расстре-

ляли купца Смирнова, он говорил: «Ну что ж, так и надо»,— потому что не находил для купцов другого применения.

Все, что делалось вокруг него, он находил обычным. Очереди за хлебом, сыпной тиф, ночные патрули на улицах не поражали и не пугали его. Это было обычно, как день и ночь. Время до революции было для него мифом, Ветхим заветом, и к Николаю он относился, как к царю Навуходоносору,— мало ли чего не было! Это его не трогало. От прошлого в памяти остались лишь городовой, стоявший напротив Волжско-Камского банка, и буква ять, терзавшая Безайса в городском училище.

И от бога,— от домашнего, бородатого бога, с которым было прожито четырнадцать лет,— он отказался легко, без всяких душевных потрясений. Не было ничего особенного, выходящего из ряда обыденности,— просто он решил, что бога не существует.

— Его нет,— сказал он, как сказал бы о вышедшем из комнаты человеке.

Ему приходилось видеть страшные вещи, а он был всего только мальчик. Ночью в город пришли казаки и до рассвета убили триста человек. Утром он вышел с ведрами за водой и увидел на телеграфном столбе расслабленные фигуры повешенных — верный признак, что в городе сменились власти. Когда белые ушли, мертвецов свозили на пожарный двор и складывали на землю рядами. Вместе с другими Безайс ходил на субботник укладывать их по двое в большие ящики и заколачивать крышки гвоздями. Сначала ему было не по себе среди покойников, но потом он оправился.

— Ничего особенного,— решил он.

Красные убивали белых, белые — красных, и все это было необычайно просто Люди уходили ловить рыбу, а с реки их приносили мертвыми и под музыку хоронили на площади. В городе были красные, в монастырском лесу — зеленые, а за рекой, в оврагах, жили совершенно неизвестные отряды, и никто не понимал, что они там делают. Они взрывали поезда, воровали белье с веревок, дрались со всеми и бойко спекулировали солью. Власти приходили и уходили, оставляя на заборах приказы и воззвания, переименовывали улицы, строили арки. Жизнь обнажалась до самых корней и стала удивительно ясной. Остались только самые необходимые, основные слова.

Безайс взялся как-то читать «Преступление и наказание» Достоевского. Дочитав до конца, он удивился.

— Боже мой,— сказал он,— сколько разговоров всего только из-за одной старухи!

Когда Безайс нашел свое место, несколько дней он ходил как пьяный. Его томило желание отдать за революцию жизнь, и он искал случая сунуть ее куда-нибудь,— так велик и невыносим был сжигавший его огонь. От этих дней он вынес пристрастие к флагам, демонстрациям и торжественным похоронам. Их бурная пышность давала выход его настроениям.

Ему было пятнадцать лет, когда ои пронзиес иа мнтннге в иародном доме первую речь, о которой потом всегда вспоминал со стыдом и ужасом. Дрожащий, готовый умереть, ои вылез на трибуну — н разом забыл все слова, которые когда-лнбо знал. В зале выждалн несколько мниут его позорного молчаиня, потом на балкоие кто-то безжалостио засмеялся. Отчаяиным усилнем Безайс глотиул воздух н, зверскн хмурясь, сказал что-то, ио что нменно — он потом ннкак не мог вспомннть.

Незаметио для себя и для другнх ои вырос до того уровня, когда его сталн замечать. Уже знали его в городе и оборачнвалнсь вслед, когда на собраннях ои шел через залу; уже на заседанин парткома еднногласно назначилн его уполномоченным «по конфнскацин нмущества лнц, бежавшнх с белогвардейскимн бандамн», н он ходнл по городу, нося в кармане штамп н печать. Каждый день приноснл иовую работу. Ои воднл арестоваиных нз лагеря в чрезвычайную военную тройку, пилнл дрова в монастырском лесу, с команднровкой иаробраза езднл по уезду собнрать помещичьи бнблнотекн и иа подводах возил в город сугробы нстлевших кииг с золотым тнсиеинем иа выцветшем бархате, с гербамн, с экслнбрнсами — кннгн масонов н вольтерьянцев. Ои был все еще мальчнком, н каждый новый год своей жнзни принимал как долгожданный, давно обещанный подарок,— но в то время миогое делалн этн мальчикн с веснушкамн на похудевшем по-взрослому лнце.

А потом иаступил фронт — польскнй,— отличное время, когда падалн под ногн города н местечкн и земля ложилась одной большой дорогой к Варшаве. И даже после, когда ж-жахнули нх нз-под Варшавы косым пулеметным огием и сломался фронт, Безайс, несмотря на горечь поражения, все же иосил в себе это празднnчное чувство.

С Матвеевым ои встретился в Москве, с иим получал комаидировкн, с ннм сел в битком иабнтый вагон, и в Чнте измучеиный поезд вывалнл их вместе иа замерзшую чужую землю. Оии устроились в заброшеииой комнате, переполиеииой пылью и паукамн, ходили по городу, спали иа столах, разговаривали о тысяче вещей н бросалн ботииками в крыс.

О, это была веселая республика — ДВР! Оиа была молода и не накопнла еще того запаса хроиологии, нмеи, памятников и мертвецов, которые создают государству камениое величие древиостн. Старожнлы еще помиилн ее полководцев и миннстров пускающнми в лужах бумажиые кораблн, помиили, как зданне парламента, в котором теперь издавались законы, было когда-то гостнннцей, н в ием бегалн лакеи с салфеткой через руку. Республика была сделаиа только вчера, и сние-красиый цвет ее флагов сверкал, как краска на иовенькой игрушке.

— Оиа ие орнгинальна,— заявил Безайс, осмотрев республику с головы до ног.

Ои почувствовал себя ниостраицем и гордился своей родииой.

Столица республики — Чита — утоиула в песках; на улицах в декабре, в сорокаградусиый мороз, лежала пыль,— это производило впечатлеиие какого-то беспорядка. Над городом висел густой морозный тумаи, иа горизоите голубели далекие сопки. В парламеите бушевалн фракции, что-то виосили, согласовывали, председатель умолял о порядке. В дипломатической ложе сидел китаец в галстуке бабочкой, с застывшей улыбкой иа желтом лице и вежливо слушал. Над председателем висел герб, почти советский, ио вместо серпа и молота были кайло и якорь. Флаг был красиый, ио с сииим квадратом в углу. Армия иосила пятикоиечиые звезды — но наполовину сииие, иаполовииу красиые. И вся республика была такой же, половииной. Граждаие относились к иеи добродушио, с иезлобивой иасмешкой, но всерьез ее как-то не приинмали. И когда иачалась войиа, иаселеиие митинговало, решая вопрос: идти ли иа фроит защищать республику или остаться дома и бороться с белыми каждому за себя, за свой двор, за свою деревню, за свой город.

В этом году стояли морозы сильиые. В тайге замерзали птицы, иа реках лед гулко ломался сииими острыми трещииами. Пальцы липли к стволу виитовкн. Воздух был сухой, крепкий и обжигал горло, как спирт. Даже камням было холодио. Ранеиых было меиьше, чем обмороженных; в саиитариых поездах врачи резали чериые, сожжеииые морозом коиечиости.

Поезда шли иа восток, через Забайкалье и Амур, к желтым берегам Тихого океаиа. Там была другая республика, кипел фроит, стучали пулеметы, и солдаты стыли в обледеиевших окопах. Поезда везли иародную армию в косматых папахах и полушубках — здоровых парней с чубами иаотмашь. На трехверстной штабной карте красиый караидаш чертил полукружие фроита: белые огибалн Хабаровск с трех сторои. Республика попала в плохой переплет — уже занято было все Приморье, уже готовили что-то японцы и ходили иехорошие слухи об армии. В штабах метались сутками ие спавшне люди. Телефоииая трубка кричала о раиеиых, о заиятых селах и стаициях, требовала людей, винтовок, хрипела н ругалась — в бога, в веру, в душу.

Белые шли отчаяино н слепо. Бывает, что люди доходят до последиего — последиие патроны, последиие дии,— когда ие о чем ии жалеть, ии думать, и безиосая идет сзади, иаступая иа каблуки. Люди не боялись уже ничего — ии бога, ии пуль, ии мертвецов. Армия иосила муидиры всех цветов, запылеииые пылью миогих дорог. Здесь были английские френчи и серо-зелеиые шииели, с королевским львом иа пуговицах, и французские шлемы, и чешские кепи, и русские папахи. Эти люди были отмечеиы, и погоны иа плечах тяготели, как проклятие. С Колчаком оии отступали от Уфы до Иркутска, через всю Сибирь, сквозь мороз и тиф, прошли с Семеиовым голубые сопки Забайкалья и потешились с Уигерном в раскосой Моиголии. Дальше ндти было некуда —это был их последиий поход. Игра кончалась.

Через неделю после приезда в Читу Матвеева и Безайса вызвал в комитет ответственный человек — латыш с непроизносимой фамилией — и около часа говорил с ними, вытаскивая из синих папок сокровенные, особо важные бумаги. На большой карте он отмечал карандашом станции, непроходимые болота, тайные базы, полки, стоявшие под ружьем, и карта наполнялась трепетной, смутной жизнью.

Бои шли недалеко от Хабаровска, фронт лежал неровным крылом, захватывая несколько станций и деревень. Хабаровск держался еще, и решено было сохранить его во что бы то ни стало.

По ту сторону фронта, в чужом тылу, ходили безымянные партизанские отряды. В тайге, на базе, был штаб, был областной партийный комитет, в городах работали подпольные организации. Вести оттуда приходили редко и скупо, люди работали, отделенные двойной линией огня, и самый путь туда был тайной. Надо было ехать до Хабаровска, а там указывали дорогу, давали проводников и переправляли через фронт.

Они ушли от него немного бледные, пораженные громадным размахом работы. Безайс о самом себе начал думать как-то поновому. Его немножко обижало, что латыш обращался больше к Матвееву, но это мелочное чувство бледнело перед той глубокой, волнующей радостью, которую он носил в себе. Это было крупнее «конфискации имущества буржуазии, бежавшей с белогвардейскими бандами», и даже польского фронта.

Попасть туда, в чужой тыл, было трудно, но об этом он както не думал. По ночам, лежа на столе, он глядел в темноту и с грустной решимостью представлял себе, как его расстреливают. Он дал бы скорее содрать с себя кожу, чем выдать какие-то самому ему еще не известные тайны, и просил только единственного снисхождения: самому скомандовать «пли!». Он видел их винтовки, саблю офицера, слышал оглушительный залп, испытывал чувство падения, но в свою смерть не верил — не хватало воображения. Он думал о работе, о городах, о партизанских отрядах, и ко всему этому примешивалась как-то мысль о женщине необычайной, сверкающей красоты, которую он ждал уже давно. От обилия этих мыслей он терялся и засыпал, восторженный и разбитый.

Целую неделю они слонялись по Чите, ожидая последнего дня. В республике ходили звонкие деньги с курносым царем, японские иены, китайские таяны, и все было до смешного дешево. Один раз им выдали по пяти рублей, и они вышли из дому с твердым намерением поесть как следует. Их воображение ласкали колбасы, сыры, какао и другие вещи.

— Я хочу омаров,— с внезапным порывом заявил Безайс, в представлении которого омары отчего-то были необычайным деликатесом.

На первом же углу встретили китайца, продававшего земляные орехи. Они купили два фунта орехов и набросились на них

с зверским блеском в глазах, пока не съели их до последнего, и потом несколько дней не могли о них даже думать.

Была полночь, когда они затянули последний ремень на багаже. До отхода поезда оставались томительные два часа, которые надо было чем-то заполнить. Матвеев с мелочной старательностью развернул и снова сложил документы. Потом он вытащил толстую пачку денег — несколько тысяч японскими иенами, которую надо было с рук на руки передать в Приморье партийному комитету. Эти деньги он хранил, как только мог: первый раз в жизни он держал такую сумму, и она поражала его. Один раз ему показалось, что он их потерял. Десять минут Матвеев бесновался в немом исступлении, пока не нащупал пачку за подкладкой.

Безайс раскачивался на руках между двух столов и молчал. Крысы осторожно грызли шкаф. Впереди было много всего — хорошего и плохого. Мысленно Безайс окинул взглядом тысячеверстную, спящую под снегом тайгу.

От этих необъятных пространств, от их морозного безмолвия по его спине прошел холодок. Скосив глаза, он взглянул на Матвеева.

— Он сказал, что это не мое дело,— говорил Матвеев, продолжая бесконечный, тянувшийся до самого Иркутска рассказ о том, как он тонул. Двадцать раз Матвеев начинал рассказывать, но его что-нибудь прерывало, и теперь он решил разделаться с этим начисто.— И я все-таки проглотил ее, и тут же из меня хлынула вода — ужас сколько. Я так и не знаю, что это было. Вроде нашатырного спирта. Потом меня вели через город, и все мальчишки бежали сзади. Дома отец вздул меня так, что я пожалел, что не утонул сразу...

Безайс забрался на стол и начал раскачивать лбом абажур висячей лампы. Его разбирало нетерпение. Трудно разговаривать о таких вещах, как храбрость, опасность, смерть. Слова выходят какие-то зазубренные, неискренние и не облегчают до краев переполненного сердца.

— Это никогда не кончится, Матвеев? — спросил он.— Сколько раз ты тонул? Говори сразу, не скрывай.

— Два раза, последний раз под Батумом, в море. Тебе надоело?

— Нет, что ты,— это страшно интересно. Но я совсем о другом. Что ты думаешь о дороге?

— Я? Ничего. А что?

— Да так.

— А ты что думаешь?

— Я? Тоже ничего.

Они внимательно поглядели друг на друга.

— А все-таки?

Безайс закинул руки за голову.

— Слушай, старик,— сказал он мечтательно и немного за-

стеичиво,— это бывает, может быть, раз в жизии. Все ломается пополам. Ну вот, я сидел н тнхоиько работал. Сначала ходнл отбирать у бежавшей с белымн баидами буржуазии диваиы, семейные альбомы и велосипеды, потом поехал отбирать у подлой шляхты город Варшаву. Но этим занимались все. А теперь... Я все еще не совсем освоился с иовым положеиием. Страиио. Точио дело происходит в каком-то романе, н мне страшио хочется загляиуть в оглавленне. У тебя ннчего не шевелится тут, виутри?

— Всякая работа хороша,— рассудительио сказал Матвеев.

— Врешь.

— Чего мие врать?

— Ты притворяешься толстокожим. А на самом деле тебя тоже проинмает.

— Я зиаю, чего тебе хочется. Тебе ие хватает боевого клича или какой-ннбудь воениой пляскн.

— Может быть, н ие хватает...

Матвеев встал н начал зашиуровывать ботиики.

— Я безиадежно нормальиый человек,— самодовольио повторил ои чью-то фразу.— Больше всего я забочусь о шерстяиых носках. А ты мечтатель.

Безайс зиал эту наивную матвеевскую слабость: считать себя опытиым, рассудительным и благоразумным. Каждый выдумывает для себя что-нибудь.

— Мнлый мой, все людн мечтают. Когда человек перестает мечтать, это значнт, что он болен н что ему иадо лечнться. Маркс, иаверное, был умией тебя, а я уверен, что ои мечтал, имеиио мечтал о социалнзме н хорошей потасовке. Время от времени ои, иаверное, отодвигал «Капнтал» в сторону и говорнл Эигельсу: «А зиаешь, старнна, это будет шикарио!»

Но Матвеев был упрям.

— Давай одеваться,— сказал ои.— Куда ты засунул баику с какао?

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

В это утро Матвеев просиулся в прекрасном настроенин. За окном светило солице, зажигая на сиегу блестящие искры. Молочно-белые пики гор мягко выделялись иа сннем, точно эмалнроваином иебе. Не хотелось вернть, что за окном вагона стоит сорокаградусиый мороз, что выплеснутая нз кружки вода падает на землю звеиящими льднинками.

Матвеев открыл один глаз, потом другой, но снова закрыл нх. Вставать ие хотелось.

Ои помиил, что Безайс буднл его за какнм-то нелепым делом. Смутио ои слышал, как Безайс спрашивал его, сколько будет, если помиожить двести сорок на тридцать два. Миnут иа десять Безайс успокоился, но потом опять разбудил его и стал убеждать, что

он лентяй, лодырь и что сегодня его очередь топить печь, потому что позавчера Безайс вымыл стаканы без очереди. С печкой у них был сложный счет, и они постоянно сбивались. Потом Матвеев опять заснул н ничего уже не помнил.

Спать он любил, как любил есть, как любил работать. Он был здоров и умел находить во всем этом много удовольствия. В строю он всегда был правофланговым, а когда надо было перетащить шкаф нли выставить из клуба хулигана, то всегда звалн его. Он смотрел на мир со спокойной улыбкой человека, поднимающего три пуда одной рукой.

У него было широкое, с крупнымн чертами лицо — одно из тех, которые ничем не обращают на себя внимания. С некоторого временн начала пробиваться борода — отовсюду росли отдельные длинные волосы, н каждый волос завивался, как штопор. Тогда он завел ножницы и срезал бороду начисто.

Он снова открыл глаза и увидел Безайса, сидевшего на ящике спиной к нему. Безайс читал что-то. Матвеев потянулся, рассеянно скользнул глазами по плакатам, по стенам вагона, залитым солнечным блеском. Печка гудела, и веселый огонь рвался из полуоткрытой дверцы. В этот момент Матвеев снова взглянул на Безайса и вдруг опешил. Он отчетливо видел, что Безайс с увлечением читал его записную книжку — в клеенчатом переплете, с застежкамн, с надписью в углу: «Товарищу Матвееву от Н-ского полнтотдела».

Сначала он был так поражен, что остался лежать неподвижно. Потом одним движеннем он вскочил с пола, кннулся к Безайсу и вышиб ногой ящик нз-под него. Безайс упал на пол, Матвеев нагнулся и вырвал у него книжку из рук. Мельком он взглянул в нее и понял, что все пропало. Надо было проснуться раньше.

Тяжело дыша, Безайс поднялся на ноги.

— Это я считаю подлостью — бросаться на человека сзади,— сказал он, трогая затылок.

— Скотина!

— Сам скотина! Ты что, с ума сошел?

— Поговори еще!

— Сам — поговори!

У Матвеева не хватало слов — черт знает почему. Он едва удерживался от желания снова ударить Безайса. Они молча постояли, глядя друг на друга. Безайс выпятнл грудь.

— Могу ли я узнать, товарищ Матвеев,— сказал он с преувеличенной и подчеркнутой вежливостью,— о прнчинах вашего поведения? Не сочтите мое любопытство назойлнвым, но вы расшнбли мне затылок.

Матвеев промолчал, придумывая ответ. Ничего не выходило.

— Дура собачья,— сказал он с ударением.

Он спрятал книжку в карман, отошел к другому ящику и сел. Безайс враждебно глядел на него.

— Чтоб этого больше не повторялось.

— Чего?

— Этого самого. Чтобы ты не совал нос в мои дела. Коммунисты так не делают. Нечестно читать чужие письма или записные книжки. Заведи себе сам дневник н читай сколько угодно.

— Очень оно мне нужно, твое барахло. Я читал ее через силу, эту ужасную чепуху о цветочках. Кстати, почему ты пишешь «между протчем»? Думаешь, что так красивее?

— Хочу — и пишу.

— Ну-ну. А о коммунистах ты, пожалуйста, оставь. «Нечестно»! Эта мораль засижена мухами. У коммуниста нет таких дел, о которых он ие мог бы сказать своему товарищу. Он — общественный работник, и у него все на виду. А когда влюбится обыватель, он распускается и пишет дневиикн... да-а... и бросается на людей... н вообще становится ослом.

Матвеев хмуро посмотрел на него.

— Вот я сейчас встану,— сказал он, плотоядно облизываясь.— Ты бы закрыл рот, знаешь.

— А она хорошенькая?

— Отстань.

Тут он обиделся совсем. Спорить было невозможно, потому что Безайс имел необычайный дар видеть смешное во всем и мог переспорнть кого угодно. А Матвеев ие умел сразу найти острый и обидный ответ. Потирая руки, он начал его выдумывать.

Поезд несся мимо туманных гор, дрожа от нетерпення. На стыках рельсов встряхивало, и толчок отдавался в рояле долгим гудением. Безайс хотел было заняться чем-нибудь, но случайно потрогал шишку на голове, н это растравило в нем сердце.

— Ах, скот! — прошептал он.

Ои откашлялся и сел против Матвеева.

— У тебя, однако, тяжелый характер,— начал он, ликуя при мысли, как он его сейчас отделает.— Мне, мужчнне, приходится тяжело, а что же будет с ией, с этим прекрасным, нежным цветком, который наивно тянется к любви и свету? С цветами, брат, обращение особое. Надо уметь. Дай тебе, такому, цветок — много ли от него останется!

Матвеев мужественно молчал и разглядывал валявшийся на полу окурок.

— Ты сейчас влюблен,— продолжал Безайс,— и я поиимаю твои чувства. Влюбленный обязан быть немного взволнованным, ио ты, по-моему, чересчур серьезно взялся за дело. Бросать человека головой на пол,— вот еще новая мода! Если б ты целовал ее локон, смотрел на луну или немного плакал по иочам,— я бы слова тебе не сказал. Пожалуйста! Но расшибать людям головы — это уже никуда не годится. Это что —каждый день так будет? Я чувствую, что такой образ жизни подорвет мое здоровье, и я зачахну, прежде чем мы доедем до Хабаровска. А когда придет моя мать и протянет к тебе морщинистые руки и

спросит дрожащим голосом, что стало с опорой ее старости,— что ты ответишь ей, чудовище?

— Ладно, я отдам ей все, что от тебя останется.

Он взял чайник, налил его водой и поставил на печь. Что бы там ни было, но завтракать надо всегда. Он нарезал хлеб, достал ветчину, яйца и разложил все на ящике. Потом он взялся мыть стаканы,— Безайс следил за ним,— он вымыл два стакана. Кончив с этим, он сел и принялся есть. Безайс подумал немного и тоже подсел к ящику.

Завтрак прошел в молчании. Они делали вид, что не замечают друг друга. На Безайса все это начало действовать угнетающе.

После завтрака он отошел к окну и рассеянно стал смотреть на бегущий мимо пейзаж. Камень выпирал отовсюду — красный, как мясо, коричневый, с прожилками, жженого цвета, иссеченный глубокими трещинами. Бок горы был глубоко обрублен, и слои породы лежали, как обнаженные мускулы. В лощинах росли громадные деревья, мох свисал седыми клочьями с веток, по красноватой коре серебрилась изморозь. С гор сбегали вниз по склонам крутые каскады льда, и солнечный свет дробился в них нестерпимым блеском. Здесь все было громадно, необычайно и подавляло воображение.

Безайсу было не по себе. Он не чувствовал себя виноватым,— гораздо хуже бросаться на человека сзади, когда он этого не ожидает. Ему впервые пришлось столкнуться с такими тонкостями, как записная книжка, но он заранее осудил их. Она подвернулась ему под руку, и он открыл совершенно спокойно, как свою. Но когда он был сыт, он не умел сердиться и после завтрака всегда чувствовал приступ добродушия.

Он отвернулся от окна и пошел долбить на рояле бесконечный мотив. Потом он положил на пол спичечную коробку, вынул свой нож и начал бросать его, стараясь пригвоздить коробку к полу. Раньше нож отлично помогал ему убивать время, но теперь это было похоже скорее на тяжелую работу, чем на развлечение.

Поезд внезапно стал. Пришел озябший народоармеец и позвал их грузить дрова на паровоз. Они молча оделись и вышли. От паровоза до поленницы дров стояла цепь, и от человека к человеку быстро передавали обледеневшие поленья. Безайс и Матвеев заняли места в цепи, провалившись в снег выше колен, и принялись за работу. Ветер резал кожу, как нож. Через час дрова были нагружены, и все бегом бросились к поезду.

Они прибежали в вагон, измученные и замерзшие. Подбросив дров, они присели к огню и вытянули руки. Около дверцы было мало места, и они сидели почти вплотную.

— Я устал как собака,— нерешительно сказал Безайс.

— Я тоже,— поспешно ответил Матвеев.— От такой погоды можно сдохнуть.

И через полчаса спросил его:

— Я не очень двинул тебя тогда, утром?

— Не очень,— ответил Безайс.

Потом онн молчалн до самого вечера, когда Матвеев, сндя около раскаленной печкн, рассказал ему все — с самого начала. Это было длнннo — он рассказывал, не упуская малейшнх подробностей, объясняя каждое свое двнженне. Он боялся, что Безайс не поймет самого важного и будет считать его ослом. Все было необычайно важно: и хруст шагов, н морозное молчание ночн, и слабое пожатие ее тонкнх пальцев.

В клубе, в Чнте, когда совершенно нечего было делать, ему сунули билет на студенческий вечер. Зевая, он одевался, нзгнбаясь, чтобы разглядеть, что у него делается сзадн, и убеждал Безайса ндтн вместо него, чтобы не пропадал бнлет. Безайс ндти не хотел.

В большой зале, увешанной сосновыми гирляндамн н флажками, бестолково толкался народ. Распоряднтели с большнмн краснымн бантамн панически бегалн по зале. Потушнлн свет, потом зажгли снова, нз-за занавеса высунулось загрнмированное лнцо н попроснло передать иа сцену стул. Стул поплыл над головами. Снова потух свет, и началась пьеса.

К рампе расхлябанной походкой вышел высокнй, щедро загримнрованный студент н в длнннoм монологе объясннл, что его заедает среда. Тут Матвееву захотелось курить, н он вспомннл, что забыл папиросы внизу, в кармане пальто. Он спустнлся за нимн, пошел в курилку, а когда вернулся в залу, его место было занято. Тогда он пошел в чнтальню, сел в угол и стал читать газеты. Тут, в читальне, он встретился с ней, н потом всякий раз, думая о первой встрече, он вспомннал ее строгнй профнль иа фоне плакатов н надписн — «Просьба не шуметь».

Его способ ухажнвать за женщинами был однообразен н прост. Он пробовал его раньше, и если ничего не удавалось, то он свалнвал все на обстоятельства. Ему казалось, что женщнна ие может полюбнть простого, обыкновенного мужчнну. Он счнтал, что мужчина, для того чтобы нравнться, должен быть хоть немного загадочным.

Сам он загадочным не был — он был слншком здоров для этого. Но, ухажнвая за девушкамн, он старался казаться еслн не загадочным, то по меньшей мере странным. «Нет,— говорнл он,— цветы мне не нравятся,— у ннх глупый внд. Музыка? И музыка мне тоже не нравнтся».

Но она сразу смешала ему нгру.

— Ты медведь,— сказала она, когда онн, взявшнсь под руку, вышлн в корндор.— Вот ты опять наступаешь мне на ногу.

Это оиа первая назвала его на «ты».

— Я не привык ходить с женщинамн,— ответнл он.

— Отчего?

— Да так как-то выходило.

— Может быть, онн с тобой не ходилн?

— Нет, мне самому они ие нравилнсь.

Она мельком взглянула иа него.

— Это очень одиообразио,— все так говорят. А Семенов говорнт даже, что на женщнн он не может смотреть без скуки.

— Кто такой Семенов?

— Однн человек, такой белобрысый. Ты его ие знаешь. Ои очень пошлый парень, и у него мокрые губы.

Матвеев задержал шагн.

— Откуда ты знаешь, какие у него губы?

Она тряхнула стрнженымн волосамн.

— Не все ли тебе равно? Он лез целоваться.

— Ну, а ты?

— Я его ударнла.

Матвеев говорнл, что самое красивое в ней былн глаза: темные, с длиннымн ресницамн.

— Онн ударнлн мне в голову,— объяснял он.

Из полуоткрытой дверн на ее лицо сбоку падал свет. У нее былн черные волосы, остриженные так коротко, что шея оставалась совершенно открытой.

Она нравнлась ему вся — и ее смуглая кожа, н небольшой, яркий рот, н стройная фигура.

Онн прошлн несколько шагов.

— По щеке? — спроснл он машинально.

— Нет, по лбу, он успел отвернуться. Но ты, однако, любопытный.

— Вот чего про меня иельзя сказать! Заметь: я даже ие спроснл тебя, что ты делаешь здесь, в Чнте.

— Я учусь в ннстнтуте и работаю в женотделе, в мастерскнх Чита-вторая. Но сама я нз Хабаровска и скоро еду туда. Там у меня мать.

— Вот как,— сказал ои, что-то обдумывая.— Когда ты едешь?

— Послезавтра.

— Ты ннкак не можешь поехать позже? Через неделю?

— Нет, не могу.

Онн ходнлн по коридору под пыльным светом электрической лампочкн и разговарнвали. Она держала его под руку, курнла н смеялась громко, на весь корндор. На ннх оглядывалнсь, улыбаясь, н Матвеев чувствовал себя немного глупо.

— Наплевать,— сказала оиа,— пускай смотрят.

— Я ругалась в райкоме по-страшному,— говорила она немного позже,— чтобы меня не иазначали на эту работу. Не люблю я возиться с жеищннамн — ужасно. Вечиые разговоры о мужьях, о детях, о болезнях,— надоело. Особеино о детях. Как только их соберется трое илн четверо, онн говорят о родах, о беремеииости, о кормленин. И оторвать их от этого прямо невозможно. Это нагоняет иа меня тоску. Я не люблю детей. А ты?

Он как-то ннкогда не думал об этом, любнт он их или

нет. Но он довольно охотно щекотал их под подбородком или подбрасывал вверх, если они не плакали.

— Они приходят сами,— сказал он уклончиво,— как дождь или снег. И с этим ничего нельзя поделать.

Она засмеялась.

— Можно.

— Но мне приходилось слышать, что женщины находят в этом удовольствие. У меня есть даже подозрение, что я любил бы своего ребенка — толстую, розовую каналью в коротких штанишках. Впрочем, до сих пор я свободно обходился без него.

— Да, тебе он, может быть, и понравился бы, потому что тебе не придется носить его девять месяцев и кормить грудью.

— У меня нет груди,— ответил Матвеев легкомысленно.

— Действительно, большое горе. Но тут дело не только в кормлении. Ребенок — это семья. А семья связывает.

— У тебя пальцы горячие,— сказал он,— очень горячие. Отчего это?

В зале аплодировали и двигали стульями. На сцену вышел актер в широкой блузе с бантом и престрогим тоном прочел стихи о том, что смех часто скрывает слезы и бичует несправедливость. Потом он запел комические куплеты на местные темы:

В Испании живут испанцы,
А у нас — наоборот...

Домой Матвеев вернулся в каком-то расслабленном состоянии, полный смутной радости и новых слов. Безайс не спал; он сидел в углу с палкою около крысиной норы и зашипел на Матвеева, когда тот вошел. Большая крыса лежала на стуле, вытянув усатую добродушную морду и свесив голый хвост. По комнате тяжело плавал табачный дым.

— Ты их распугал,— сказал Безайс, вставая.— Топает тут. Эту я убил, а другая удрала. У нее чертовски крепкое телосложение, я так хватил ее по голове, что она завертелась. А потом встала и ушла домой, к папе и маме. Интересно, как они проходят через каменный пол? Ну, как у тебя?

— Ничего,— ответил Матвеев, застенчиво хихикая.— Ничего особенного.

И после некоторой паузы спросил:

— Ты любишь детей, Безайс?

— Ты хочешь меня купить? — спросил Безайс подозрительно.— Новый анекдот какой-нибудь?

— Вовсе нет. Мне просто пришло в голову, что дети — это неизбежное зло.

Безайс был в каком-то некстати приподнятом настроении. Матвеев лег на свой стол и не говорил больше ничего. В памяти отчетливо запечатлелось ее лицо с поднятыми на него глазами и смеющимся ртом — так она смотрела на него, когда они прощались у дверей общежития.

На другой день вечером он пошел к ней. В ее комнате, где она жила с двумя подругами, было холодно и неуютно. На полу валялся сор, пахло табачным дымом, со стены строго смотрел старый Маркс. Подоконник был завален бумагой и немытой посудой. Девушки, все три, были одеты одинаково, в темные юбки и блузы с карманами, и это сообщало всей комнате нежилой, казарменный вид. Одна из них, курчавая, в пенсне на коротком круглом носу, лежала на кровати с молодым парнем, и они вместе читали одну книгу. В комнате был дым, топилась низкая безобразная печка, протянувшая в форточку ржавую трубу.

На улице слабо переливался звездный свет. Они шли рядом, тесно переплетя пальцы. Неизвестно зачем Матвеев заговорил вдруг о своем детстве, о том, как выдрали его в первый раз и, рычащего, бросили в угол на кучу стружек; о том, как отец после получки пьяный приходил домой, останавливался посреди комнаты и говорил с достоинством:

— Одна минута перерыва! Топ-пай, топ-пай, шевели ногой!

И с веселым презрением плевал на пол.

Потом он стал рассказывать, как споили его пьяные мастеровые, бросили вечером посреди улицы, и собаки лизали ему лицо и руки. Он внезапно замолчал на полуслове. «Зачем я это все рассказывал? — подумал он.— Точно хочу ее разжалобить».

Несколько шагов они прошли молча.

— Они живы у тебя? — спросила она.

— Живы.

— А у меня жива только мать. Отец умер. Ну, я ей не давала такой воли,— попробовала бы она меня побить.

— А что бы ты с ней сделала?

— Я? Не знаю. Да она сама не посмела бы. Мать меня побаивается. О, я с ней не развожу нежностей. Лучше разговаривать с ними прямо. Я ей так и сказала: «Мама, ты меня связываешь по рукам и ногам». Это когда она начала говорить, что я прихожу домой в час ночи. «Я от тебя уйду, потому что ты не понимаешь моих запросов. У меня есть работа, есть новая среда, и я буду приходить домой, когда хочу». Она, конечно, начала плакать. «Я, говорит, твоя мать, я тебя родила». Несколько дней шел этот скандал. «Мама,— сказала я ей,— я ведь не просила меня рожать. Это вы с папой выдумали, а я тут ни при чем». А в этот день совсем не пришла домой, ночевала в клубе. На другое утро она была как шелковая.

— Ну, и как же теперь?

— Никак. Я ее не замечаю.

Матвееву что-то не нравился этот разговор. Родители были его слабым местом. Всякий раз когда он приходил домой, в низкие комнаты с тополями и вишнями под окнами, ему становилось как-то совестно и тоскливо. Отец поседел и ходил

шаркающей походкой, у матери опухали ноги. Когда жизнь прожита и старость глядит выцветшими глазами,— что еще делать людям, как не гордиться сыном? Вокруг него в семье установился культ обожания, и Матвеев чувствовал всю его тяжесть. На каждом митинге, где он выступал, он видел отца в мешковатом праздничном пиджаке и мать в шали с цветами — они сидели смешные, торжественные, распираемые гордостью за своего необыкновенного, умного сына. Их жизнь брела в сумерках, в нетопленных комнатах, и карточки на керосин, на хлеб, на монпансье стояли неутомимыми призраками. Отец все еще работал в мастерских на своей собачьей работе, которая выжимает человека, как мокрое белье. Мысль о сыне помогала им жить. Матвеев знал, что мать собирает черновики его тезисов и по вечерам за морковным чаем долго читает отцу о системе клубного воспитания или работе с допризывниками. Он ничего не мог им дать, его время и мысли целиком отнимала работа, и перед стариками Матвеев всегда чувствовал себя неловко и совестно.

И он перевел разговор на другую тему:

— У вас, в Хабаровске, тоже такой мороз, как здесь?

— Нет, у нас теплей. Но у нас ветер и туманы. Осенью бывает плохо: туман такой густой, что ничего не видно. Здесь я мерзну ужасно, у меня сейчас пальцы, как лед.

— Я их согрею,— сказал Матвеев решительно.

Он взял ее руки, прижал к губам и стал согревать их дыханием. Она не отнимала их у него. Тогда он быстро нагнулся и поцеловал ее в холодные губы.

Она слабо вскрикнула.

— Можешь меня ударить,— сказал он, тяжело дыша.— Я не буду отвертываться...

— Не знаю, как это получилось,— говорил он Безайсу,— точно меня кто-то толкнул.

Она молчала, ожидая, что он опять поцелует ее. Но у него не хватало духа. Он переступил с ноги на ногу.

— Ты думаешь, что это очень хорошо? — спросила она.

— Это не плохо,— ответил он, робко ежась,— совсем не плохо. Мне еще хочется.

Она не испугалась и не рассердилась, в ее глазах дрожали любопытство и смех.

— Ты будешь говорить, что ты меня любишь?

— Да,— ответил он.— Я тебя очень люблю — больше всего. Ты мне важнее всего на свете...

Но он всегда был немного педантом.

— Кроме партии,— добавил он добросовестно.

Она засмеялась.

— Я не верю этому. Так никогда не бывает. Нельзя влюбляться с первого взгляда, а если можно, то этого надо избегать. Самое важное в жизни — это сначала работа, потом

еда, потом отдых и, иакоиец, любовь. Без первых трех вещей жить нельзя, а без твоих поцелуев я могла бы обойтись.

— А я ие мог бы.

— Но ведь до прошлого вечера ты даже ие видел меия. Как же ты обходился?

— Ну, что ж из этого? Если б я увидел тебя позавчера, я тогда и влюбился бы.

— Правда?

— Честиое слово.

Дверь открылась. Вышла группа девушек, смеясь и переговариваясь. Оии спустились с крыльца и пошли, оглядываясь иа Матвеева.

— Слушай,— сказал ои, иагнувшись вперед,— я скажу все сразу. Давай покоичим с этим. Через неделю я еду в Хабаровск, а оттуда иа юг, в Приморье. Едем вместе.

Она смотрела иа иего, и звездиый свет отражался в ее глазах.

— Милая, поедем. Я не буду тебя обмаиывать,— коиечио, я уеду и без тебя. Но я буду очеиь счастлив, если ты согласишься. Может быть, это не самое важное, ио для меия это очеиь важио.

Ои схватил ее за плечи и встряхнул так, что голова ее откинулась иазад. Оиа молчала. Тогда ои прижал ее к себе и иесколько раз, ие разбирая, поцеловал в лицо и в пушистую беличью шапку.

— Но ты совсем ие зиаешь меия,— прошептала оиа.

Ои добрался до ее шеи, и теплая кожа мягко поддавалась его губам.

— Чепуха,— сказал ои взволиованно.— Мы еще увидим хорошее время. Это почему пуговица тут?

— Ты зиаешь — я ие девушка,— сказала она еще тише.

— Мие это все равио,— ответил ои.

Но, рассказывая Безайсу, ои пропустил все это. Ои ие придавал большого зиачеиия таким вещам, ио думал, что лучше ие болтать о иих.

Потом оии ходили всю иочь по морозным, звонким улицам и целовались. Ои ощущал, как бьется ее сердце у иего под рукой, и чувствовал себя способиым иа отчаянные вещи. Ои был так полои счастья, что сиачала отвечал ей невпопад. А она говорила о их будущей жизни, о любви, о работе. Ои кивал головой и соглашался со всем.

Ждать Матвеева она не могла. У иее был уже взят билет, и знакомый комиссар обещал довезти ее до самого Хабаровска.

— Это иеобходимо,— сказала оиа, когда Матвеев иачал просить ее ехать вместе, и ои замолчал, почувствовав, что лучше ие спорить. Было решеио, что Матвеев встретит ее в Хабаровске, и оттуда оии поедут дальше, в Приморье.

— Институт подождет,— сказала она смеясь.

Потом они заговорили о Москве, о том, как хорошо будет приехать туда, когда кончатся фронты, чтобы вместе учиться, ходить в театры и готовить обед на примусе.

— Если б можно было,— сказала она,— я бы хотела жить на разных квартирах. Так мы никогда не надоели бы друг другу. Я приходила бы к тебе, ты ко мне. Правда?

— По-моему, это было бы отлично,— ответил он, искренне стараясь поверить в это.

Было плохо только одно, но тут был виноват он сам. У него никак не выходили нежные слова,— он не умел их выговаривать. Он называл ее дорогой и милой, но это были суконные, пресные слова, которыми можно назвать даже кошку. Несколько раз он порывался сказать какое-нибудь глупое слово — ну, пусть даже «сердечко» или «солнышко», но ничего не выходило. Он боялся, что это будет смешно.

Было темно, и потухали фонари, когда они снова остановились у ее дверей.

— Ну, прощай,— сказала она, отворяя дверь.— Очень поздно, скоро рассвет. Ты не забудешь адреса в Хабаровске? Приходи завтра вечером еще,— я буду ждать.

— До свидания, дорогая. Но ты забыла сказать мне об одной мелочи.

— О чем?

— Ты не помнишь?

— Нет, я даже не знаю.

— Что ты меня любишь. Ты так и не сказала мне этого.

Она прижалась к нему.

— Очень люблю. Ты доволен?

— Да. Ну, покойной ночи, моя...

Он запнулся.

— Моя дорогая,— сказал он, сердясь на себя.

БЕЗАЙС И РОМАНТИКА

Амурская дорога построена сравнительно недавно. Раньше, когда дороги не было, от Читы до Хабаровска зимой ездили на лошадях, летом по Амуру ходили старые, с высокой трубой и кормовым колесом пароходы, вспугивая в прибрежных камышах бесчисленные стаи уток. В тайге бурно цвел терпкий лесной виноград, дикие пчелы гудели над дуплистыми деревьями и по прелой хвое мягко ходили громадные седые лоси. Осенью по Амуру густой стеной шла кета метать икру, и река кишела громадными рыбами. По берегу старатели воровски промывали золото, в реках ловили жемчуг. Здесь были свободные, немеряные места, и земля лежала нетронутой на тысячи верст.

Дорога пошла напролом, через болото и сопки. Работали по-

луголые китайцы, бритые каторжники. Топоры врубались в густую чащу деревьев, и тучи комаров звенели над кострами. На девствеииую землю клали шпалы, в стволы деревьев ввинчивали фарфоровые стаканчики телеграфа. Потом приехал губернатор и перерезал ножницами протяиутые через полотно трехцветиые ленты. Дорога была открыта.

А потом ее рвали белые, рвали красиые.

Из сырых таежиых недр выходили солдаты в полушубках неизвестных полков, резали провода, развиичивали рельсы, вбивали костыли и сиова исчезали в тайге. Гнили и выкрашивались шпалы. На забытых полустанках из пола росла рыжая трава, и ветер трепал на стенах расписания поездов. В тупиках ржавели паровозы с продавлеиными боками.

— Я знаю миогих,— говорил Безайс,— которые будут завидовать нам от всего сердца. Сейчас у нас что-то вроде каникул. Там, в России, фронты кончились, и люди взялись за другие дела. Я видел своими глазами, как на вокзалах ставили плевательницы и брали штраф, если ты бросаешь окурок на пол. Это веселое, бестолковое время, когда утром работали, а вечером шли к мосту иа перестрелку с бандитами, там кончилось. А мы взяли и опять уехали в девятиадцатый год. Опять — фронт, белые и все это.

Они лежали иа полу на шинелях, опершись на локти, и спорили с самого утра обо всем, что попадалось на глаза. Это был удобный комнатный спор, тем более удобный, что не иадо было даже вставать с места. Поезд стоял с утра на каком-то полустанке. Три часа они убили на разговор о том, зачем на телеграфных столбах нарисованы цифры и что они значат. Им было это решительио все равно, но они спорили с азартом.

За окном блестело холодное солнце. На печке закипал чай. Безайс говорил теперь о прошедших военных годах. Это время ему иравилось, и он не променял бы его ии иа какое другое. Разумеется, иельзя воевать вечно, но от этого иичего не меияется. Такое время, говорил он, бывает раз в столетие, и люди будут жалеть, что не родились раньше. Тысячи людей готовили революцию, работали для нее как бешеные, иадеялись — и умерли, иичего ие дождавшись. Все это досталось им — Безайсу, Матвееву и другим, которые родились вовремя. Всю черную работу сделали до них, а они снимают сливки с целого столетия. Их время — самое блестящее, самое благородное время. Взять городишко Безайса — скверный, грязный, с бесконечными заборами, с церквами и Дворянской улицей. А ведь он кипел,— и каждая из его самых скверных улиц отмечеиа смертями и победами. На этой Дворянской, где раньше грызли семечки и продавали ириски, один пареиь из наробраза выпустил в белых шесть пуль, а седьмой убил себя. Безайс его зиал,— он косил глазами и рассказывал глупейшие армянские аиекдоты. Живи он в другое время, из него вышел бы уездный хлыщ, а впоследствии

степенный отец семейства. А в наше время он умер героем. Был н другой — заведующнй музыкальным технкумом. Это был толстенный, добродушный человек в шнрокнх штанах. Он обучал в своем техиикуме несколько девочек бренчать на рояле «Чнжика» н называл это новым нскусством.

А когда брали город у белых, он отбнл пулемет н взял в плен троих. Никогда в жизни он не делал ничего подобного и после сам не мог понять, как это вышло.

И он много знал таких примеров, когда самые обыкновенные, скучные люди вдруг совершали геронческне поступкн. Это время облагораживает людей и дает новый цвет вещам. Теперь в самом захолустном, засиженном мухами городишке есть свон герои, мученнкн н победы. Раньше дома, деревья, улнцы существовали сами по себе, а теперь онн взяты с бою, н каждый улнчный столб является добычей.

И еслн бы Безайс мог выбирать, когда жнть — сейчас нлн прн коммунизме, он, ие задумываясь, выбрал бы нынешнее время.

— Коммуннзм,— сказал он,— будет продолжаться, может быть, сотнн лет, а эти годы уже кончаются, н мы с тобой сейчас гоннмся за ннмн, чтобы взглянуть иа ннх в последннй раз. Это — последнее свнданье,— оии уходят — н восемнадцатый, н девятнадцатый, н двадцатый. Их дело кончено, онн стоят в передней, надевают калоши и говорят: «Ну, ребята, всего хорошего».

Матвеев прнготовился было возражать, но в это время вскипел чай. Они селн завтракать, потом снова повалилнсь на шниели и пролежалн иесколько часов. Поезд все еще ие трогался.

— Надо бы пойти посмотреть, в чем дело,— сказал наконец Матвеев.— С самого утра стоит, проклятый.

— Вот ты и пойди.

— Я ие нанимался ходить. А тебе трудно встать?

— Может быть, и иетрудио. Но мне иепрнятно смотреть на твое безделье. Вместо того чтобы безиравственно валяться н прожнгать жизнь, ты бы за водой сходил. Чья сегодня очередь?

— За водой я схожу, ие беспокойся. А вот иадо пойтн на станцию и узнать, почему мы стоим. Пойдн, Безайс, не валяй дурака.

— Вот еще! Сам пойди.

Они препнралнсь еще иесколько мннут, ио так и ие пошлн.

— Я не намерен убнвать себя работой, пока ты будешь валяться,— заявнл Безайс.

Тогда Матвеев отвериулся н засиул. Безайс подождал немиого, сел за рояль, сыграл марш покойннков, потом разбудил Матвеева, чтобы он пошел иа станцню, ио Матвеев опять заснул. От него невозможно было добиться ии одиого разумного слова. Безайс лег около печки и, разглядывая символнческую девнцу иа

плакате, начал обдумывать, сколько метров сделала минутная стрелка его часов со времени отъезда из Москвы.

— Предположим,— напряженно шептал он,— что часы в окружности пять сантиметров. Так. Значит, в день стрелка проходит сто двадцать сантиметров. Хорошо. Значит, в месяц она проходит...

Он долго трудился, умножая, но путался в нулях и принимался умножать сначала. Выходило, что стрелка прошла тридцать шесть метров. Он снова начал будить Матвеева — толкал его, перекатывал с боку на бок и хлопал ладонями над ухом.

— Знаешь, с момента отъезда из Москвы минутная стрелка моих часов прошла тридцать шесть метров,— торопливо сказал он, когда Матвеев приоткрыл глаза.

— Я так и думал,— пробормотал Матвеев, снова засыпая.

Это становилось совсем скучным. Подождав немного, Безайс решил пойти на станцию. Он встал, оделся и вылез из вагона, но через минуту ворвался обратно и набросился на Матвеева.

— Вставай! — кричал он изо всех сил.— Вставай сейчас же, слышишь? Мы с тобой поезд проспали! Да очнись ты! Он ушел.

— Кто ушел?

— Поезд.

— Куда?

— Ну, я почем знаю? Наверное, в Хабаровск.

Матвеев опять лег.

— Знаем мы эти шутки,— сказал он с глубокой уверенностью.— Это для дураков.

— Да честное слово, я тебе говорю! Поворачивайся скорей. Наш вагон стоит совершенно один, а поезда нет.

Матвеев сел.

— Безайс, ты врешь,— сказал он с беспокойством.

— Ну, пойди и посмотри.

Матвеев оделся, вышел и увидел, что Безайс говорит правду. Поезда не было,— их вагон стоял на путях один, и негры скалили зубы, точно потешаясь над ними. Напротив стояла крошечная станция с ржавой вывеской и зеленым колоколом, заметенная снегом почти до крыши; вокруг, насколько хватал глаз, были снег и горы.

Вдвоем они кинулись на станцию, ворвались в ободранную комнату и нашли там высохшего, морщинистого человека с большими круглыми ушами. Он возился на полу, починяя табуретку, и весь был увешан стружками. В углу, за невысокой загородкой, стояла серая коза и жевала сено.

— Кто отцепил вагон? — заревел Матвеев.— Вы кто такой? Где комендант?

Человек поднялся на четвереньки и взглянул на них сумасшедшими глазами.

— Кто отцепил вагон, я спрашиваю?

Они напугали дежурного своим криком, мандатами и буйными требованиями. На забытом, потерянном в снегах полустанке давно

уже никто не говорил громким голосом. Они свалились сюда, как внезапное бедствие, и перевернули вверх дном тихий зимний день.

— Сию минуту,— говорил дежурный, стараясь скрыть волнение неловкой и жалкой улыбкой.— Только одну минутку...

Он ушел, шаркая подошвами, и вскоре вытащил заспанного мужчину с большой бородой. Мужчина застегивал подтяжки и зевал, показывая страшные зубы.

— Ну, отцепили,— говорил он, закрывая ладонью рот.— Чего? Ну, я отцепил. Потому что рессора сломалась. Значит, нужно. Тележка вся на левую сторону села.

— Какая рессора?

— Какая,— обыкновенная.

— Так почему вы нас не разбудили?

— Вот и не разбудили.

Матвеев записал его фамилию, пригрозил ему судом, штрафом и принудительными работами, после чего тот ушел снова спать. От дежурного они узнали, как приблизительно было дело. С поспешной и неловкой вежливостью он объяснил, что поезд пришел на рассвете, что от лопнувшей рессоры вагон осел набок и дальше идти не мог. Двери были заперты,— это правда, Матвеев на ночь сам запирал двери,— вагон отцепили и отвели на запасную ветку. Он соглашался, что беспорядки есть, но что он не виноват; что же касается козы, поставленной в служебное помещение на время холодов, то ее он обещал убрать непременно. Всей фигурой и выражением несложного лица он старался подчеркнуть личную непричастность к событиям.

Они вернулись с дежурным к вагону и осмотрели рессору, придираясь к каждой мелочи. Потом дежурный ушел к себе, а они залезли в вагон, оглушенные всем этим. Было уже время обеда, но им не хотелось ни пить, ни есть. Через некоторое время Безайс опять побежал на станцию ругать дежурного. Он был особенно раздражен тем, что все объяснялось так обыкновенно и просто. Ему было бы легче, если бы произошел взрыв, ураган или крушение поезда. Но выбрасывать людей на безвестном полустанке ради сломанной рессоры казалось ему вопиющей несправедливостью.

День прошел плохо. На безоблачном небе полыхало солнце, освещая широкий снежный простор. Они пообедали молча, не глядя друг на друга; пошли на станцию узнавать, когда придет следующий поезд. Там ничего не знали.

— Поездов не предвидится, может быть, накатит какой-нибудь случайный,— сказал им дежурный.

На вокзалах Безайса всегда охватывала тоска. Его угнетала обстановка,— точно кто-то нарочно собирал сюда самую пыльную выцветшую бумагу, самые мутные лампы, самых скучных людей. Он прочел до конца висевшую на стене конституцию ДВР, погладил бесцельно бродившую кошку и, усевшись у стены, стал

разглядывать дежурного, слегка иажимая веки пальцами. От этого дежурный двоился и, качаясь, уплывал в глубь комнаты.

А вечером, когда оии сидели в своем вагоие около потухающей печки и вполголоса ругали и дежурного и рессору, неожидаино пришел поезд. Большой, черный, без фоиарей, он стремительно вылетел из-за поворота и, фыркая, остановился около стаиции. Безайс и Матвеев долго бегали около запломбированиых вагонов с боеприпасами, просились в теплушку, где помещалась сопровождавшая состав охрана, но их туда не пустили и послали в последиие вагоиы, в которых ехал какой-то партизанский отряд. Оттуда глухо доносились крики и визг гармошки, из труб густо валил черный дым.

Гремя котелками, они побежали к концу поезда и постучались. Дверь теплушки слегка приоткрылась, бросив полосу света в снежную темиоту.

— Вы кто?

— Командированные,— ответил Матвеев.

— Документы есть?

— Есть.

За дверью помолчали.

— А вы не жиды? — крикиул из глубины чей-то веселый бас.

— Нет.

— Ну, лезьте.

Оии разом бросились в дверь, боясь, как бы там не передумали. От теплого, спертого воздуха, от раскаленной печки, от говора и смеха людей повеяло почти домашиим уютом.

Коптящая лампа освещала путаницу людей, мешков и оружия. На белых сосновых нарах лежали и сидели, свесив босые ноги вниз, полуодетые от жары люди с бомбами и револьверами на поясах. Внизу, под нарами, перекатывались банки консервов, около стены была сложена высокая груда хлебных буханок. У печки на мешках сидели жеищииы и грызли кедровые орехи. Матвеев и Безайс устроились на каких-то ящиках у двери и огляделись.

На нарах азартно играли в карты, около свечки иа листе рос баик из медной и серебряной мелочи. В стороие обросший бородой партизаи неумелыми руками складывал бумажного голубя. Здесь были собраиы всякие люди: молодые, с начесанными на лоб чубами, и старые, обкуренные дымом бородачи. По теплушке шел крепкий спиртной дух, все были пьяиы и это объедиияло их, молодых и старых, как братьев.

Более других был пьян иевысокий худой человек с желтыми глазами, слонявшийся по вагону из конца в конец. Остальные звали его Майбой. Пепельные мокрые пряди волос падали ему иа лоб, расстегнутая от жары нижняя рубаха обнажала впалую, птичью грудь. Он был одет в олеиьи сапоги, мехом иа-

5 Заказ 85

ружу, н брюкн офнцерского сукна, сползавшне от тяжестн внсевшего иа поясе нагана.

Вся его невысокая фигура была охвачена жаждой деятельности. Он нскал себе занятне, и вагон был тесен для него. Его пальцы сжнмались в кулаки, н он шептал что-то невнятное. Шаря по карманам, он вытащнл кусок веревки и, подойдя к огню, стал развязывать узел.

— Нет, ты мне сначала докажи,— слышал Матвеев его шепот.— Рубль двадцать! Это дурак сумеет за рубль двадцать.

Потом он заглянул под нары и потрогал ногой лежавшне там мешки. Безделье томило его, как тяжесть. Он оглядывался, пошатываясь, когда вдруг внимание его привлекла валявшаяся на полу бумажка. Неверными шагамн Майба подошел и попробовал ее поднять. Покачнувшись, он едва не сел на печку и, в понсках равновесия, ударился головой о прнтолоку. Некоторое время он стоял молча, враждебно рассматрнвая прнтолоку, а затем сиова нагнулся за бумажкой.

Это была борьба со стнхней. Поезд тронулся, и толчки вагона еще больше раскачнвалн Майбу. Лежавшие на нарах повериулнсь к нему н с любопытством ждали, чем это кончится. Он ловил бумажку яростно, стиснув зубы, сосредоточенно целнлся рукой — и сиова промахивался. Раздраженне его росло, он сердито оглядывался покрасневшнмн глазамн. Казалось, что он сейчас схватит ее, но в последнюю миниуту го вдруг бросало в сторону, н это беснло Майбу. На него было тяжело смотреть. Однн партнзан слез с иар, поднял бумажку н протянул ее Майбе. Майба дико взгляиул иа него.

— Брось! — крикнул он изо всех сил.— Положн ее на место, паскуда! Ты что за холуй вынскался? У меня в отряде холуев иет! Ложи ее на место.

Он снова начал ловнть ее, опрокннул котелок с водой, боком свалнлся на женщин, как вдруг схватнл бумажку, стараясь вспомнить... зачем она ему понадобнлась. Наконец он подошел к печке, открыл дверцу н неловко сунул бумажку в огонь.

Он скромио отошел в сторону с вндом человека, выполнившего тяжелый, но иеизбежный долг. Это сознанне прнвело его в мирное настроение. Некоторое время он стоял тнхо, высматривая новое занятие. Когда Матвеев чувствовал на себе взгляд его желтых глаз, ему становнлось непрнятно,— было такое ощущенне, точио кто-то царапает ногтем по стеклу.

Но бездействие уже начало тяготить Майбу. Он снова пошарил в карманах, вытащнл горсть патронов и сунул нх обратно. Он подошел к партизану, сидевшему на нарах, взял бумажного голубя н винмательно его осмотрел.

— Гуль-гуль-гуль,— сказал он.

Матвеев смотрел на него с тоской, ожидая, что он еще выкинет.

К ним подсел большой с благообразным мужнцкнм лнцом пар-

тизан. Он дышал иа Матвеева теплым запахом хлеба и спирта, разглядывал Безайса и наконец спросил:

— Родственники?

— Нет,— сказал Матвеев.

— Дружки, значит?

— Ага-а.

Ои опять смотрел, чему-то улыбался и спрашивал:

— Откуда едете?

— Из Москвы.

— Так, из Москвы.

Лампа мерцала мутным огоньком, придавая всему иевыносимо скучный вид. Пламя закручивалось тонкой струйкой копоти. Висевшие на стенах винтовки и подсумки глухо звякали в такт колесам. Матвеев начал дремать. Он видел много вещей сразу: солнце, вишневые сады, футбольное поле, на котором его команда дала пить проезжим из Седельска ребятам. Сквозь колеблющуюся дымку сна ои видел опять изгажеиный пол, печку, беспокойиого пьяиого, шатавшегося по вагоиу. Теперь он стоял около женщин и вел с ними вежливый разговор.

— Ах, сидите, пожалуйста,— говорил ои, качаясь и хватая руками воздух.— Ради бога, я извиияюсь. Будьте любезны, может быть, печь немного дымит?

— Так, дружки, значит? — спрашивал, широко улыбаясь, дядя с бородой.

— Да,— отвечал Матвеев сонио,— дружки.

Великолепиый день — 4 июля 1920 года. Надолго запомиили его в городе,— день, когда загнали голубую седельскую комаиду и выиграли приз междугородиого состязания. Приз был сделан из глииы местным скульптором левого иаправления и назывался «Торжествующий труд» — страшная вещь, на которую нехорошо было смотреть. Там были перемешаны кубики, иоги, женские груди, колеса, грабли и еще что-то. Комиссар всевобуча, седой красивый старик, подиес команде на блюде этот глиняный бред, а сзади толпились губвоенкомат, губком партии, губком комсомола, гремела музыка, визжал женотдел; издали в толпе Матвеев видел отца и мать, сошедших с ума от радости. Потом комаида пошла по городу — тяжелые парни с крепкими затылками, похожие, как дети одиой матери. Здесь были собраиы лучшие в городе — самые широкие плечи, выпуклые груди, руки атлетов и бойцов. И Матвеев был среди иих.

— Так из Москвы, значит?

— Из Москвы.

— Если вы заскочили в мой вагон, то будьте покойны,— говорил Майба.— Это кто тут подсумок запихиул? Это ты, Юхим, подсумок запихнул? Убери сейчас же к собачьей матери этот подсумок, ои тут дамочке бок иасквозь протолкал...

Потом опять:

— Нехорошо, Юхим! Вы его, ради бога, не слушайте.

Он без этого никак не может. Он прнедет домой и при своей маме будет матюкаться, потому что от такой жизни человек делается как лошадь и совсем отучается от людских слов. Вы ему говорите: «Будьте, мол, так любезны, дорогой товарищ Юхим Суханов, я вас прошу». А он тебе такое загнет...

Через некоторое время Матвеев услышал снова:

— И дурак. Лаской-то ты больше добьешься, чем таким конским обхождением. Разве можно так вякать? Ты, брат, этим не бросайся, на чужой стороне и старушка — божий дар. Глядишь,— она тебя и пригреет...

Он игриво пошевелил ногой. Кто-то запел:

Д-ты не покупай мне, папа, шубу,
Зимой блохи заедят,
А купи ты мне калоши,
Пускай люди поглядят!

«Грех тщеславия»,— сонно подумал Матвеев.

Майба говорил:

— Да-а. Вон ту старушку, если ее железом обить, так еще на десять лет хватит. Да-а...

Он подошел к молодой женщине, закутанной в темный платок, и потрогал рукой ее плечо. Она отодвинулась. Матвеев мельком увидел блеск ее влажных глаз.

— Чего вы пугаетесь? Я не какой-нибудь зверь. Я не... это самое... какая она у вас, скажите пожалуйста!

Майба стоял к Матвееву спиной, и он видел только его острые лопатки. Майба говорил что-то вполголоса, но женщина молчала. Матвеев снова заснул.

Ему приснился его конь, большой добрый зверь. Он был немного тяжел, но хорош на ходу. Его волосатые ноги ступали крепко, на лобастой голове была белая отметина, похожая на сердце. Грива и хвост были, как ночь, черные, тяжелые, мускулы спутанными клубками ходили под кожей. Были в дивизии хорошие кони, лучше его; корили матвеевского коня за то, что слишком уж мускулист и тяжел. Но Матвеев этим не смущался. Зато его конь шел прямиком, со страшной силой, которую ничто не могло остановить. Они вместе прошли много верст и очень привыкли друг к другу.

А потом убили коня, утром, около реки, на желтом песке. Он умирал страшно, как человек, точно силясь сказать что-то. Навсегда остался в жизни Матвеева взгляд его темных глаз.

— Да, из Москвы,— сказал он сквозь сон.

Отчего-то волновался Безайс. Он тяжело дышал, возился, несколько раз толкнул Матвеева. Наконец донесся его возмущенный шепот:

— Вот я его застрелю, скота!

— Кого?

— Этого негодяя.

— Попробуй только,— ответил он, засыпая.

Тут он заснул крепко и уже ничего не слышал. Спал он долго, может быть несколько часов, раскачиваясь от толчков, когда вдруг почувствовал, что его бьют по голове, по спине, наступают на ноги. Бьют серьезно, с размаху. Это было полной неожиданностью, он не успел даже проснуться и сознавал только, что вокруг стоит дикий шум. Сильный удар по голове вышиб из него остаток сна, и тут он вдруг необычайно отчетливо понял, что его волокут к настежь распахнутой двери вагона, за которой летит сплошная полоса серого снега.

Это наполнило его паническим ужасом. С отчаянной силой Матвеев брыкнул ногами, вырываясь, и тотчас, поднятый десятком рук, вылетел из вагона наружу, перевернувшись в воздухе. Его подхватила тьма, режущий ветер, и все пропало в одном страшном толчке.

Рыча и размахивая руками, Матвеев вылез из снега, готовый на убийство. Последний вагон мелькнул перед ним, свистя колесами, поднятый ветром снег летел, как белый дым. Он побежал за ними и тотчас остановился, поняв, что невозможно их догнать,— уже далеко впереди раскачивался красный фонарь последнего вагона.

Тогда Матвеев стал и огляделся. Он не искал объяснений, потому что они были невозможны. Случилось что-то невероятное,— таких вещей не бывает,— можно сойти с ума, придумывая им объяснение, и все-таки ничего не выдумать. Несомненно было только одно,— что он стоит в поле, на морозе, наполовину мокрый от снега, и наверху, в черном небе, светят неясные звезды. Он сел на снег, потом снова встал и вдруг разразился длинным, неестественно вывернутым ругательством,— но оно не облегчило его.

Далеко впереди поезд стучал по рельсам, потом внезапно смолк — наступила внимательная тишина, как бывает на больших открытых пространствах. Матвеев засунул руки в карманы и выбросил оттуда пригоршни снега.

— Да что же это? — спросил он с обидой в голосе.

Он залез на сугроб, но тотчас провалился по пояс и выбрался обратно. Потом он услышал, что его зовут; оглянувшись, он в нескольких саженях увидел на снегу темную фигуру. Матвеев подошел — это был Безайс. Он сидел, глядя на Матвеева снизу вверх, и слабо улыбался.

— И тебя тоже? — спросил он.

— Что?

— Вышибли?

— Я найду их в Хабаровске,— сказал Матвеев, опускаясь на снег,— и сделаю с ними что-нибудь. Сволочи! Они перепились, что ли?

— Они приставали к ней,— сказал Безайс, закрывая глаза.— Чем это съездили меня по голове?

— Я этого так не оставлю! — сказал Матвеев, утешаясь бесполезными угрозами.— Но что же мы теперь будем делать?

Он вдруг заметил, что Безайс держит в правой руке револьвер.

— А это зачем? — спросил он с внезапной догадкой.— Ты?..

— Да,— ответил Безайс, бессмысленно улыбаясь.— Я не мог этого видеть.

— Ты стрелял?

— Нет, не успел. Они так двинули меня по голове, что чуть было не отшибли ее совсем.

— Из-за этой девчонки?

Безайс спрятал револьвер в карман и виновато опустил глаза.

— Не ругайся,— сказал он просительно.— Это надо было видеть. Кажется, они хотели ее изнасиловать.

— «Кажется»? А тебе какое дело?

Матвеев поднялся на четвереньки, дрожа от ярости.

— Идиот! — крикнул он с каким-то воплем.— Романтику разводишь? Защитник невинности? Вот я тебя убью сейчас!

Безайс почувствовал себя нехорошо. Его мутило.

— Я тебя... сам убью,— пробормотал он, тяжело справляясь с охватившей его слабостью.— Молодая девушка... очень хорошенькая. Ты хочешь, чтобы я спокойно смотрел, как ее будут насиловать? Эта каналья Майба потащил ее на нары.

— Да ведь тебе партийное дело поручено, дураку. Понимаешь? Ломай себе голову, если ты свободен. А сейчас тебя это не касается, все эти девицы и благородство.

Безайс хотел что-то ответить, но не успел. Последнее, что он видел, было испуганное лицо Матвеева и темное небо с неясными звездами... Потом исчезло все.

ЭТО ШЕСТИДЮЙМОВКА

После Безайс часто и подолгу объяснял, как это вышло, но его самого не удовлетворяли эти объяснения. Конечно, это было нелепостью, внезапным порывом, который заставляет человека делать самые странные вещи. Он вынул револьвер непроизвольно, ни о чем не думая. Но он был настолько молод, что еще не научился глядеть на людей как на материал, не умел заставлять себя не думать и не видеть, когда это нужно.

— Я сделал глупость,— говорил он много позже, вспоминая об этом,— но тем не менее должен сказать...

— Замолчи, замолчи,— говорил Матвеев.

Он объяснил Безайсу свою точку зрения. Один человек дешево стоит, и заботиться о каждом в отдельности нельзя. Иначе невозможно было бы воевать и вообще делать что-нибудь. Людей надо считать взводами, ротами и думать не об

отдельном человеке, а о массе. И это не только целесообразно, но и справедливо, потому что ты сам подставляешь свой лоб под удар,— если ты не думаешь о себе, то имеешь право не думать о других. Какое тебе дело, что одного застрелили, другого ограбили, а третью изнасиловали? Надо думать о своем классе, а люди найдутся всегда.

— Быть большевиком,— сказал Матвеев,— это значит прежде всего не быть бабой.

Но Безайс с ним не соглашался.

Открыв глаза, он увидел Матвеева, наклонившегося над ним и нащупывавшего сердце.

— Вынь руку, Матвеев,— сказал он, подымаясь и стыдясь своей слабости.— Пальцы холодные.

— Можешь ты встать?

— Попробую. А ты как?

Он повернул голову и почувствовал, что у него замерзли уши. Оглядевшись, он увидел над головой темное, усеянное звездами небо. Матвеев стоял на коленях и поддерживал его за плечи.

— Я совершенно замерз, Матвеев,— сказал Безайс, трогая уши и пытаясь встать.— Ты цел?

— Я-то ничего.

Безайс тер уши и медленно собирался с мыслями. Он осторожно потрогал голову. Слева кожа на темени была рассечена, и кровь медленно сочилась по щеке.

— Здорово они меня отделали,— сказал он виновато.

— Это все в твоем вкусе,— желчно ответил Матвеев.— Ну, скажи, пожалуйста, кто просил тебя лезть? Зачем это нужно?

— Да я тут ни при чем,— капризно возразил Безайс, прикладывая снег к рассеченной голове и морщась.— Во всем виновата эта дура. Не мог же я спокойно смотреть, как ее насилуют!

— Легче,— сказал Матвеев.— Она сидит позади тебя.

Безайс оглянулся и смутился. Девушка стояла позади него, как и Матвеев, на коленях, и молча грела руки дыханием.

— Если вы считаете меня дурой,— сказала она обиженно,— то сидели бы спокойно. Я сама выпрыгнула.

Положение было неловкое, и Безайс придумывал, что ему сказать, когда снова почувствовал себя нехорошо. Прошло несколько пустых мгновений, в которые он видел, не сознавая, лицо Матвеева, снег, небо. Минутами он слышал звуки голосов. Он чувствовал только, что замерзает совсем.

— Нет,— услышал он голос Матвеева.— Поезд делает в среднем двадцать верст в час. Нельзя же так.

— Я ничего не понимаю,— устало ответила она.— Мне все равно.

Потом он почувствовал, что Матвеев трясет его за плечи. Сделав усилие, он сел и попросил папиросу. При свете спички он увидел ее лицо, полное, с веснушками на розовых щеках. Хлопья снега белыми искрами запутались в ее светлых волосах. По

щеке до подбородка алела царапина. В вагоне ему отчего-то казалось, что у нее черные глаза и худое, нервное лицо. Он снова зажег спичку, но она отвернулась, и Безайс увидел только оцарапанную щеку и шею, на которой курчавились мелкие завитки волос.

От папиросы у него закружилась голова, и тело начало цепенеть в зябкой дремоте.

— Как она называлась, эта станция? — спросил Матвеев.— Вы не знаете, Варя?

— Не знаю. Может быть, нам лучше вернуться...

— Нет, пойдем вперед,— ответил он, бесцельно копая каблуком снег.— Ах, черт, какая глупая штука! Вот еще не было печали!..

— Это все из-за меня.

— Да бросьте вы,— оборвал он ее.— Ну, из-за вас. Что из этого?

«Скотина»,— подумал Безайс. И вслух сказал:

— Она тут ни при чем. Это я виноват.

— Вот-вот. Ты...— начал Матвеев, но замолчал и махнул рукой.— Как у тебя дела? — прибавил он спокойнее.— Можешь ты идти?

— Могу. Но только лучше развести костер и остаться здесь до утра.

— Нет, нет, никаких костров. Так скорей можно замерзнуть. Идемте, пожалуйста.

Ему казалось все это невыносимо глупым.

— Холодно,— сказала она, ежась.— Вы в ботинках? Как же вы пойдете?

— Как-нибудь,— ответил он сухо.

Он оглядел ее согнутую, осыпанную снегом фигуру, и ему стало жалко ее. «Чего это я в самом деле? — подумал он.— Она-то при чем тут?»

— Безайс, не спи, пожалуйста,— сказал он.

— Я не сплю,— ответил Безайс.— Я есть хочу.

— Потерпи немного.

Они встали. Безайс пошатнулся и снова сел на снег. Матвеев и Варя подняли его, положили его руки на плечи и повели. Безайс с трудом передвигал ноги, чувствуя непреодолимое желание заснуть. Кровь с шумом стучала в висках, перед глазами расплывались радужные круги. Его тянуло лечь, расправить немеющие руки и закрыть глаза. Но надо было идти, и он шел, обняв Варю за шею, может быть, несколько крепче, чем это было нужно, чувствуя на щеке ее теплое дыхание. Они шли по шпалам, ища впереди огней станции. Но вокруг был густой снежный мрак.

Сначала идти было невыносимо трудно. Хуже всего было ногам, появилось особое ощущение в коленях, будто кость трется в чашечке и скрипит. Это было страшно неприятно, и Безайс ста-

рался отогнать эту мысль. Чтобы нзбавнться от этого ощущення, он представнл себе, как длнннная вереница лошадей прыгает через канаву, н стал нх снчтать. Сначала он нникак не мог сосредоточнться н все время отвлекался. Досчнтав до пятндесятн, он заметнл вдруг, что девушка ндет с трудом н тяжело дышнт. Он снял руку с ее плеча.

— Теперь не надо,— сказал он.— Мне гораздо лучше.

И он пошел сзадн ннх, путаясь и увязая в снегу. Иногда ему казалось, что он сейчас упадет. Тогда он останавлнвался, глубоко вбирал воздух н шел дальше. Постепенно он перестал чувствовать иогн нnже колен н шел машннально, как в бреду, он не ощущал даже усталостн. Перед ннм мелькалн лошадн, онн подходнлн к канаве н прыгалн, однообразно взмахнвая хвостом н грнвой. Ои счнтал их шепотом, пока ие пересохло во рту.

— ...на таком расстояннн. Но ведь это не самое главное, правда, Безайс? — услышал он голос Матвеева.

— Правда,— устало ответнл Безайс.— Мне есть очень хочется.

Но тотчас же забыл об этом. Голос Матвеева доноснлся глухо, точио издалн. После от этой ночн у него осталось воспомииаиие, что он шел бескоиечно долго, одни, по громадному сиежиому полю, шел вперед, ннчего не думая и не зная.

Под утро стало теплей. Просиувшись, Безайс увидел лес, взбиравшнйся высоко на гору,— смутно он поминл, что ночью онн ходнлн туда собирать хворост н потом долго разводили костер смятой газетой. Небо затянуло облаками, н шел густой, крупный сиег. По другую стороиу рельсов круто возвышался голый утес. Сквозь падающнй сиег впередн видиелась глубокая лощина, на дне которой рыжнм пятном лежало болото.

Ои сндел на подстнлке нз хвойных веток н, опершись на локоть, с нетерпеинем наблюдал за чайннком. Матвеев лежал с другой стороны костра н заботлнво разглядывал царапниу на руке, зажнвшую уже около недели иазад. Варя сндела рядом, отскаблнвая ножом хлебные крошкн н сор с куска ветчнны.

Матвеев носнл мешок на спнне, н нз вагона его выбросили вместе с мешком. В мешке был сахар, фунт ветчнны, хлеб и чай. Это было совсем иемного, н Матвеев предлагал разделнть еду на трн дня. Безайс после ночной дорогн чувствовал волчнй аппетнт и с легкомыслием здорового человека настанвал на увелнченнн порцни.

— Очень это хорошо,— говорнл ои,— морнть человека голодом.

Но Матвеев уперся н не соглашался никак:

— Не валяй дурака, ты не маленькнй.

— Ну, хорошо, тогда я умру,— возразнл Безайс.

Эта мысль ему поиравнлась, н он говорил о своей смерти

с самого утра. Он показывал в лицах, как он холодеет на снегу и прощает их за все, а они ломают над ним руки и проклинают эту подлую мысль кормить его впроголодь. Потом он рассказал, как Матвеева мучит его черная совесть, а Варя рыдает и говорит, что никогда не сможет забыть этого молодого симпатичного блондина.

— Перестаньте,— сказала Варя.— Что это вы все время говорите о смерти? Я очень не люблю таких разговоров, мне становится немного страшно. Мне начинает казаться, что кто-нибудь и в самом деле умрет. Пойдите лучше за дровами. Они подходят к концу.

Идти за дровами мог бы, собственно, один из них, но они, точно по молчаливому уговору, поднялись и пошли вместе.

— Я отлежал ногу,— сказал Матвеев.

Они вошли в сумрак громадных деревьев, широко раскинувших в стороны тяжелые лапы. Вверху, сбивая снежную пыль, мелькнула рыжим комочком белка. В лесу было тихо. Безайс оглянулся на Варю и толкнул Матвеева.

— Какова? — спросил он.

— Да,— неопределенно ответил Матвеев.— Действительно.

— Ничего себе, а?

— Вот именно.

— Все на месте,— сказал Безайс, отламывая сухую ветку.— Заметил, какие у нее глаза? Глаза в женщине — это, брат, самое главное. Веснушки ее ничуть не портят, скорее наоборот. И тут, спереди, эта выставка.

— Ну, тут у нее немного.

— И очень хорошо, что немного. А тебе сколько нужно?

— Мне ничего не нужно. У меня свое есть.

Безайс снял шапку и отряхнул ее от снега.

— У тебя — да. Ты живешь как на полном пансионе. Мы только еще едем, а тебя там уже ждет, плачет и думает, что ты попал под поезд. Ты баловень судьбы. А я? Мне нигде ничего не отломится.

Он сделал снежок, бросил в Матвеева, но промахнулся.

— Скучает — может быть, но не плачет,— сказал Матвеев.— Она не из таких. Я видел, как она в общежитии вынула руками из мышеловки мышь и бросила ее коту. Сам я не боюсь мышей, это пустяки, но для женщины — это редкость. В ней нет ничего этого бабьего. О самых рискованных вещах она говорит спокойно и просто. «Я, говорит, знаю, почему мальчики любят девочек».

Он остановился и прищурил глаз, показывая, как она говорит.

— Да. «К чему, говорит, нам этот условный язык? Будем говорить прямо». О брат, ты сам увидишь!

— Ты готов,— сказал Безайс.— Она тебя пришила к себе.

У тебя будет такой ангелочек, он будет кричать «уа-уа» и звать тебя папой.

— Как «пришила»?

— Да так. Ты женишься на ней. И так далее, и тому подобное.

— Ты ничего не понимаешь, Безайс. Это потому, что ты ее не видел. Она сделана из другого. Ты представляешь себе, что такое товарищеские отношения между мужчиной и женщиной?

— Представляю. Это для некурящих. Когда мужчина делает гнусное предложение честной женщине и получает отказ, он говорит: «Между нами будут товарищеские отношения». О, я знаю эту механику!

— Эх ты! Много ты знаешь! Можешь быть уверен, я отказа не получил. Товарищеские отношения означают, что мы не будем друг друга стеснять. Мы сходимся и живем, пока это не мешает нам, нашей работе, нашим вкусам. А если мешает,— то очень просто: «Вам направо? Ага. А мне налево». Только и всего.

— Сколько же лет ты думаешь с ней прожить?

— Не знаю. Может быть — сто.

— Это кто же заговорил о таких отношениях?

— Заговорила она. Но я с ней согласился.

— Меня,— сказал Безайс,— удивляет эта штука. Мне кажется, я бы обиделся. Только вы успели объясниться, поцеловаться и все такое, как сразу заговорили о том, что будете друг друга связывать, стеснять, надоедать. И начали придумывать, как бы, в случае чего, разойтись потихоньку. Тебе это нравится?

— Это просто сознательное отношение к вещам. И я и она — мы знаем, что такое любовь и для чего она. Мы сходимся, как разумные люди, и обсуждаем наше будущее. А тебе хотелось бы этакую восторженную бабищу со слезами, с клятвами, с локонами на память и весь этот уездный роман?

Безайс помолчал.

— Черт его знает, чего мне хочется,— сказал он нерешительно.— Но, кажется, я был бы не прочь, чтобы она немного — самую малость — поплакала и назвала меня ангелом. Но вот на чем я настаиваю, так это на том, что когда я ей признался бы в любви, то чтобы она покраснела. Пусть она относится к любви сознательно и все знает. Но мне было бы обидно, если б я ей объяснялся в любви, а она ковыряла бы спичкой в зубах и болтала ногами. «Ладно, Безайс, милый, я тебя тоже люблю». Словом, пусть девушки будут передовые, умные, без предрассудков, но пусть они не теряют способности краснеть.

— Было темно,— сказал Матвеев, снова рассматривая царапину.— Может быть, она и покраснела. Но вообще-то — это дурацкое требование. Зачем это тебе?

Их звала Варя.

— Где вы про-па-ли? — услышали они.

— Сейчас! — крикнул Безайс.

Они отломили еще несколько веток, отряхиваясь от осыпав-

шегося с деревьев снега, н пошлн обратно. Внезапно оин разом остаиовнлнсь и взглянулн друг на друга. В неподвнжной тншние леса отчетлнво прокатнлся густой басовый гул, донесшнйся нздалека. После несколькнх мннут ожндання послышался слабый, но отчетлнвый звук. Безайс опустил дрова иа сиег и молча глядел в глаза Матвееву.

— Это может быть только одннм,— сказал Безайс.

— Да,— ответнл Матвеев.— Это шестндюймовка. Выстрел и разрыв.

— Не очень далеко отсюда, верст сорок, я думаю.

— Может быть, даже дальше. Сегодия тепло, а в тумаие звук слышен дальше. Ночью можно определить точиее — по временн между вспышкой выстрела н звуком. Может быть, даже верст пятьдесят отсюда...

— На этой станцнн говорнлн, что до Хабаровска осталось пятьдесят верст.

— Это ннчего еще не значнт. Может быть, учебная стрельба.

Новый гул выстрела прервал его слова. Онн остановнлнсь, напряженно прнслушнваясь. Звук был глухой, н разрыва онн не услышалн.

— Учебная стрельба в прнфронтовом городе? — сказал Безайс.— Этого ие может быть. Ты сам поннмаешь. Тут что-ннбудь другое.

— В конце концов уднвляться тут нечему. Ведь мы н раньше зналн, что фронт около Хабаровска. Новость какая! Будто ты ннкогда стрельбы не слышал.

— Да, но тут все дело в том, по какую стороиу фроит. Что-то очень уж хорошо слышно.

— Ну, может быть, мы блнже к Хабаровску, чем думаем.

Онн вышлн нз леса. Варя, наклоннвшнсь иад мешком, перетнрала кружкн, внося в это занятне столько женской кропотлнвостн н вннмання, точно не было нн тайгн, нн выстрелов.

— Это бывает, что ннога женщнны спокойнее мужчнн,— сказал Матвеев.— Но у ннх это пронсходнт просто от недостатка воображення. Онн не умеют думать о завтрашнем дне.

— Где вы былн? — спроснла она.— Я думала, вы заблуднлнсь. Чай, навериое, остыл уже.

— Велнка важность — чай! — ответнл Безайс, рассеяиио прнслушнваясь.

Завтрак прошел в молчаннн.

— Это немыслнмо,— сказал Матвеев, глядя на Варю, укладывавшую мешок.— Так нельзя. Нам надо спешнть нзо всех снл, а мы топчемся в этом проклятом лесу. Мы ие нмеем ннкакого права ввязываться в разные прнключення. С меня довольно этой еды. Сейчас мы уже былн бы в Хабаровске.

Они встални, забросалн костер снегом н пошлн. Выстрелов больше не было слышно. Матвеев хотел было взять Варю под руку, но раздумал. Он пошел впередн, стараясь попадать но-

гами на шпалы. Снег пошел еще гуще — он падал тяжелыми хлопьями величиной в пятак, и воздух был мутный, как молоко. Идти было тяжело, на каблуках быстро намерзли ледяные комки. Сначала Матвеев думал о снежных заносах, потом отчего-то о футуристах. В голове, в такт шагам, вертелись стихи:

Довольно жить законом,
Данным Адамом и Евой...

Иногда он сам писал стихи, и это было хуже всего. Он знал, что они выходят у него плохие, но он твердо верил в великого бога упрямых людей и не терял надежды научиться писать их лучше. Эту слабость он скрывал изо всех сил и стыдился ее. Однажды он рискнул под условием строжайшей тайны напечатать их в губернском «Коммунисте». На другой же день его встретили в райкоме пением стихов, переложенных на мотив «Ах, попалась, птичка, стой...».

Его нагнал Безайс.

— Не беги так,— сказал он.— Она не может поспеть за нами.

Матвеев оглянулся. Варя отстала. Она шла, согнувшись, засыпанная снегом. Почувствовав на себе его взгляд, она подняла голову и улыбнулась, но Матвеев отвернулся.

— Эх, черт,— сказал он.— Вот еще горе! Нечего сказать, убили бобра. Ну что мы с ней будем делать?

— Да чем она тебе мешает?

— Вот она устанет, сядет и скажет: «У меня ботинки жмут. Вы сходите за дровами и разведите костер, я озябла. А мне хочется хлеба с изюмом». Знаю я их.

— Ну, так слушай, я тебе скажу. Она мне нравится, эта девочка. Я хочу попробовать. Не всем везет, как тебе,— ты получил свою задаром, а мне придется добывать ее в поте лица. Я буду трудиться, как вол: говорить ей, что я одинок, что люди меня не понимают и что у нее глаза, как, скажем, у газели. А потом и закручусь в водовороте страстей.

Матвеев взглянул на него с любопытством.

— Ах, какой вы проказник,— сказал он.— Легкий разврат, а?

— О нет, несколько поцелуев. Так — чай без сахара. Я уже отвык после Москвы от этого.

— А у тебя в Москве было что-нибудь?

— Одна брюнетка,— ответил Безайс таким тоном, как будто это была правда.— Но ведь и эта ничего, как ты находишь?

Матвеев оглянулся.

— Румяная и белокурая. Я не люблю пшеничных булок. И потом она, наверное, мещаночка.

— Не всем же передовые и умные. А мне нравится эта тетка.

Некоторое время они шли молча.

— Но у тебя мало времени,— сказал Матвеев.— В Хабаровске мы будем, наверное, завтра. Ну, дня три пробудем в городе, а

потом поедем дальше. Ты ведь не думаешь брать ее с собой? Всего пять дней.

— Этого довольно. Потом неизвестно, найдем ли мы на этой станции поезд. А идти до Хабаровска пешком — хватит времени.

Матвеев задумался. В самом деле, поезда могло и не быть.

— Жизнь собачья,— сказал он.— Хоть бы социализм скорей наступал, что ли. Что мы в обкоме будем говорить? Рассказывай там, почему опоздал.

— Я что-то не очень уверен, что в городе наши. Эта стрельба не выходит у меня из головы.

— Какой он нервный.

— Неправда. Меня это беспокоит, но я не боюсь. Я охотно отдам жизнь за революцию и за партию.

Матвеев поморщился. Отчего-то он не любил употреблять в разговоре такие слова, как «мировая революция», «власть Советов», «победа пролетариата». Это были торжественные, праздничные слова, и они портились в разговоре.

— Для этого не надо большого уменья. Смерть очень несложная штука. Умирают все, это врожденная способность. А вот сесть на поезд и приехать вовремя — это надо уметь.

— Ну, я пойду к ней,— сказал Безайс.— Прежде всего работа, а удовольствия потом. Буду сейчас рассказывать, что я почувствовал, когда ее увидел.

— Держись крепче, старик!

Безайс отстал, и Матвеев пошел один. У себя на родине он никогда не видел, чтобы снег шел так густо. Рельсы занесло совсем, и нога глубоко погружалась в сугроб. Он покачал головой. Безайс, животное! Матвеев догадывался, что Безайс за всю жизнь не поцеловал еще ни одной женщины и только мечтает об этом, как мальчишка о настоящем ружье. Он хотел посмотреть, как Безайс ухаживает за ней, но было лень оборачиваться,— при малейшем движении головы снег сыпался за воротник и отвратительно таял на спине.

ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК

Под вечер, когда уже темнело, Матвеев за поворотом дороги увидел идущего им навстречу человека.

— Станция близко,— сказал Безайс.— Какой-нибудь дорожный мастер осматривает участок. Теперь я скорее дам себя убить, чем выбросить из вагона. Мне даже петь хочется.

Они подошли ближе. Это был пожилой человек с висящими усами, в пальто и беличьей шапке. Он шел, глубоко засунув руки в карманы.

— Здравствуйте,— сказал Матвеев, когда они поравнялись.— Далеко тут до станции?

— До какой? — спросил он, разглядывая их.— Станций много.

— До самой ближней.

— Верст, может быть, десять. А то и все пятнадцать.

Матвеев смотрел на него с недоумением.

— Сегодня-то вам не дойти по такому снегу. Ночевать придется.

— А вы как же? Со станции идете?

— Нет, я так...

Они помолчали. Встречный снял шапку и отряхнул ее от снега, обнажив лысеющую голову.

— Помогите мне, молодые люди,— сказал он внезапно.— Я вам, может быть, заплачу. Шутя заработаете по полтиннику на брата и человека выручите. Такой выдающийся случай — лошади у меня понесли, накажи их бог.

— Отчего же они понесли?

— Шут их знает, что с ними сделалось. Должно быть, зверя испугались. А может, и не зверя, так чего-нибудь. Лошадь — животное пугливое, ручное, ей чего-нибудь взбредет в голову, она и пошла скакать. Лес — она в лес бежит. Вода — она в воду полезет. От страху.

Матвеев смотрел на него с сомнением.

— Ну что ж — лошадей искать? Они, может быть, за десять верст убежали.

— Зачем их искать,— лошади тут. Да вы подите, посмотрите сами, это недалеко. Сначала как бросятся в сторону, да все по пням, по кочкам, а потом выехали на линию и ухнули в ров. Сани перевернули, товар вывалили. Я вам заплачу, пожалуйста, не беспокойтесь. Я такой человек, что если скажу,— это как отрезано.

Матвеев взглянул на Безайса.

— Ну как?

— Пойдем посмотрим.

Они прошли несколько сажень и увидели лошадей. Под откосом лежали на взрытом снегу широкие, обшитые рогожей сани. Боком, наступив на вожжи и провалившись в снег почти по брюхо, стояли две лошади. Одна повернула голову и равнодушно смотрела на людей немигающими глазами. На снегу в беспорядке валялись большие, перетянутые веревкой тюки, широкая овчинная шуба и пустая бутылка из-под молока.

— Ну, и что надо с этим делать? — угрюмо спросил Матвеев.

Дорога шла по той стороне насыпи, за лесом. Надо было выпрячь лошадей, перетащить сани через насыпь и перенести груз.

— Уж вы, пожалуйста, помогите,— просил он.

Матвеев сел на рельс и закурил. В левом ботинке вылез гвоздь, и Матвеев растер себе большой палец. Он мысленно поклялся, что больше не пойдет пешком — пятнадцать верст! —

и теперь смотрел на встречного, как на свою добычу. Глупо было выпускать его из рук.

— Может быть, мы и поможем,— сказал он осторожно.— Куда вы едете?

— В Хабаровск.

— Так. Довезите нас до следующей станции, и мы вытащим ваше барахло.

— Не могу. Всей бы душой, но не могу.

— Почему?

— Если б я по своей воле ездил, тогда конечно. А я на службе, мне нельзя такой крюк давать. Я скупщик, езжу от торгового дома Чурина по деревням за пушниной. Станции все остаются от дороги в стороне. А мне некогда.

Матвеев пошевелил пальцами в карманах. Мысленно он прикинул: насыпь вышиной в сажень, груза пудов десять. Это была игра наверняка.

— А когда будете в Хабаровске?

— Думаю, завтра к вечеру.

— Ладно, идет. Мы поедем с вами. Довезите нас до Хабаровска. Что ты скажешь, Безайс?

Безайса перебил скупщик:

— Лошаденки-то заморенные. А вас трое. Знаете, какое теперь время, к овсу подступиться нельзя. Я уж лучше заплачу, чтоб все было хорошо и без всякой обиды.

Матвеев встал и потушил папиросу о каблук.

— Нам некогда,— сказал он.— Подождите других. Может, кто-нибудь захочет заработать.

— Куда же вы?

— Дальше пойдем. В Хабаровск.

Они отошли на несколько шагов.

— Погодите! — гаркнул скупщик.— Странный у вас характер! За двадцать рублей, извольте, свезу.

Матвеев остановился.

— Пять рублей, больше не дам.

— Странно. Кто же повезет вас за пять-то рублей?

— Вы и повезете. Больше не дам ни копейки.

— За пятнадцать?

— Пять рублей. И говорить нечего.

— Странно. Золотом — пять рублей?

— Золотом.

— Ну, хорошо, поедемте.

Сначала отчего-то казалось, что будет легко вытащить наверх сани и груз, но когда Матвеев слез вниз и потрогал массивный тюк, он понял, что тут придется поработать. Лошади безнадежно запутались в упряжи, и приходилось раскапывать под ними снег, чтобы найти концы вожжей. Когда наконец выпрягли лошадей, началась мука с санями. Они были дьявольски тяжелы и проваливались в рыхлый снег почти целиком.

Скупщик и Безайс залезли наверх и тянули за привязанные к передку веревки. Матвеев толкал снизу, переругиваясь с Безайсом. Потом Матвеев залез на насыпь, а они спустились вниз и возились там, пока не выбились из сил.

— Надо утоптать снег,— сказал Матвеев, бросая веревку.

Они закричали, что это чепуха и что из этого ничего не выйдет. Так они препирались несколько минут, а потом все-таки взялись утаптывать снег. Матвеев оказался прав: вершок за вершком сани поднялись кверху и ухнули вниз по другую сторону насыпи.

Было уже совсем темно, когда вытащили рогожные тюки и уложили их в сани. Скупщик запряг лошадей, а потом пошел искать бутылку из-под молока и ходил по снегу, зажигая спички. Бутылка так и не нашлась.

Отряхнувшись от снега, они уселись в сани. Матвеев сел было рядом с Безайсом, но потом передумал и отодвинулся ближе к передку. Было тесно, и они старались разместиться так, чтобы занимать меньше места. Сани тронулись, но скупщик вдруг остановил лошадей.

— Память проклятая,— сказал он.— Придется вам опять вылезти. Совсем было забыл пилюлю принять.

— После примете,— возразил Матвеев.— Успеется. Что у вас такое?

— Нет, надо сейчас принять. Три раза в день, за два часа до пищи. У меня вялость кишечника.

Пилюли были в корзине, под сиденьем. Все вылезли и ждали, пока он доставал корзину и искал пилюли. Надо было вынуть несколько рубах, чашку, мыло, сахар и вареную курицу. Матвеев начал зябнуть и нетерпеливо переступать с ноги на ногу. Скупщик зажег свечу и шуршал бумагой в корзине.

— Ничего не понимаю,— говорил он.— Перед обедом положил сюда, а теперь их тут нет. Странно. Или, кажется, я их в желтый баульчик засунул? Память у меня, как худой карман. Когда еще мальчиком был, ничего наизусть затвердить не мог. Сколько я муки из-за буквы ять принял! «Звезды, гнезда, седла, цвел, надевал, прибрел». Обязательно что-нибудь пропущу. Учитель был такой сукин сын. «Где, кричит, у тебя «седла»? Повтори сначала. Жуканов Филипп!» Повторю, а он опять орет: «А куда ты девал «надевал»? Жуканов Филипп, пошел в угол!»

Безайс с тоской зевнул.

— Ищите вы, ради бога! Помереть хочется. Нашли время пилюли принимать!

Он нашел их в корзине, в рукаве рубахи. Когда он проглотил пилюлю и уложил корзину, все снова уселись в сани. Молодой месяц, похожий на нежный ноготок, поднялся над

деревьями. Лес стоял по обеим сторонам большими черными стенами.

Матвеев лежал, отдаваясь ощущению езды. Он отдыхал, чувствуя, как его кожу кусок за куском заливает слегка колющая теплота. На его ногах сидел Безайс и рассказывал Варе разные истории. Теперь, когда Безайс сообщил ему о своих планах, Матвеев смотрел на девушку с некоторым любопытством. «Недурна,— решил он про себя,— но это самое большее». Он не завидовал Безайсу. Почти в каждом мещанском семействе растут такие девушки, благоразумные, с румянцем и косами. Она говорила мало, больше отвечая на вопросы. Днем он слышал, как она рассказывала Безайсу, какие животные самые умные. Она думала, что самые умные — слоны, и даже читала в календаре, как слон ухаживал за ребенком. Это поражало ее несложную душу,— она несколько раз возвращалась к слону, хохотала, и Безайс угодливо смеялся вместе с ней. Потом они завели томительный разговор о том, кто что любит.

— Вы любите Лермонтова? — спрашивала она.— Царицу Тамару?

— Люблю,— отвечал Безайс и через минуту, без всякой связи с Лермонтовым, спрашивал ее, любит ли она хоровое пение, а потом они вдвоем приставали к Матвееву с Лермонтовым, и с хоровым пением, и с катаньем на лодке, и с котятами, и с брюнетами, и еще с какой-то ерундой. О самых общеизвестных вещах она говорила с смешной горячностью: «музыка облагораживает душу», «женщина должна быть подругой мужчины»,— говорила так, точно сама додумалась до этого.

Месяц поднялся высоко над черными деревьями. От лошадей шел теплый запах пота и сена, напоминавший стойло, скрип колодезных журавлей и соломенные крыши деревни. Матвеев перевел взгляд на Жуканова и стал его разглядывать со счастливым сознанием, что можно сидеть так и глядеть, не двигаясь, на лица, на звезды, на лошадей. Лень держала его за плечи теплыми руками, и он снисходительно разглядывал понурые усы Жуканова, его незаметные глаза и сухой нос. Он простил ему большую волосатую родинку над верхней губой и крошки сухарей, запутавшиеся в усах. Он не хотел думать о нем плохо, об этом человеке с родинкой и крошками, встретившемся на его большом пути. Пройдет еще день, и он потеряется где-то позади, этот скупщик пушнины, оставив в памяти легкий след.

Поздно вечером они приехали в деревню и остановились у знакомых Жуканова. Долго стучали в высокие ворота, потом в калитке приоткрылось небольшое оконце, чей-то густой голос спрашивал, кто такие, и невидимые в темноте люди гремели засовом. Во дворе бесновались на цепях громадные псы, кидаясь на лошадей. К высокой, в два яруса из-

бе, сложенной нз толстых бревен, примыкали низкие прнстройкн, вокруг всего двора шел крытый навес. Нижнні ярус избы служил амбаром, в жилое помещение вело крутое крыльцо с точеными балясинами. На стене висела прнбнтая гвоздямн волчья шкура, растянутая кожей наружу.

Лошадей распрягал высокий старик. Он мельком взглянул на Варю и пошел в избу, но снова вернулся.

— Только вот что,— сказал он, строго разделяя слова.— Чтобы никто не курил табаку. Это уж пожалуйста. Чтоб этого не было. У меня этого в заводе нет. И чтоб в шапках в избе не сидеть,— это уж пожалуйста.

— Мы некурящие,— сказал Безайс.

— Да, уж пожалуйста,— повторил старнк.

Он повернулся и ушел, твердо ступая обутыми в меховые сапоги ногами.

— Сердится,— тихо сказал скупщик.

— Чего же он сердится?

— Да что я вас к нему прнвез. Он, видите ли, раскольник, старообрядец. Тут их вся деревня старообрядческая. Я-то у него всякий раз останавливаюсь, пушнину покупаю. Так что ко мне он привык.

— Ну а мы что же?

— Старой веры человек. Вот и боится, что вы его избу испортите.

— Как это — испортим?

— Плюнете на пол нлн из его кружкн выпьете. Вы уж, будьте любезны, держите себя осторожно.

В просторных сенях стоял запах кожи и сушеных трав. Они отворили темную, из кедровых плах дверь и вошли.

Дом был старинный, дедовской работы. Стены из толстых, тронутых временем бревен были прорезаны прнземистыми окнами зеленого стекла. На стенах висело несколько густо смазанных охотничьих ружей, в простенке были прибиты большие оленьи рога. Один угол был сплошь завешан позеленевшими иконами, на которых едва можно было разглядеть строгие, носатые, с круглыми глазами лица угодников. Под иконами, на треугольном столе, лежали лестовки и оправленная в кожу книга с медными застежками.

Семья сидела за столом. Старик, встретивший их на дворе, положнл ложку и долго смотрел на Безайса, пока тот не догадался снять шапку. За столом, кроме старика, сидели двое высоких, хорошо сложенных парней н маленькая девочка. Молодая полная женщина доставала нз печки горшки н шумно ставила их на стол, сердито двнгая локтями.

Для них накрылн отдельный стол. Был какой-то пост, н им дали миску кислой капусты. Безайсу хотелось горячих щей, но об этом нечего было и думать.

— Еда для коров,— ворчал он вполголоса, ковыряя ложкой

в миске.— Трава. Мне уже хочется замычать и почесаться боком о стенку.

Было поздно, в окно глядел высокий месяц, и хозяева ушли спать. Раскладывая по полу солому, Матвеев увидел, как Варя беспомощно бьется над шнурками своего ботинка, намокшими и затянувшимися в тугой узел. Она трудилась, вкладывая в это всю душу, но у нее ничего не выходило.

— Давайте я развяжу,— сказал он под влиянием какого-то непонятного побуждения.

— Ах, что вы,— ответила она.

Он развязал узлы, чувствуя на себе завистливый взгляд Безайса. Она благодарила его с неловкой горячностью, и это вовлекло Матвеева в вежливый и скучный разговор, из которого он узнал, что в Благовещенске на прошлой неделе шел дождь.

— А зачем вы ездили в Благовещенск? — праздно спросил он, накрываясь шинелью.

Она молчала долго — минуты две, и, уже засыпая, он услышал ее ответ:

— У меня там подруга выходила замуж.

Это был ее небольшой, крошечный секрет, о котором они никогда потом не узнали,— может быть потому, что не спрашивали. Подруга, Катя Пескова, курносая девушка с быстрыми глазами, выходила замуж за ее, Вариного, бывшего жениха. Они настойчиво зазывали ее на свадьбу, осаждали письмами, пока она наконец не приехала.

Жених был папин знакомый, тоже механик, служивший на пароходе «Барон Корф». Он был высокий, с черными, сросшимися над переносьем бровями и крутыми завитками курчавых волос на обветренном лбу. Жених приезжал только летом, в навигацию, привозя с собой запах угля и машинного масла. Он входил в ограду палисадника, прямой, степенный, застегнутый на медные пуговицы форменного пиджака. Варина мама выходила на крыльцо, Варин папа выпрямлял грудь и щурил выцветшие в тридцатилетием плавании голубые глаза, а младшие братья, которых папа почему-то прозвал «товарищами переплетчиками», врывались в комнату и оглушительно кричали, растерянно глядя на Варю:

— Жених приехал!

Варя выходила на крыльцо и целовала его в лоб, прикасаясь губами к красной полоске, оставленной тугой форменной фуражкой. Мама поспешно вытирала фартуком носы и рты своему выводку, а папа, солидно оглядываясь на соседей, смотревших сквозь палисадник, говорил, покачивая головой и распушив свои белые, по-морски подстриженные баки:

— Вот и я был когда-то таким же молодцом! — хотя все знали, что папа всегда был маленький.

Потом шли в столовую. Мама снимала со стола альбом

в бархатных крышках, большую рогатую раковину, стоявшую вместо пепельницы, и накрывала стол блестящей, коробящейся от крахмала скатертью. Жениха сажали на диван с цветочками, между барометром и картой полушарий, и папа заводил с ним длинный разговор о реке, о фарватере и общих знакомых. «Товарищи переплетчики» стояли в дверях и панически смотрели голубыми, как у папы, глазами на жениха. Мама звенела у буфета стопками тарелок и говорила, улыбаясь круглым лицом:

— Да перестань ты, Дмитрий Петрович! Очень им интересно разговоры твои слушать!

А потом жених опять уезжал. Его провожали до пристани. Громадная река блестела быстрыми солнечными зайчиками. Китайские пароходы с пятицветными флагами бросали в прозрачное небо клочья рыжего дыма, оставляя за кормой широкие пенистые пласты. «Барон Корф» оглушительно ревел, лебедка с грохотом выбирала из воды мокрую якорную цепь, Варин папа махал фуражкой и кричал что-то бесчисленным пароходным знакомым, а капитан, будто притворяясь спокойным среди этого столпотворения, отдавал приказания в машину по рупору. Ветер трепал красный с синим квадратом флаг республики, вода кипела и взлетала брызгами под ударами громадных зеленых колес, а «товарищи переплетчики», объятые нестерпимым восторгом, носились по берегу и буйно размахивали соломенными шляпами на резинках, стараясь ободрить команду и пассажиров «Барона Корфа». «Барон Корф» поворачивался грузной кормой, на мачту взлетал синий с белым квадратом походный флаг, на палубе колыхались платки, и пароход уходил, оставляя две упругих гладких волны, блестевших радужными пятнами нефти. Папа брал маму под руку, «товарищи переплетчики» надевали соломенные шляпы, натянув резинки на подбородки, и шли по улицам, засунув руки в карманы. Подражая папе, они степенно рассуждали, что, пожалуй, давно пора сменить этого проклятого, старого, жалкого селезня — капитана «Барона Корфа», который того и гляди посадит судно на мель под Сретенском. Когда они переходили к личным делам капитана и начинали порицать его жену за вставные зубы и за привычку «вилять кормой», Варя обуздывала их угрозой заставить чистить крыжовник после обеда. С тех пор как у Вари появился жених, «переплетчики» молча извиняли ее женские слабости и даже оставили в покое ее полосатого кота, хотя в глубине души они считали его самым безответственным явлением природы.

В прошлом году, на троицын день, она гуляла с женихом и встретила на бульваре Катю Пескову. Жених угощал их малиновым мороженым, показывал, как надо снимать ключ с веревочки, не развязывая узла, и провожал домой их обеих. Через несколько дней Варе принесли бессвязное Катино письмо

с кляксами и бесчисленными ошибками, в котором она называла себя дрянью, бессовестной, развратной, а час спустя пришла перепачканная чернилами Катя и расплакалась у нее в комнате. Она говорила, что жизнь грустная, прегрустная штука и что лучше всего умереть.

— Отдай его мне,— умоляла она, торопливо вытирая слезы.— Ты его все равно не любишь.

Сначала Варя даже рассердилась.

— Нет, люблю,— повторяла она настойчиво.

Но потом, когда Катя открыла ей сумасшедшие любовные бездны, в которых были и смерть, и жизнь, и сомнения, и восторги,— безумная смесь слез и восклицательных знаков,— она поняла, что ее любовь обычная, серая, лишенная горячих радостей. Она колебалась несколько дней, а потом сказала Кате, что согласна. Пусть она берет его себе, если не может жить без него.

Это смешно — но Катя его взяла. Чем она окрутила его простое сердце, Варя не знала. Некоторое время она чувствовала себя несчастной, писала дневник и вечером ходила к скамье над рекой, где они поцеловались в первый раз. А потом как-то само собой все это прошло. И теперь, в Благовещенске, на свадьбе она спокойно поздравила молодых, закалывала невесте фату и танцевала с механиком польку под воющий граммофон.

ВСАДНИК

На дворе стоял серый свет раннего утра. Матвеев отлежал ногу, и ему надо было повернуться на другой бок, но двигаться не хотелось. Он подождал еще несколько минут, стараясь снова заснуть, но, когда это не удалось, он открыл глаза и увидел, что Варя не спит. Она сидела, подвернув край юбки, и отскабливала ножом пятна стеарина, которыми был закапан подол. Жуканов тоже не спал,— он растирал ноги топленым гусиным салом. Матвеев оделся и стал будить Безайса, упорно не хотевшего вставать.

— А мне наплевать,— возражал он сонным голосом и поворачивался лицом вниз.

Тогда Матвеев поднял его и поставил к стене.

На дворе было холодно. Они не успели выехать за ворота, как уже замерзли совсем. Дул ветер, поднимая облака мелкого, сухого снега и путая гривы лошадей. Они выехали из деревни, миновали две скрипящие ветряные мельницы и поднялись на гору. Дальше шел лес. Здесь ветра не было, и они немного согрелись.

Рассвет окрасил все в мягкий, синеватый цвет. От деревьев падала густая тень, лесная чаща стала глубже и прозрачней.

Кое-где по веткам взбирался дикий виноград, и его засохшие листья лежали красноватыми декоративными пятнами. По свежему снегу сани скользили бесшумно и ровно; это располагало к дремоте.

Матвеев закрыл глаза и слушал Безайса, который завел с Жукановым спор о том, что было бы, если бы ученые изобрели способ делать золото. Скупщик был упрямый человек.

— Ничего не было бы,— говорил он.— Их бы арестовали и посадили в кутузку, чтобы не придумывали. Один выдумает, другой еще чего-нибудь выдумает,— что же получится!

Потом он начал расспрашивать Безайса о Советской России. Безайс рассказывал охотно, и Матвеев слушал его с некоторым удивлением. Все фабрики работают, закрыты те, которые не нужны. Голод только в Поволжье, а в остальных местах благополучно. На железных дорогах образцовый порядок. Особенно налег он на электрификацию и детские дома, в которых, по его словам, дети пьют какао и одеваются, как ангелы. Он лгал уверенно, и Матвеев не понимал, зачем это ему нужно. Позже он спросил его об этом.

— Видишь ли,— ответил Безайс,— цели у меня не было никакой. Но мне было неприятно рассказывать про свою республику всякую дрянь. Он все равно человек не наш, и у него голова забита всякой чепухой, о трупах, которые у нас выдают по карточкам. Ему это не повредит.

Жуканов слушал и кивал головой. Когда Безайс кончил, он спросил:

— А почему у вас на гербе находятся серп и молот?

— Это значит,— ответил Безайс,— что рабочий класс управляет страной в союзе с крестьянством.

— Так,— сказал Жуканов с видимым удовольствием.— Рабочий с крестьянством? А знаете, чем кончится серп и молот?

— Чем?

— Напишите слова: «молот серп» и прочтите задом наперед. Получится: «престолом».

Безайс про себя по буквам прочел слова задом наперед. Действительно, получилось «престолом».

— Ну и что же из этого?

— То, что это неспроста. Почему так получается?

— Глупо.

— Нет, не глупо. Тут что-то есть.

Он видел в этом какой-то особый, тайный смысл. Он твердо стоял на своем, и его нельзя было убедить ничем. Для него это было важнее всех доказательств.

— Тут что-то есть,— повторял он многозначительно, и это бесило Матвеева.

Жуканов вымотал из него душу своими рассуждениями, и, когда Безайс начал спорить, Матвеев не выдержал.

— Замолчи, Безайс,— сказал он.— У меня резь в животе

от ваших разговоров. Пускай оин кончаются чем угодно.

Он решительио закрыл глаза. Чтобы засиуть, ои старался представить себе, что саии едут в обратном иаправленни. Жукаиов и Безайс, помолчав иемного, иачали говорить об образоваиии, ио коица их разговора ои ие слышал. Несколько раз он просыпался, чтобы поправить сползавшую иабок шапку. На мгиовеиие ои видел мелькающие деревья, слышал голоса и снова погружался, как в теплую воду, в сои. Ему присиилось что-то без иачала н без коица будто ои плывет в лодке по реке, и его иесет к плотиие, где тяжело вертится громадиое мельиичиое колесо. А что было дальше, ои не помиил.

Ои просиулся оттого, что саии остаиовились. Жуканов говорил с кем-то быстро, поииженым голосом. Сквозь полуоткрытые веки Матвеев видел, что рядом с саиями стоит всадиик в солдатской шииелн н в папахе, глубоко иадвииутой иа голову.

Матвеев медлеиио, еще ие совсем просиувшись, разглядывал фигуру всадиика. Это был высокий, с татарским обветреииым лицом человек. Из-за спииы торчал короткий кавалерийский карабии. Ои показывал куда-то плеткой и вглядывался, щуря слегка косые глаза. Матвеев соиио смотрел иа иего, ии о чем ие думая. Ему хотелось спать, и он закрыл глаза. Когда ои сиова открыл их, всадиик повериул лошадь, подиялся иа стремеиах и взмахиул плеткой. В этот момент Матвеев отчетливо увидел то, чего ои сиачала ие заметил,— иа плече, там, где проходил ремеиь карабииа, был сиий с двумя полосками погон.

Матвеев сиачала даже ие удивился. Несколько мииут ои лежал, разглядывая спииу удалявшегося всаднннка. Тот скрылся за поворотом дороги. Матвеев устало закрыл глаза и вдруг ясио представил сиий, иемиого смятый погои, папаху и скуластое лицо. По телу Матвеева прошла мелкая колючая дрожь. Ои медлеиио подиялся и повериулся к Безайсу.

Саии стояли иа дороге. По обенм сторонам подиимался высокий темиый лес. Безайс широко раскрытыми глазами смотрел в ту староиу, куда уехал всадник. Жукаиов н Варя казались скорее удивлениыми, чем испугаииыми. Матвеев глядел иа иих, иичего ие поннмая.

— Что же это такое? — спросил он строго.

— Это казак,— ответил Безайс без всякого одушевлеиия.

— Откуда ои взялся?

— Ои ехал по дороге. Подъехал к саиям. Остаиовил иас и спросил, далеко ли деревия и как иазывается.

— Ну?

— Вот и все. А потом поехал дальше.

Матвеев почесал мизиицем глаз и задумался.

— Зиачнт,— сказал ои,— Хабаровск заият белыми.

Ои сиова задумался. Надо было что-то иемедлеиио сделать, но ему инчего ие приходило в голову.

— Ну? — спросил Безайс.

— Это чертовски неприятная история,— ответнл Матвеев, бесцельио вытаскивая караидаш н вертя его в руках.— Честиое слово, чертовскн иеприятиая. Надо ехать дальше,— продолжал он.— Сейчас мы иа положеиин мух, попавших в суп. Идти назад все равио иельзя, потому что придется переходить через фроит, а мы даже ие зиаем, где ои находится. Надо ехать в Хабаровск и либо ждать там, когда придут иаши, либо ехать дальше, в Приморье.

— Ехать иельзя,— сказал Безайс,— нельзя потому, что легче попасться. В фронтовой полосе ие так-то легко разъезжать взад и вперед.

— Я все равио иазад ие поеду,— сказал вдруг Жукаиов.

— Вот и хорошо,— сказал Безайс.— Мы тоже поедем дальше.

— Я и дальше ие поеду.

Это было совсем иеожидаиио.

— Почему? — спросил Безайс.

— Потому что потому.

— То есть как?

— Да так. Я хозяин, лошади мои. Чего хочу, то и делаю.

Наступила тяжелая пауза.

— Эти лошади,— наставительио сказал Безайс,— ие ваши, а торгового дома Чурииа.

— Да уж и ие ваши, будьте спокойиы.

— А куда же вы поедете?

— Вериусь в ту деревию, к старику, у которого иочевали.

— А мы?

— А вы как хотите.

Оии растеряино перегляиулись.

— Очеиь это красиво с вашей сторойы,— сказал Безайс.— Мы вам помогли, а вы иас бросаете. Это свииство.

Жукаиов коицом киута поправил шапку.

— Коиечио, свииство,— спокойио ответил ои.— Только ведь и мне иет охоты шею подставлять. Жнть каждому хочется. Вы молодые люди, вам это смешио, а я больной человек. Если меия арестуют, я умереть могу.

Безайс взволиоваиио сиял и сиова иадел перчатку.

— Не умрете,— сказал ои.— Поймите, что иам иадо ехать.

— Всем иадо,— возразил Жукаиов рассудительно.— Страиио. Если я нз-за своего добродушия согласился вас везти, так вы уж хотите иа меия верхом сесть.

— Оставьте, Жукаиов!

— Сказал — иельзя.

Варя переводила взгляд с Безайса иа Матвеева.

— Придется вам выйти,— сказал Жуканов.— Ничего не поделаешь. Всей душой был бы рад, да ие могу.

Матвеев вылез из саней.

— Безайс, поди сюда,— сказал он.— Жуканов, подождите немного, минут пять.

— Пять минут — могу.

Они отошли на несколько шагов и остановились.

— Ну?

Безайс оглядел ровную, уходящую вперед дорогу и вздохнул.

— Чего же разговаривать? — сказал он пониженным голосом.— Мы влипли, старик.

— Влипли?

— Конечно. Все равно, вперед или назад. Пойдем?

— Мы не пойдем, а поедем,— решительно возразил Матвеев.— Нельзя идти по снегу в такой мороз. До Хабаровска еще тридцать верст. Когда мы там будем? Надо скорей кончать с этой дорогой. Я возьму его за шиворот и вытрясу из него душу, если он не поедет.

— А что делать с документами? Порвать?

— Рвать их нельзя, потому что, когда попадем к своим, как мы докажем, кто мы такие?

— Куда же их прятать?

— В ботинки. В сани, наконец.

Они вернулись к саням.

— Мы поедем дальше,— сказал Матвеев, глядя поверх Жуканова.— А вы можете ехать с нами или вернуться в деревню. Мы вас не держим.

Жуканов растерянно глядел на них.

— Товарищ Безайс,— сказал он, прижимая руки к груди.— И вы тоже, товарищ Матвеев. Не шутите со мной. Я больной человек. У меня от таких шуток душа переворачивается.

— Знаю, знаю,— оборвал его Безайс, садясь в сани.— Душа переворачивается, и в глазах бегают такие муравчики. Слышали.

Легко, почти без усилия, Матвеев взял Жуканова за борт пальто, оттолкнул в сторону и отобрал вожжи. Сани тронулись. Жуканов был ошеломлен и смотрел на Матвеева, соображая, что произошло.

— Да это разбой,— сказал он вдруг.— Дай сюда вожжи. Слышишь, дай!

Он схватил вожжи и рванул к себе с истерическим всхлипыванием. Лошади метнулись в сторону, топчась на месте. Матвеев оторвал его руки от вожжей, а Безайс придавил его в угол саней и держал изо всех сил. Длинные уши его шапки волочились за санями и взметали снег.

— Пустите,— сказал Жуканов, тяжело дыша.

Безайс отпустил его.

— Поймите, будьте любезны,— сказал скупщик довольно спокойно,— мое положение. Вы партийные. Поймают меня с вами,

что мне сделают? Убьют ведь! Вы сами собой, а я за что должен страдать? За какую идею?

— Отдайте лошадей нам, а сами вернитесь в деревню.

— Отдай жену дяде. Они не мои, лошади.

— Поправьте шапку. Упадет.

Машинальным движением он подобрал волочившиеся уши, отряхнул их от снега и обернул вокруг шеи. Он потер переносицу, поднял голову, и вдруг глаза его вспыхнули.

— Не поеду я! — вскричал он таким неожиданно громким голосом, что все вздрогнули.— Не поеду,— ну! Чего хотите делайте, мне все равно. Где у вас такие права, человека силком везти? Убивайте меня — все равно не поеду! — Голос Жуканова сорвался почти на крике.— Ну — убивайте! — повторил он, нагибаясь вперед и тяжело дыша.— Забирайте лошадей, шкурки. Снимите с меня пальто. Может быть, вам и сапоги мои нужны? Берите и сапоги! Грабьте кругом, начисто!

— Не кричите так,— нервно сказала Варя.— Могут услышать.

— Пускай слышат,— ответил он.— Какое мне дело?

И вдруг, топорща усы и покраснев от натуги, он пронзительно крикнул:

— Грабют!

— Это черт знает что,— растерянно произнес Безайс.— Вы, Жуканов, и-дн-от, дурак. Проклятый старый дурак.

— Вы сами дурак,— сварливо ответил Жуканов.

Они глядели друг на друга выжидательно и враждебно. Матвеев медленно расстегнул куртку и сунул руку в карман.

— Если вы еще раз крикнете, я вас убью,— сказал он.— А потом возьму за ноги и оттащу в сторону.

Этого Жуканов не ждал.

— А вы знаете,— сказал он вызывающе,— что вам за такие слова может быть?

— Я сильнее вас, и нас двое. Если вы не поедете, то потеряете лошадей, мы их все равно заберем. А если поедете — и лошади у вас останутся, да мы еще приплатим. Решайте скорей, времени нет.

Он мог бы свернуть ему голову одной рукой — лысеющую, с висящими усами голову. Но он предпочел не делать этого. Жуканов вынул платок и громко высморкался.

— Хорошо,— сказал он с достоинством.— Я уступаю физической силе. Но я буду жаловаться.

Он нашел в этом какое-то удовлетворение.

— Я буду жаловаться,— повторил он.

Матвеев беспечно улыбнулся. Он достал нож и отодрал снаружи обшивку саней. Потом он вынул документы и деньги, пересчитал их, сунул за обшивку и снова прибил рогожу гвоздями.

— Едемте,— сказал он.— Изо всех сил!

Матвеев старался придумать какой-нибудь план. Надо было что-то делать. Но он ничего не мог из себя выдавить, кроме того, что в минуту опасности иадо сохранять благоразумие и не волиоваться. Он вертел эту мысль и осматривал ее со всех сторон, пока не заметил, что шевелит губами и что Безайс вопросительно смотрит на него.

— О чем ты? — спросил Безайс.

— Так. Думаю о нашем собачьем счастье.

— Что же ты придумал?

Этот вопрос поставил Матвеева в тупик. Он был старший, и это обязывало его к точиому ответу.

— Прежде всего,— сказал ои,— ие надо волноваться. Это, по-моему, самое важное.

Безайс внезапно обиделся.

— А кто волиуется? — с горячностью спросил он.— Может быть, это я волнуюсь?

— Разве я это сказал?

— Так зачем ты говоришь? Поддерживаешь светский разговор?

— Ну, ну, оставь, пожалуйста. Придрался к словам.

Безайс передернул плечами.

— Мне это не нравится.

— Ну, хорошо, я про себя говорил. Это я волнуюсь. Теперь ты доволен?

— Вполие,— ответил Безайс.

Самое плохое было не то, что их могли поймать и убить. Гораздо хуже было ждать этого. Большим циркулем был очерчеи круг, за которым начиналась жизнь, где люди лежали в окопах, отступали и наступали. Матвеев в детстве знал эту игру: один садился на пол, закрыв глаза, а остальные слегка ударяли его по лбу. Ударяли ие сразу, а через несколько мииут,— и никто не мог выдержать долго: было невыносимо сидеть с закрытыми глазами и ждать удара. И Матвеев почувствовал себя легче, когда наконец они сиова встретили белых.

Был уже полдень; каждую миiуту они ждали, что из-за поворота дороги покажется рота солдат в папахах с белыми лентами. На Безайса нахлынула нервная болтливость, и ои рассказывал какие-то истории о иебывалых и вздорных вещах. Варя казалась спокойной, и Матвеев снова подумал, что у нее нет воображения: «недалекие люди редко волнуются». Почему ои считал ее иедалекой и ограиченной — этого ои и сам не зиал. Но потом ожидание опасности утомило его, и ои впал в какое-то безразличие. Когда издали показалась запряженная парой коней воеиная двуколка, ои приият это как факт, без всяких размышлений.

— Белые,— сказал Безайс.
— Ага,— ответнл он.
Это была походная кухня грязно-зелеиого цвета. Над ней тряслась н вздрагнвала прокопчениая, расхлябанная труба, высокне колеса по самую ступнцу были покрыты старой осеиней грязью. Кухня катнлась с грохотом, внутрн бака, звеня, перекатывался какой-то железиый предмет. На передке раскачивался солдат в папахе, н штык за плечами чертнл круги прн каждом толчке. Он махнул рукой, н Жуканов остановнл лошадей.
— Далеко до Жнрховкн? — спроснл солдат.
— Рукой подать,— отозвался Жуканов.— Так все прямнком, прямнком, а потом как доедете до камней, тут дорога пойдет вправо н влево. Которая вправо ндет дорога, это н есть иа Жирховку.
— Сколько верст отсюда?
— Думаю, будет не больше пятн.
Солдат потер ладонью замерзшне щекн.
— А может быть,— сказал он,— тут меньше осталось? Может быть, версты три?
— Может быть, н три,— согласился Жукаиов.— Кто ж ее зиает — дорога немеряная. Да, пожалуй, что трн версты. Коиечио, три.
Матвеев ждал, что солдат поедет дальше, но он слез с козел и помахал рукамн, чтобы согреться.
— Слушай-ка, дядя,— сказал он,— хлеб у тебя есть?
— Есть.
— Дай-ка закусить.
— Да господн! — восклнкнул Жуканов.— Пожалуйста, об чем разговор! Сам был на действнтельной, трн года в саперном батальоие откачал. Кушайте, будьте здоровы, разве жаль для солдата хлеба? — продолжал ои, открывая корзнну н доставая завернутый в газету хлеб.— Может быть, ветчины хотнте? Возьмите уж н ветчииы.
— Давай н ветчнну,— сказал солдат, беря продукты.— Может быть, и закурнть найдется?
— Очеиь сожалею, но я некурящнй,— вииовато сказал Жуканов.— Здоровье не позволяет.
— Чего?
— Здоровьем, говорю, слаб. Грудь табачного дыма не прнинмает. Не курю. Вот, еслн хотнте, подсолнухов — каленые подсолнухн.
Безайс вынул папнросу и дал ему закурнть. Он с жадностью глотнул дым.
Матвеев разглядывал его. Он был одет в новенькую светло-корнчневую шннель. Шинель сндела плохо, коробнлась, как картоиная, н торчала острымн углами на каждой складке; хлястнк, перетянутый поясом, стоял дыбом. У солдата было курносое

обветренное лицо, он часто мигал покрасневшими от бессонницы глазами. Сняв винтовку, он прислонил ее к колесу и стал чесаться всюду — под мышками, за воротником, под коленями. Почесать спину ему не удалось — тогда он потерся о кухню.

— Едят? — спросил его Жуканов.

— Как звери.

— Давно заняли Хабаровск?

— Третьего дня.

— А как тут дорога сейчас — спокойная? Безопасно ехать?

— А чего ж бояться?

— Мало ли чего! Партизаны могут быть или красные пойдут в наступление. Попадешь в самую толчею, так, пожалуй, и не выскочишь. Вот я через это и беспокоюсь ехать.

Солдат снова залез на козлы, закрыл ноги и начал отовсюду подтыкать шинель, чтобы не продувало.

— А знаете что? — продолжал Жуканов.— Я лучше с вами поеду. Боюсь я, знаете ли, ехать. Вернусь с вами в деревню, пережду там денька два, пока все не утрясется, а потом и двину в Хабаровск. Как, господин солдат, возьмете вы меня с собой?

— Мне что? — ответил он.— Дорога казенная.

— А мы? — воскликнул Безайс, хватая Жуканова за рукав.

Жуканов спокойно отнял рукав.

— А вы идите пешком. До Хабаровска недалеко, живо дойдете. Ваше дело молодое, не то, что я. Да и я тоже не за себя боюсь, а за лошадей — вдруг отымут?

— Но ведь это черт знает что!

— Не чертыхайтесь. Ничего такого особенного нет в этом.

— Скоро вы там? — спросил солдат.— Мне ехать надо.

— Ну, послушайте, Жуканов. Ну, оставьте, пожалуйста.

— Мне нечего оставлять. Чего мне оставлять?

— Поедемте дальше...

— Что я, обязан что ли, вас возить? Сказал — не поеду.

Безайс, силясь улыбнуться, взглянул на Матвеева. Он сидел бледный, подавленный, глядя в лицо Жуканову.

— Хорошо,— тихо сказал Матвеев.— Мы пойдем. Только отъедемте немного дальше, чтобы мы могли вынуть деньги и бумаги.

— Какие деньги? — громко спросил Жуканов.— Это что вы пятерку мне дали? Берите, пожалуйста, мне чужого не надо. Подавитесь своей пятеркой.

— Тише, пожалуйста,— сказал Безайс, насильно улыбаясь и путаясь в словах.— Деньги, тысячу рублей... И бумаги. Пожалуйста.

Жуканов обернулся к солдату. Он молча, с любопытством наблюдал за ними.

— Чистая комедия,— сказал он, разводя руками и улыбаясь.— Какие-то бумаги с меня требуют. Чудаки. Не рад, что

связался с ними. Уходите вы с богом, отвяжитесь от меня. Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте.

— Какие бумаги? — спросил солдат.— Об чем у вас разговор?

— Жуканов,— сказал Матвеев глухо, почти шепотом.— Дайте нам незаметно взять деньги, и мы вас отпустим. Бросьте эту игру. Слышите, Жуканов?

— Вы и так уйдете,— ответил он тихо.— Уходите, пока целы. Берегите головы, а о деньгах не думайте. Деньги хозяина найдут.

— Слушай ты, Жуканов! — произнес Матвеев с угрозой.

— Сорок восемь лет Жуканов. Да ты мне не тыкай,— молод еще тыкать. Пошел вон из моих саней! Слышишь? Господин солдат, что же это такое? Какие-то лица без документов нахалом залезли в сани и не вылезают.

— Матвеев... голубчик... ну, ради бога...— быстро заговорила Варя, и в ее голосе зазвучала тоска и ужас.— Уйдемте... скорее. Ну, я тебя прошу... пожалуйста, оставь...

Он больше догадался по движению губ, чем расслышал ее последние слова:

— Убьют ведь...

— Матвеев, я ухожу,— сказал Безайс, поднимаясь с места и беря мешки.— Идем.

Матвеев взглянул на него с угрюмым упрямством.

— Я без денег не пойду,— ответил он, бледнея и сам пугаясь своих слов.— А ты — уходи. Уходи, Варя.

— Идиот,— упавшим голосом сказал Безайс, снова садясь на свое место.— Проклятый идиот.

Они услышали тяжелый прыжок — солдат спрыгнул на землю и спускал предохранитель винтовки. Он делал массу мелких движений, и на его простоватом лице горел деловой азарт. «Застрелит еще, дурак»,— тревожно подумал Матвеев.

Скрипя новыми сапогами, солдат подошел к саням. На секунду он задержался, что-то вспоминая, потом быстро, как на ученье, взял ружье наизготовку, выбросил одну ногу вперед.

— Вы кто такие? — спросил он строго.— Документов нет?

— Нет,— покорно ответил Матвеев.

— У меня — есть! — воскликнул Жуканов, торопливо доставая бумажник и роясь в нем.— Паспорт, метрическая выпись и удостоверение с места службы, от торгового дома Чурина. Прошу посмотреть. А у них нет, то есть, может быть, есть какие-нибудь, да они их попрятали.

— Ага...

Солдат постоял несколько минут, вздрагивая от возбуждения, потом отчетливо, в несколько приемов принял винтовку к ноге, со вкусом щелкнув каблуками. Все смотрели на него, не понимая, чего он хочет. Солдат взволнованно обошел сани.

Внезапно, отскочив на несколько шагов, он вскинул винтовку и с наивной радостью крикнул:

— Вот я вас сейчас буду стрелять!..

Матвеев вобрал голову в плечи. Солдат пугал его своей стремительностью. Он был молодой, наверное, недавно прочитал устав и теперь горел желанием обделать все как можно лучше.

Он медленно опустил винтовку и снова подошел к саням, что-то выдумывая.

— Молчать! — крикнул он не своим голосом.— Ты, мордастый! Ты чего, ну? А? Молчать! Ты почему без документов? Это зачем баба тут?

— Она...

— Молчать!

У него на лбу выступил пот.

— Вот я...— сказал он срывающимся голосом,— вот я...

Он сосредоточенно пожевал пухлыми губами.

— Не лезь в разговор, не шебурши! Сейчас вы арестованные. Заворачивай! Крупа! Представлю в штаб, они вам покажут езди-ить!

Безайс, не понимая, смотрел на его веснушчатое лицо.

— Как же так? — спросил он оторопело.— Нам надо скорей домой.

— Не разговаривать!

— Но позвольте,— сказал Матвеев,— позвольте...

— Ничего не позволю!

— Но, господин солдат...

Он не сразу понял, что произошло. У него зазвенело в ухе и лязгнули зубы.

— Съел? — услышал он.

Он поднял голову; солдат с еле сдерживаемым восторгом смотрел на него. Это была оплеуха — у Матвеева жарко горела правая щека.

В нем проснулась старая привычка, и пальцы как-то сами собой сжались в кулак. Когда его били, он давал сдачи.

«Чего же это я смотрю?» — удивился он. Тут вдруг он заметил, какое обветренное, озябшее лицо у солдата, как неловко сидит на нем коробящаяся шинель и дыбом стоит хлястик. Еще минуту назад Матвеев боялся его и видел в нем солдата, а теперь это был просто нескладный деревенский пареиь, смешной и нелепый, с винтовкой в руках, которую он держал, как палку. «Да ведь это нестроевой, кашевар»,— подумал Матвеев с острой обидой.

Тогда он встал, взглянул на солдата вниз с высоты своего роста и хватил его кулаком между глаз. Солдат с размаху сел на снег. Матвеев нагнулся и вырвал у него винтовку из рук, поднял упавшую шапку и нахлобучил ему на голову.

— Уходи, дурак,— сказал он сердито.— А то я тебя так побью, что ты не встанешь.

Солдат поднялся медленно, озираясь, измятый и вывалянный в снегу. В его небольших глазах гасло возбуждение, он бормотал что-то, трогая налившийся синяк и вытягивая правую ладонь вперед, точно защищаясь от нового удара. Матвеев посмотрел на его жалкое лицо и пренебрежительно отвернулся. Надо было скорей уезжать.

Ни на кого не глядя, он положил винтовку в сани. Жуканов с мелочным упрямством не убрал ногу, мешавшую Матвееву. Тогда Матвеев взял двумя пальцами его ботинок и отодвинул в сторону.

— Отдай винтовку,— услышал он позади. Солдат, опустив руки, напряженно смотрел на него.

— Не отдам.

— Отдай!

— Не отдам, проваливай! Не приставай.

Матвеев сел в сани. Солдат взволнованно потер рукой переносицу.

— Так сразу и драться,— сказал он, шмыгая озябшим носом.— Ему уже и слова сказать нельзя. Какой выискался...

— Замолчи!

— Я и так молчу. Сразу начинает бить по морде. Отдай винтовку, она казенная...

Безайс хлестнул по лошадям. Некоторое время солдат стоял на месте, а потом сорвался и побежал за санями.

— Отдай!

Он споткнулся, упал, шапка слетела у него с головы. Поднявшись, он опять побежал без шапки, прихрамывая на одну ногу.

— Отдай!

— Черт его побери, этого осла,— сказал Матвеев.— Орет во все горло.

Обернувшись, он погрозил ему кулаком, но солдат не отставал. На голове из-под стриженых волос у него просвечивала розовая кожа. Он опять упал.

— Отдай ему,— сказала Варя.

Матвеев поднял винтовку, вынул затвор и выбросил ее на дорогу. Он видел, как солдат подошел к винтовке, осмотрел ее и пошел обратно, волоча ее за штык. Ветер раздувал полы его шинели. Когда он скрылся из виду, Матвеев размахнулся и выбросил в сторону затвор. Он глухо звякнул о дерево и зарылся в снег.

ТАК И НАДО

Внизу, под горой, лошади пошли тише, и Безайс начал снова хлестать их кнутом. Жуканов наклонился к нему и взял вожжи из рук.

— Вы мне так лошадей запалите. За всякое дело надо с уменьем браться,— сказал он строго.

Он имел такой вид, точно его обидели, и уж никак не был смущен. На его усатом лице отражалась строгость. Безайс вопросительно взглянул на Матвеева и передал вожжи Жуканову.

— Поверните сюда,— сказал Матвеев, указывая на узкую дорогу, сворачивавшую прямо в лес.

Жуканов смерил его взглядом.

— Сюда нельзя,— сказал он.

— Что?

— Нельзя, говорю, сюда сворачивать. Она никуда не идет. По ней за дровами ездят.

— Делайте, как я сказал!

И Жуканов повернул лошадей. Сани въехали в чащу деревьев, раздвигая мелкие елочки. Ветки задевали по лицу и по плечам. Безайсу хотелось спросить, зачем они свернули с дороги, но после встречи с белым Матвеев вырос в его глазах, и он доверял ему безусловно.

Они отъехали с полверсты, когда Матвеев велел остановиться. Он вышел из саней и сказал:

— Безайс, поди сюда.

Безайс послушно встал. Жуканов смотрел на них с недоумением.

— Варя,— сказал Матвеев,— мы сейчас придем. Возьми револьвер и стереги его,— он показал на Жуканова.— Смотри, чтобы он не убежал.

Но когда Варя взяла револьвер и неумело потрогала курок и барабан, Жуканов забеспокоился.

— Погодите,— сказал он, опасливо глядя на Варю.— Скажите ей, чтобы она не наставляла на меня револьвер. Ведь она с ним не умеет обращаться и может по нечаянности выстрелить.

По выражению лица Вари было видно, что она и сама опасается этого. Но Матвеев взял Безайса под руку и быстро повел вперед. Отойдя так, что деревья скрыли от них Варю и Жуканова, Матвеев остановился.

— Ну-с?

— Ты молодец! — сказал Безайс, глядя на него восторженно.

Матвеев опустил глаза.

— Это пустяки,— ответил он.— Главное — это не волноваться и сохранять благоразумие. Вот и все.

— Ты,— продолжал Безайс, не слушая его,— вел себя прекрасно. Надо сказать, что я даже не ждал этого от тебя. Я прямо-таки восхищен,— убей меня бог!

Он подумал немного и великодушно прибавил:

— Пожалуй, я не сумел бы так ловко вывернуться из этой истории...

— Не стоит об этом говорить,— возразил Матвеев.— Ты тоже держался очень хорошо. Но сейчас нам надо спешить. Каждую минуту кто-нибудь может найти на дороге этого кашева-

ра. Если это станет известным в Хабаровске раньше, чем мы туда приедем, нас поймают непременно... Мы должны изо всех сил спешить в Хабаровск.

— Так чего же мы стоим? Зачем ты свернул в лес?

— Как зачем? А Жуканов?

Безайс задумался.

— Это верно,— ответил он.— Но какая он сволочь! Ты заметил, какие у него жилы на руках?

— Мы не можем оставить его так. Он выдаст нас при первом случае.

— Выбросим его из саней, а сами уедем.

— Но он знает нас в лицо и по фамилиям.

Безайс взглянул на него.

— От него надо избавиться,— сказал Матвеев, помолчав.

— Что ты думаешь делать?

— Его надо устранить.

— Но каким образом?

— Да уж как-нибудь.

Они с сомнением взглянули друг на друга.

— А может быть, он нас не выдаст? — нерешительно сказал Безайс.— Ведь он только хотел получить деньги. Теперь он напуган.

Матвеев задумался.

— Он дурак, он просто дурак, он даже не так жаден, как глуп. Нельзя. Мы не можем так рисковать. От него можно ждать всяких фокусов. Хорошо, если не выдаст. А если выдаст?

Безайс потер переносицу.

— Ну ладно,— сказал он.— Я согласен.

— Сейчас же? — спросил Матвеев несколько торжественно.

— Конечно.

— На этом самом месте?

— Можно и на этом. Все равно.

Такая уступчивость показалась Матвееву странной.

— Ты, может быть, думаешь,— подозрительно спросил он,— что это все я буду делать?

Безайс подпрыгнул и сорвал ветку с кедра, под которым они стояли. Легкая серебряная пыль закружилась в воздухе.

— Да уж, голубчик,— ответил он, сконфуженно покусывая хвою.— Я хотел тебя об этом просить. Честное слово, я не могу.

— Ах, ты не можешь? А я, значит, могу?

— Нет, серьезно. Я умею стрелять. Но тут совсем другое дело. Сегодня утром мы ели с ним из одной чашки. Это, понимаешь ли, совсем другое дело. Тебе... это самое... и книги в руки.

Матвеев сердито плюнул:

— Нюня проклятая! А тебе надо сидеть у мамы и пить чай со сдобными пышками!

Безайс слабо улыбнулся. Это было самое простое и самое удобное, но его воротило с души, когда он думал об этом. Маленькие наивные елки высовывались из-под снега пятиконечными звездами. Он машинально смотрел на них. В нем бродило смутное чувство жалости и отвращения.

— Неприятно стрелять в лысых людей,— сказал он, пробуя передать свои мысли.

— Так ты, значит, отказываешься? Может быть, мне позвать Варю вместо тебя?

— Оставь. Но ведь ты мне веришь, что если бы речь шла о драке, я бы слова не сказал?

— Вот что я тебе скажу,— ответил Матвеев.— Есть подлая порода людей, которые всегда норовят остаться чистенькими. Они охотно принимаются за все при условии, что грязную часть работы сделает за них кто-то другой. Им непременно хочется быть героями, совершить что-нибудь необычайное, блестящее, какой-нибудь подвиг. Я знал таких ребят. Их нельзя было заставить написать коротенькое объявление об общем собрании, потому что им хотелось написать толстую научную книгу. Они не хотели колоть дрова на субботниках, потому что предпочитали взрывать броневики. Такие люди бесполезны, потому что подвиг у человека бывает один раз в жизни, а черная работа — каждый день... Ты, кажется, обиделся?

Безайс обиделся уже давно, но молчал.

— Ты, может быть, думаешь, что я специально обучался людей убивать?

— Могу ли я знать,— сказал Безайс,— почему ты, человек сурового долга, сваливаешь на меня эту грязную работу? Я растроган почти до слез твоими нравоучениями, но почему ты сам этого не сделаешь?

Матвеев зябко поежился.

— Я не отказываюсь,— сказал он.— Но мне и самому не хочется браться за это. Я не то что боюсь — это пустяки. Я не боюсь, а просто страшно не хочется. И пускай уж мы вдвоем возьмемся за это. Одному как-то не так.

Безайс молчал.

— Но если ты отказываешься, я, конечно, обойдусь и без тебя.

Безайс поднял на него глаза. Он почувствовал, что если откажется, то не простит этого себе никогда в жизни.

— Я не отказываюсь,— сказал он.— Вместе так вместе.

Они рядом, в ногу, пошли к саням. Безайс сосредоточенно хмурился и старался вызвать в себе возмущение и злобу. Он до мелочей вспоминал фигуру Жуканова, лицо, сцену с солдатом. «Око за око,— говорил он себе.— Так ему и надо». Но он чувствовал себя слишком усталым и не находил в себе силы, чтобы рассердиться. Тогда он начал убеждать себя в том, что Жуканов, собственно говоря, пешка, нуль. Подумаешь, как много по-

теряет человечество от того, что он через несколько минут умрет. В конце концов все умрут. Умрет он, умрут Матвеев и Варя.

Из-за деревьев показались лошади н сани. Безайс услышал голос Жуканова:

— Вы еще молоды, барышня, учить меня. Да и я стар, чтоб переучиваться. Вы говорите — деньги. Боже меня упаси чужое взять. Но ведь эти деньги-то тоже не ваши. Партийные деньги. А это все равно что ничьи.

— Как же это — ннчьн?

— Да так и ннчьи. Скажнте мне, как фамилня хозяина? На какой улице он жнвет? Это деньги шалые, ннкто им счету не ведет, не копит, не интересуется.

Матвеев и Безайс подошлн к саням. Варя держала револьвер, как ядовитого паука, и казалась подавленной ответственностью, которую на нее возложнли. Она чувствовала, что выглядит забавной с револьвером в руках, и была рада случаю вернуть его Матвееву.

Жуканов встретнл их с угрюмой насмешлнвостью.

— Как видите, не убежал,— сказал он.— Напрасно вы расстраивалнсь — я от лошадей ннкуда не убегу.

Он подождал ответа, но Матвеев молчал.

— Да и зачем мне убегать? — продолжал он.— Я никого не грабил, не убивал. Документы у меня в порядке. Другие, напрнмер, не имеют документов н скрываются. Или набезобразничают, а потом убегают. А мне зачем убегать?

— Подите-ка сюда, Жуканов,— сказал Матвеев.

— Куда это?

— Сюда на минуту.

— Зачем?

— Потом узнаете.

Жуканов задумался.

— Нет, вы скажнте зачем.

— У меня к вам есть одно дело.

Некоторое время они неподвнжно смотрели друг на друга. Потом Жуканов встал и пошел к ннм, переводя взгляд с одного на другого.

Онн пропустилн его вперед и пошли вслед за ним на несколько шагов. Безайс, сдержнвая дыханне, опустил руку в карман, вынул револьвер н поднял его на уровень глаз.

Ему не было жаль Жуканова. Он думал только об одном и мучительно боялся этого: что Жуканов обернется, увидит револьвер и поймет. Он боялся крика, умоляющнх глаз, рук, хватающнх за полы шинели. В этот момент Жуканов обернулся, и Безайс мгновенно выстрелнл.

Он почувствовал толчок револьвера в руке н услышал почти одновременно выстрел Матвеева. Большая серая ворона сорвалась с дерева и полетела, степенно махая крыльями. Жуканов

свалился на бок, в сторону, и, падая, судорожно обхватил руками дерево. Скользя по стволу, он опустился на снег.

— Так! — вырвалось у Матвеева.

Они подождали несколько минут. Жуканов не двигался. Тогда они тихо обошли тело и взглянули на него спереди. Он лежал со строгим выражением на помертвевшем лице. Сквозь полузакрытые веки виднелись белки глаз. Крови не было.

Матвеев, держа револьвер в руке, опустился на колени и расстегнул пуговицы его пальто. На груди, около горла и у левого плеча, темнели два кровяных пятна. Матвеев засунул руку в боковой карман и вынул кожаный бумажник с документами.

Назад они возвращались быстро, спеша. Варя встретила их молча, пристально поглядела и отвернулась.

— Скорей! — крикнул Безайс, вскакивая в сани и хватая вожжи. Он ударил по лошадям, и сани понеслись.

— Вы его убили? — спросила Варя, не поднимая глаз.

— Убили,— коротко ответил Безайс.

Они подъехали к дороге. Безайс остановил лошадей, и Матвеев пошел вперед.

— Мучился он? — спросила Варя.

— Нет,— ответил Безайс.— Он свалился, как мешок с отрубями. Я попал над сердцем, в плечо,— добавил он.

Варя передернула плечами.

У нее осунулось лицо, волосы выбились из-под шапки беспорядочными прядями. Она беспомощно взглянула на Безайса.

— Не понимаю, как это вы можете,— сказала она, отворачиваясь.— Убить человека! Ты не жалеешь, что убил его?

— Нет.

— Ничуть?

Безайс резко повернулся к ней.

— Отстань от меня! Чего тебе надо? Ну, убили. Ну, чего ты пристаешь?

Он отчетливо вспомнил узкую дорогу, немую тишину леса и каблук Жуканова, подбитый крупными гвоздями. В нем поднималось чувство физического отвращения к этой сцене, и, чтобы заглушить его, он заговорил быстро и вызывающе:

— Подумаешь — важность какая! Одним блондином на земле стало меньше. Так ему и надо! Он получил свою долю сполна. Таких и надо убивать.

Он перевел дыхание.

— А тебе жалко? Может быть, его надо было отпустить на все четыре стороны? Как же! Убили — и прекрасно. Одним негодяем меньше.

— Перестань,— сказала Варя.

Вернулся Матвеев.

— На дороге никого нет,— сказал он.— Можно ехать.

ОСКОЛОК КОСТИ

Они подъехали к Хабаровску, когда уже стемнело. Небо вызвездилось крупными, близкими звездами, на западе широкой лиловой полосой потухал закат. По редкому лесу они въехали на гору, и Хабаровск внезапно встал перед ними. После узкой, неровной дороги и черного леса город показался огромным. Над ним колебалось мутное зарево огней, в сумерках блестели освещенные окнами вереницы улиц. Издали город огибала широкая полоса занесенной снегом реки, в синеватом воздухе тонким кружевом выделялся громадный, в двенадцать пролетов, Амурский мост. Здание электрической станции горело красными квадратами больших окон. И уже чувствовалась торопливая жизнь, шорох шагов, теплое дыхание людской толпы.

— Приехали,— сказал Матвеев, чтобы нарушить молчание.

Безайс, перевесившись через край саней, взволнованно смотрел на город. Хабаровск рисовался ему чем-то отвлеченным, ненастоящим — черным кружком на карте. Теперь он колебался внизу пятнами огней — большой город с живыми людьми.

— Видите, вон там, справа, идет бульвар,— говорила Варя, вытягивая шею.— А дальше, по набережной, за той большой трубой,— там наш дом. Ах, что будет с мамой!

Безайс не видел ни бульвара, ни трубы.

«Что будет с нами?» — машинально отметил он про себя.

Он оглянулся на Матвеева и встретился с ним взглядом. Матвеев сидел, откинувшись к спинке саней, и сосредоточенно кусал соломинку. Позади острыми вершинами чернел в небе редкий лес.

— Это дешевый трюк,— сказал Матвеев, скривив лицо.— Если они на секунду заподозрят неладное,— все лопнет. Глупо — кто поверит, что мне сорок восемь лет? Это для детей.

Безайс резко бросил вожжи и сдвинул шапку на затылок. Было очень скверно.

— Но что же делать? — сказал он тихо и виновато.— Старик, мне самому это не нравится. Тут все напропалую, что выйдет.

Он поднял голову и глубоко вздохнул. Надо было перешагнуть и через это.

— Ну, а если?

— Что ж — если...

И, подумав, прибавил:

— Все там будем.

— Где? — с тихим ужасом спросила Варя.

Она была напугана до смешного, до меловой бледности, и Безайсу стало совестно при мысли, что он может быть хоть немного похож на нее.

— Да ничего,— сказал он.— Думаю, все обойдется. И потом я заметил, что у белых караульная служба поставлена скверно. Часовые бегают пить чай, спят. Как-нибудь.

Матвеев судорожио, с усилием зевнул.

— Да-а,— сказал он неопределеиио.

Он вытяиул другую соломинку и иачал ее кусать, что-то придумывая, пока ие поймал себя на том, что ои просто оттягивает время — эту последиюю, уже наступающую миииуту. Тогда он броснл соломинку и сказал, торопясь:

— Ну, поезжай!

Сани разом тихо скользнули вниз н пошли, иаезжая боком на сугробы. Город огиями поплыл в сторону, замелькал сквозь черные ветки и иа секуиду исчез,— снова была звездиая иочь, сиег, спокойный лес. Матвеев вдруг, торопясь, достал папиросу, закурил, мельком взглянул на часы.

— Без четвертн девять,— сказал он.

Из-за косогора снова показались городские огни. Ои машииально глядел иа ннх н вдруг вспомнил, что где-то здесь, в одиом из этих домов, живет Лиза. Была такая же иочь там, в Чите, когда оин ходили, держась за рукн н болтая вздор. За последнее время ои как-то ие думал о ней; может быть, потому, что было иекогда, илн потому, что в лесу, в мороз, женщины и любовь нейдут на ум. Теперь воспоминание о Лизе было овеяно опасностью, стерегущей внизу у подножья горы, и зажгло в ием кровь. Город уже ие был таким чужим.

— Безайс,— сказал ои,— ты слышишь? Если оии остановят и попробуют задержать, гони лошадей. Черт с ними! Что будет. Удерем — и все.

— Хорошо.

«Удерем — и все»,— повторил Матвеев про себя эту успокоительную фразу. Было все-таки легче думать, что есть еще один выход.

Теперь город стал ближе, поднялся вверх, и кое-где стали намечаться отдельные дома. Показались иизкие крыши предместий, скворечни и длииные огороды. Стало еще темней. Далеко впереди, в конце улицы, блестел одинокий фонарь.

— Сейчас начнется,— сказал Матвеев, роясь в кармане.— Ну, Безайс, теперь держись крепче.

Пронеслось еще иесколько мгиовений.

— Там направо,— сказал вдруг Безайс жарким шепотом.— Это часовой.

— Сам вижу,— тихо ответил Матвеев.

Справа стоял иебольшой дом с освещениыми окиами. С иизкой крыши нависали пухлые сугробы сиега. В иебольшом палисадике росли поникшие березы. Еще издали они заметнли темную фигуру на дороге, против дома. Они подъехали ближе н увндели граиеное острие штыка, торчащее из-за спины. Солдат окликиул их; хотя Безайс давио ждал этого, ои иевольно вздрогнул.

— Стой! — громко сказал часовой.

Безайс придержал лошадей.

— Кто едет?

Часовой был одет в огромную овчинную шубу, доходившую до земли. Он утопал в ней — снаружи виден был только верх его папахи.

— Свои,— ответил Безайс обязательной фразой.

— Кто такие?

— Местные. Хабаровские жители.

Наступила тишина. Безайс слышал, что впереди о чем-то тихо говорят. По снегу заскрипели шаги. «Ну, чего же ты смотришь?» — услышал он. Кто-то вышел из ворот с фонарем, и желтый свет заколебался по снегу.

— Вы кто? — спросил другой голос.

— Хабаровские жители,— повторил Матвеев.

Впереди снова о чем-то заговорили. Безайс слышал обрывки фраз, но не мог ничего понять. Сердце коротко и глухо отбивало удары. «Скоро, что ли?» — вертелась тоскливая мысль.

На крыльцо, хлопнув дверью, вышел кто-то. Видны были только освещенные щелью фонаря сапоги. От изгороди падали на снег густые, чернильные тени.

— Ну что? — спросил громко стоявший на крыльце.

Ему ответили.

— Позовите Матусенку,— продолжал он.— Вы кто?

— Мы хабаровские жители.

За воротами звенели цепью. Лаяла собака. Лошади стояли, опустив головы.

— Откуда сейчас?

— Из Жирховки. Пропустите нас, будьте любезны.

Ворота, скрипя, открылись.

— Заводите лошадей во двор. Раньше утра в город въехать нельзя.

— Но мы же здешние,— крикнул Матвеев.— У меня документы есть, все в порядке. Пропустите, пожалуйста.

Слышно было, как стоявший на крыльце зевнул.

— Въезд в город только по разрешению коменданта,— ответил он.— Ночь переночуете здесь.

— Да как же так?

— Ничего не могу. Заводите лошадей.

Безайс нагнулся к Матвееву.

— Ну? — спросил он.

— Погоди,— шепотом отозвался Матвеев.

И громко крикнул, бессознательно подражая Жуканову:

— Сделайте удовольствие, пропустите нас! Я больной человек, мне нельзя так. Да и дома нас ждут.

Ответили не сразу. Кто-то засмеялся.

— Не сдохнешь,— услышали они.

— Гони,— чуть слышно сказал Матвеев.

Безайс шумно вобрал воздух в легкие, привстал и хлестнул кнутом. Толчок саней отбросил его назад. Он больно стукнулся

подбородком, но тотчас поднялся на колени и снова ударил кнутом. Мимо мелькнул фонарь и темные фигуры людей. Сзади кричали, но Безайс не разбирал слов. Комья снега летели в сани. Стоя во весь рост, он хлестал по спинам, по бокам, не разбирая.

Навстречу кто-то бежал прямо на лошадей, крича и махая руками. Он отскочил в последний момент, и сани промчались мимо.

Сзади хлопнул выстрел, и Безайс инстинктивно пригнулся. Ему показалось, что пуля пролетела около виска, шевельнув прядь волос. Снова раздался выстрел.

— Господи! — услышал он восклицание Вари.

Улица казалась бесконечно длинной. Дома, прыгая, неслись навстречу черной грудой. Выстрелы оглушительно отдавались в ушах. Из ворот выскочила собака и побежала за санями, остервенело лая. Безайс смотрел вперед на перекресток, где можно было свернуть за угол. «Успеем ли доехать?» — думал он.

— Безайс!

Голос доносился глухо, точно по телефону. Он медленно, не сразу, понял, что его зовут.

Перекресток приближался. Безайс сжимал вожжи так, что руки у него онемели до локтя. Он подался вперед, думая только о том, что надо скорее доехать и повернуть за угол. Отвяжется когда-нибудь эта собака?

На углу он резко потянул вожжи, и сани сделали крутой поворот, накренившись набок. Безайс ухватился за передок, ожидая, что сейчас они вывалятся в снег. Но в следующую секунду сани уже неслись по темной улице.

Белая пыль колола лицо, и воздух свистел около ушей. Кони, храпя, крепко били копытами по укатанной дороге. Вся жизнь сосредоточилась в этом стремительном движении. После Безайс смутно помнил, что они повернули несколько раз в переулки, спускаясь и поднимаясь по какой-то горе, проезжали мимо церкви и длинного дощатого забора, из-за которого торчали голые сучья деревьев. Несколько раз он слышал, что ему кричат что-то, но он не вслушивался. Лошади сами перешли в рысь, хотя Безайс продолжал машинально хлестать их кнутом. Он поднес руку к подбородку и почувствовал боль. «Это я, наверное, о передок ударился»,— догадался он.

— Безайс,— услышал он.— Да постой же ты! С ума сошел?

Безайс медленно собирался с мыслями. Он только теперь заметил, что на нем нет шапки. Лоб и щеки были совершенно мокрые от снега и пота.

— Ну, что с тобой? Я не могу тебя дозваться. Погляди на Матвеева. Ну, двигайся скорей, ради бога.

Безайс вытер лоб.

— Что с ним? — спросил он, нащупав в ногах измятую шапку и надевая ее на голову.— Что ты кричишь? Говори тише.

Он остановил лошадей и зажег спичку. Некоторое время он бессмысленно смотрел, соображая, что произошло. Мгновенно

он вспомнил Жуканова. Лицо Матвеева было бледно, губы закушены. Он сидел, вцепившись левой рукой в борт саней. Голова была откинута назад и повернута набок. У Безайса захватило дыхание. Убили?

— Матвеев,— позвал он тихо.

Но Матвеев молчал. Безайс поднял его руку — она беспомощно повисла. Скользнув глазами, он заметил вдруг, что левая нога Матвеева в крови. Безайс снова зажег спичку. Ниже колена, около ступни, густо проступала кровь. Из обрывков материи виднелось что-то белое, сначала ему показалось — белье. К крови прилипло несколько соломинок. Но потом он вдруг с мучительной ясностью заметил, что кусок белого был осколком кости,— острый, овальный, с неровными краями осколок. Это перевернуло в нем душу. Варя была поражена бессмысленным выражением его лица.

— Он жив? — спросила она.

Безайс снова поднял его руку и стал щупать пульс. На тротуаре, против них, остановился человек, постоял и пошел дальше.

— Ну что? — спросила она.

Он никак не мог найти пульса. Напрягая память, он старался вспомнить правила первой помощи. В это мгновение Матвеев слабо пошевелил пальцами. Безайс бережно опустил руку.

— Ну что? — повторила Варя.— Он уже умер, да? Да что ты молчишь, Безайс?

— Он живехонек! — воскликнул Безайс.— Ты знаешь, где здесь живет хороший доктор? Самый лучший, самый дорогой доктор?

— На Набережной есть хороший доктор. У него лечилась тетя Соня. Только, Безайс, милый, езжай скорей. Ведь, правда, он жив, Безайс?

— Ну, разумеется, жив!

Он стал поворачивать лошадей, когда вдруг Варя вспомнила, что доктор на Набережной — специалист по легочным болезням.

— Дура! — сердито сказал Безайс.

— Я совсем сошла с ума. Погоди!..— ответила она, прижимая ладони к вискам.— А какой нам нужен? Как он называется?

— Хирург.

— Хирург? Сейчас, сейчас! Погоди, я сейчас.— Она крепко закрыла глаза, покачивая головой.

Безайс глядел на нее с нетерпением.

— Скоро ты? У тебя голова набита опилками?

— Погоди, Безайс, голубчик,— повторила она умоляюще.— Я стараюсь вспомнить, но у меня ничего не выходит. Хирург?

Безайс ждал, нетерпеливо стуча каблуками. В эту минуту он ненавидел ее. Надо было спешить, не теряя ни минуты, а

она сидит и не может вспомнить! От его влюбленности не осталось ничего — ему хотелось отколотить ее.

— Пока ты здесь сидишь, он истекает кровью! — воскликнул Безайс.— Ведь он умереть может, пойми ты!

Она молчала.

— Полено! — простонал он.

Плечи Вари вздрогнули. Она заплакала.

— Я... ничего... не могу вспомнить...— сказала она, всхлипывая.— У меня голова идет кругом. Он еще не умер?

Безайс вскочил в сани и взмахнул вожжами.

— Безайс, послушай,— сказала Варя, быстро вытирая слезы.— Хирурги не прививают оспу?

— Где тут ближайшая аптека?

— Прямо и направо. Не гони так, трясет очень.

Улица шла далеко вперед ровной линией. Сквозь ставни домов на дорогу сочился мягкий свет. Небо было по-прежнему ясно и холодно светилось крупными, близкими звездами.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

В прихожей на вешалке грудами висели пальто и шубы. За стеной на пианино играли бравурный марш. Безайс впервые за несколько месяцев увидел свое лицо в зеркале. Ссадина на подбородке и клочья выбившихся из-под шапки волос делали его лицо настолько странным, что он с трудом узнал самого себя. Он снял шапку и приглаживал волосы, когда в прихожую вошел доктор.

— Вы ко мне?

— Доктор, пожалуйста... Случилось несчастье: мой брат ранен. Я заплачу вам любые деньги, только помогите мне.

Он испугался, что доктор обидится и откажется.

— Я не стал бы вас беспокоить, но рана очень серьезная,— продолжал он с натянутой улыбкой, просительно глядя доктору в глаза.

— Но у меня нет приема сейчас. Отчего вы не обратились в больницу?

— Я приезжий и не знаю города. Мне указали на вас.

Доктор вынул зубочистку и поковырял в зубах, раздумывая.

— Кто вас направил ко мне?

— Мне рекомендовали вас в аптеке как лучшего хирурга.

За стеной пианино смолкло. Задвигались стулья. Безайс с беспокойством ждал ответа, ловя каждое движение его век.

Многое зависело от этого приземистого доктора с желчным лицом. В его белых сухих пальцах вздрагивала, теряя кровь, судьба человека.

Доктор поиграл брелоком.

— Хорошо, ведите его сюда.

Безайс бегом бросился на улицу. Обхватив плечи Матвеева, он стал его поднимать, стараясь быть как можно осторожнее. Нагнувшись, он положил его руку себе на шею.

— Держи его за поясницу, Варя!

Он поднял его и пошел к двери, шатаясь под тяжестью бессильного, обвисшего тела.

— Безайс, ты упадешь! — крикнула Варя.

Он поднялся по лестнице, ощупывая ногами ступеньки. Наверху стояла со свечой горничная в аккуратном переднике и смотрела на Матвеева с нескрываемым любопытством. Дойдя до прихожей, Безайс совершенно выбился из сил и стал бояться, что упадет вместе с Матвеевым.

— Куда нести? — спросил он, задыхаясь.

В дверь заглядывали женские лица. Маленькая девочка с розовым бантом сосредоточенно рассматривала его.

Безайс вошел в небольшой кабинет и, изнемогая, положил Матвеева на кожаный диван. Доктор снимал пиджак и говорил что-то горничной.

— Разденьтесь,— сказал доктор, надевая халат.— Вы не боитесь крови? Вымойте руки.

В кабинете стоял сложный запах старого, годами обогретого жилья. На письменном столе скопились кучи открыток с морскими видами, валялись искусанные карандаши, распиленный и застегнутый на медные крючки череп, бюст Толстого и огромные книги. Над столом висела картина, на которой выводок полосатых котят возился с клубком шерсти. В стеклянном шкафу тускло блестели золочеными переплетами ряды книг.

Горничная внесла спиртовку и таз с водой, вкатила белый железный стол и спустила с потолка большую лампу. Безайс мыл руки, поглядывая на доктора.

Небольшого роста, узкоплечий, с угловатыми движениями, доктор был под стать своему кабинету с его старомодной, потертой мебелью. Одет он был неловко, в просторный пиджак и брюки с вытянутыми на коленях мешками. Седая борода была подстрижена клинышком, на лбу колебался хохолок редких волос. Он носил золотые очки с толстыми стеклами, которые делали выражение глаз упорным и странным.

— Как это случилось? — спросил он, осматривая Матвеева

— На нас напали хулиганы...

— Ну?

— И... ударили его. Выстрелили.

Доктор снял очки и потер их платком.

— Давно?

— Час назад, полтора. Почему он без памяти, доктор?

— От потери крови...

Он осмотрел ногу, выпячивая губы и что-то пришептывая, неодобрительно качая головой.

— Хулиганы... А зачем вы к ним полезли, к хулиганам?

— Они сами полезли.

— Коне-ечно. Сами полезли. А вы бы ушли без скандала. Надо было драку начать?

В комнату вошел высокий худой человек с зеленым лицом и длинными зубами. Он поздоровался, мельком взглянул на Матвеева и стал надевать халат.

— Вот... полюбуйтесь,— сказал доктор.

Худой — его звали Илья Семенович — подошел к дивану, застегивая на спине халат.

— Перелом?

— Пулевая рана. Задета кость.

Они перенесли Матвеева на железный стол с откидными спинками и спустили лампу к самой ноге, отчего по углам сгустилась темнота. Илья Семенович потрогал ногу и скривил свое длинное лицо.

— Как же это его? — спросил он, и Безайс снова повторил историю с хулиганами, чувствуя, что она неправдоподобна. Доктор смотрел на него с явным неодобрением, точно Безайс сам прострелил Матвееву ногу.

— Хорошо, хорошо,— сказал он нетерпеливо.

Илья Семенович разложил на куске марли блестящие инструменты. Они пугали Безайса своими сверкающими изгибами и безжалостными остриями, сделанные, чтобы проникать в живое тело. За ним вытянулась линия бутылей с притертыми пробками. Несколькими взмахами кривых ножниц Илья Семенович взрезал напитанную кровью материю и обнажил ногу Матвеева. Доктор строго взглянул на Безайса.

— Не разговаривайте и не кашляйте,— сказал он.— Возьмите часы и считайте пульс,— все время. Умеете считать пульс?

— Умею. А что с ним, доктор? Серьезно?

— Серьезно. Не разговаривайте, я вам сказал.

Он нагнулся и принялся очищать залитую кровью кожу, обтирая ее скрипящими комками белоснежной ваты, снимая запекшуюся, уже бурую, корку. Безайс считал как машина, вкладывая в это все силы и едва удерживая дрожь в пальцах. Сбоку искоса он видел кровь, обнаженное мясо, и ему стало страшно. Тогда он решительно, одним усилием повернул голову. Он увидел большую, с рваными краями рану, выходившую на внутренней стороне ноги. Прорвав кожу, показался небольшой, в полтора сантиметра, осколок кости бледно-розового матового цвета с алыми прожилками. Сквозь запекшуюся корку проступала наружу крутыми завитками свежая кровь. Пальцы ноги были неестественно белы и неподвижны.

Безайса охватило чувство мгновенной дурноты и слабости, за которое он тотчас возненавидел себя. Закрыв глаза, он стоял, чувствуя, что не может смотреть на это. Вид раны вызывал в нем мысль о мясной лавке, в которой лежат на потемневших столах липкие куски говядины. Но какая-то внутренняя сила застави-

ла его открыть глаза н смотреть, подавляя ужас, как доктор захватывает щипцамн края кожн н выравнивает порванные мускулы.

Лампа ярко освещала стол, быстрые пальцы доктора, вату и ряд нииструментов. За этнм меловой белнзны кругом стояла полутьма, нз которой слабо поблескивало золото переплетов. На спнртовке клокотала вода, пар таял под абажуром, покрывая стекло влажным бнсером.

— Сколько? — спросил вдруг доктор.

Безайс ие сразу понял, что это относится к нему.

— Трнста семьдесят одии.

— Что-о? Сколько?

Бейзас повторнл.

— Нельзя же быть такнм бестолковым,— сказал доктор, дергая щекой.— Надо по миаутам счнтать. Сколько в мннуту. Понялн?

Он снова наклонился над Матвеевым. Его руки были в крови. Пальцы двнгалнсь с непонятной быстротой. Илья Семеиович работал, как автомат, движение направо, движенне налево,— ие уклоняясь и ие спеша. Безайс прямо перед собой видел его спину с острыми лопатками. В комнате резко пахло спиртом и перегретым воздухом. Горничная бесшумно вынесла таз, наполнеииый кровавымн комкамн ваты. В тишине сдержанно шипело снневатое пламя спиртовки. Илья Семеновнч однообразно двнгал рукамн, и все это — холодный стол, тнкающне часы, белый халат доктора, пульс, вздрагнвающий под пальцамн Безайса,— рождало острую тоску.

— Сколько? — спросил доктор.

Безайс тупо молчал. Из-за толстых, блестящих стекол доктор взглянул иа иего с тихой ненавистью. Он ушел в работу с головой, н каждый промах Безайса прниимал как личиую обиду. Безайс чувствовал, что, не будь доктор так заият операцией, ои пырнул бы его тонким блестящнм иожом, который держал в руке.

— На часы надо смотреть, а не на меня,— что вы пялнте глаза? — сказал доктор.— Говорнте вслух каждую мннуту,— сколько. Ну!

Безайс стал глядеть на часы. Стрелка быстро бегала по цнферблату. Опять вошла горнничная. По комнате пополз запах — сладковатый, крепкий, оставляющнй на языке какой-то привкус.

— Семьдесят два,— сказал Безайс.

Ему стало стыдио. В коице концов, он ие баба же. Оии вместе работалн и вместе былн под пулями. Для товарища надо сделать все,— н уж еслн прнходится кромсать ему ногу, то надо сделать это добросовестно и чисто.

— Семьдесят три,— сказал ои.

Под конец Безайс нзмучнлся н ие сознавал почтн ничего.

Тяжело передвигая ноги, он перетащил вместе с Ильей Семеновичем Матвеева на диван, слушал шутки доктора, внезапно подобревшего, когда перевязка кончилась, и машинально улыбался. Илья Семенович вымыл руки, оделся и ушел в столовую пить чай. Толстая повязка белела на ноге Матвеева ниже колена. Безайс стоял, вспоминая, что надо делать,— надо было одеть Матвеева. Опустившись на колени, он начал застегивать пуговицы. Доктор снимал халат и плескался водой около умывальника.

— Однако вы ловко все это сделали,— сказал Безайс, чувствуя необходимость сказать ему что-нибудь приятное.

Доктор вытирал руки мохнатым полотенцем.

— Да, я немного маракаю в этом. Но он совсем еще мальчик. Сколько ему лет?

— Н-не знаю... Двадцать — двадцать один.

— Хм... Странно — не знать, сколько лет брату.

— Я забыл,— сказал Безайс, подумав.

Пуговицы никак не застегивались. Матвеев коротко стонал, мотая головой. Тут Безайс вспомнил, что на улице его ждет Варя. Он совсем забыл о ней, как забыл обо всем другом. Что она там делала одна на морозе с чужими лошадьми?

— Доктор!

Безайс вскочил, сжав кулаки, готовый драться со всем городом. Доктор стоял около телефона, держа трубку в руке.

— Куда вы хотите звонить?

— В больницу.

— Зачем?

— Чтобы приехали за ним.

— Пожалуйста, не звоните. Я отвезу его домой.

— Почему?

— Потому что отвезу. Я не хочу, чтобы он лежал в больнице. Повесьте трубку!

— А если не повешу?

— А если... Повесьте трубку!

— Но ему надо лежать в больнице. Так нельзя. Нужен тщательный уход.

— Уход будет самый тщательный. Не звоните, я вас прошу.

Доктор повесил трубку и засунул руки в карманы.

— Так-с,— сказал он неопределенно, выпячивая щетинистые губы.

Безайс снова опустился на колени и, лихорадочно спеша, надел чулок и ботинок.

— Смотрите,— услышал он,— на вас опять могут...— доктор помедлил,— хулиганы напасть.

— Не нападут.

Он чувствовал на затылке внимательный взгляд доктора и спешил, как только мог. Надо было скорее убираться, становилось что-то очень уж горячо.

Слышио было, как доктор шуршал бумагой иа столе и укладывал ииструменты. Потом ои прииялся ходить по комиате, кашлять, щелкать пальцами, сопеть; иаконец, подойдя к Безайсу почти вплотную, ои остаиовился у иего за спиной.

— Ну, а теперь скажите мие правду, где его раиили? Не обмаиывайте меня.

И, поиизив голос, сказал:

— Вы большевик. И ои — тоже большевик.

Безайс медлеиио подиялся с колеи и прямо перед собой увидел золотые очки, мясистый иос доктора и его бородку клинышком. Опустив глаза, ои взглянул иа шею в мягком воротиичке домашией рубашки; потом, выставив вперед левое плечо, он твердо уперся ногами в пол.

— Слушайте,— сказал ои, равиомерно дыша и распрямляя пальцы.— Бросьте эти штуки. Это может плохо коичиться для вас.

— Плохо? — тихо переспросил доктор.

— Совсем плохо,— так же тихо ответил Безайс.

И вдруг он увидел, как иа лице доктора, около глаз, дрогиули и разбежались веселые морщиики. Это иемиого сбило его с толку,— ио лицо доктора было по-прежиему серьезио.

— Вы меия убьете? Потащите в угол и придушите подушкой?

— Посмотрим,— ответил Безайс иеувереиио.

— Нет, без шуток?

— Посмотрим, посмотрим.

Он отошел иа иесколько шагов, ие спуская с Безайса удивлениых глаз.

— А сколько вам лет?

— Девятиадцать,— угрюмо солгал Безайс.

Доктор миииуту смотрел иа иего с иепоиятиым выражением лица, что-то обдумывая, потом спросил:

— Вы ие обедали сегодия, правда?

— Не обедал.

— Сумасшедшие,— сказал он, качая головой.— Ну ие делайте такого лица, я зиаю, что вы вооружеиы до зубов. Зачем вы так раио вмешиваетесь в политику? Что это вам дает? Ведь сейчас вам иадо было бы выпить стакаи молока и ложиться спать. Вы изводите себя. Сначала иадо вырасти, окрепнуть, а потом делайтесь белыми или красными. У вас совершенно больиой вид. Здесь, под лопатками, не колет?

— Нет.

— Общество, коммуиизм, идеалы,— иадо и о себе иемного подумать. Так вы уморите себя. Отдыхайте, дышите свежим воздухом и лучше питайтесь. Вы, конечио, скажете, что это меиьшевистская программа. Но я уверен, что если бы ваш Леиии был здесь, ои уложил бы вас в постель. Да вы ие слушаете меня?

Безайс был измучен и сознавал только, что доктора бояться нечего.

— Слушаю,— ответил он.— Если бы Ленин был здесь, он уложил бы меня в постель. У вас профессиональный подход к делу. Есть много вещей на свете, которых вы не сумеете понять.

— Стар?

— Может быть.

— И глуп?

— Нет. Просто вы чужой человек.

— Чужой? А вы мальчишка!

Безайс с удивлением заметил вдруг, что доктор волнуется.

— Чужой... говорите прямо: кровосос. Еще и выдаст, чего доброго, правда?

Он оборвал себя самого.

— Я пошутил. Конечно, чужой. Знаете что? Пойдемте поешьте чего-нибудь. У вас совершенно заморенное лицо.

— Спасибо, не могу. На улице меня дожидается одна девушка.

— Тоже сестра какая-нибудь? Ну, как хотите.

— Сколько я вам должен за работу?

— Какие у вас деньги? Купите себе на них леденцов.

Он отошел к столу, написал несколько рецептов и долго объяснял Безайсу, что надо делать. Он настаивал на том, чтобы Безайс на другой же день привел его к Матвееву.

— Политика политикой, а гангрена сама собой.

Безайс машинально кивал головой. Он был оглушен событиями этого дня и чувствовал себя невыносимо скверно.

— Хорошо,— сказал он безрадостно.

Он кое-как одел Матвеева, заложил его руку за шею и приподнял с дивана. Матвеев все время невнятно мычал, и Безайсу это напоминало, как на бойне мычит сваленный последним ударом бык. Нести было тяжело, но Безайс отказался от помощи доктора:

— Я сам.

Он вынес его на улицу и бережно уложил в сани, укрыв пальто. Подумав, он снял шинель и тоже положил ее на Матвеева, оставшись в куртке.

— Что с ним? — спросила Варя.— Ты простудишься.

— Ничего. Ну, поедем.

Он оглянулся. Доктор стоял в дверях, ветер трепал его редкие волосы и полы пиджака. На его лице отражалось волнение, и глаза за толстыми стеклами казались большими и темными. Точно вспомнив что-то, Безайс вылез из саней и подал ему руку.

— До свидания. Я и мои товарищи — мы вас благодарим.

— Ладно,— сказал доктор.— Какое вам дело до меня? Конечно, вы правы: у вас слишком много дел, чтобы обращать

внимаиие на стариков. Из старнков надо варнть мыло, правда?

Он захлопнул дверь н снова открыл ее.

— Но завтра обязательно приходите за мной.

НОГА

Матвеев открыл глаза н вдруг разом почувствовал, что жизнь перемеиилась,— будто и земля и воздух стали другими. Сбоку он увидел окно, тюлевую заиавеску н ветку сосны, качавшуюся за стеклом. Кто-то осторожно ходнл по комиате.

— Можно,— услышал он голос Безайса.— Но только тише, тише, пожалуйста. Скажи, чтоб затворилн дверь из кухни. Кажется, нх иадо держать пять мииут. Крутых он ие любит, иадо в мешочек.

Ему ответили шепотом. Матвеев снова стал дремать, но его вдруг поразнл звук, от которого он давно отвык. Где-то мяукала кошка — и ои живо представил себе, как оиа ходит, выгибая спиину, н трется об ногн. Он повернул голову, н голоса смолкли. Безайс присел на край кровати.

— Как дела, старина? — спроснл он, шнроко улыбаясь.— Дышнshь? Лежн, лежн. Привыкай к мысли, что тебе придется порядочио полежать.

— Жарко,— ответил Матвеев.— Сними с меия эту штуку.

Он почувствовал боль в левом плече н поморщился.

— Больио? — спроснл Безайс, стряхивая термометр.— Дай, я тебе поставлю.— Он прнложил руку к его лбу.— Жар. Тебя лихорадит. Не раскрывайся.

— Где это мы сейчас?

— У Вари. Ты разве не помнншь, какой здесь вчера был переполох, когда мы ввалнлись?

Он иичего не помннл — голова была как пустая. Все его мысли сосредоточились вокруг тюлевой занавески, окна и мохиатой ветки, одиообразно качавшейся перед глазами. Тело болело ноющей болью — это было совершенно иовое ощущенне. Он обрезал себе пальцы, падал, в драке ему разбнвали голову,— но такой страиной болн он не испытывал никогда.

Тут он вдруг вспомнил давнншннй, забытый им случай с колбасой, пронсшедший несколько лет назад. По карточкам выдавали колбасу, и он на рассвете стал в длнннную, на несколько улнц растянувшуюся очередь. Очередь двигалась медленно — наступило утро, по улицам с песнямн прошел отряд ЧОНа, в учреждеинн напротив красиоармеец долбил на машннке одним пальцем. После обеда пришлн рабочне стронть на площади арку к какому-то празднику. К прилавку он дошел уже вечером, и тут, когда приказчнк отвесил ему полфуита ярко-пунцовой колбасы, оказалось, что Матвеев взял с собой карточки на кероснн. И теперь ему вдруг стало неприятно и обндно на свою рассеян-

ность. «Те былн снние н с каемкой по бокам, а этн розовые н без каемочкн»,— подумал он.

Но ои опять забыл об этом случае н вспомннл, что рядом с ним сидит Безайс.

— А что со миой, Безайс? Почему я лежу?

Безайс уронил ложку и долго нскал ее.

— Тебя хватнло в ногу,— ответнл он, вертя ложку в руках.— Но теперь опасностн нет, ие беспокойся. Мы тебя выходим.

Какая-то новая мысль беспокоила Матвеева. Она не давала ему покоя, н он беспомощно старался вспомннть, в чем дело. Но он знал, что дело важное н что вспомннть он обязан непременно.

Безайс тнхо спроснл:

— Ты какие любншь яйца больше: всмятку нлн в мешочке?

— Я люблю...— начал он н вдруг вспомннл.— А деньгн? А документы? Целы онн?

— Не беспокойся. Все цело.

— Безайс, это правда? Онн у тебя?

Безайс покорно встал н достал нз мешка сверток. Но когда он вернулся к кроватн, Матвеев спал уже. Безайс пошел к двери. У косяка сндела Варя.

— Пойдем отсюда, пусть он спит.

Онн вышлн в другую комнату. Варя подошла к окну. Это была столовая, здесь стоял обеденный стол, нсцарапанный мальчншкамн буфет н клеенчатый днван. На стене внселн барометр, карта н рыжая фотографня Варнной мамы, снятая, когда мама была еще девушкой и носнла жакет с высоким воротнником.

— Это хорошо, что он спнт,— сказал Безайс.— Значнт, рана его не очень беспоконт. Но мне прямо страшно вспомннть, как доктор вчера чнннл ему ногу. Бедняга! Александра Васильевиа прншла?

— Нет.

— Ты бы не могла смотреть на это. На польском фронте, в госпитале, когда мне вырезалн опухоль под правой рукой, я насмотрелся на жуткие вещн. Доктора орудовали ножамн направо и иалево. Онн вошлн во вкус и хотелн начнсто оттяпать мне руку. Я едва отвертелся от иих. Онн прнвелн меня в операцнонную, разделн и положнлн на ужасно холодный мраморный стол. Я страшио замерз н дрожал так, что стол заскрипел. Докторша потрогала опухоль н — р-раз! Два!

Он выдержал паузу.

— Они сделалн мне под мышкой такую прореху, что можно было засунуть кулак!

Варя молчала, прижавшись лбом к стеклу. Безайс подождал, что она скажет. Но у нее не было желання разговарнвать.

Безайс прошелся по комнате, посвнстел. Ему стало тосклнво.

— Сегодия обошлось. Но что я потом скажу ему? К черту,

к черту! — как только он встанет, я увезу его из вашего проклятого города! Уедем при первой возможности. Это худшее место на всей земле!

Варя обернулась.

— Вы уедете? Когда?

— Не знаю когда. Как только смогу его увезти.

— Безайс, почему? Вы опять попадете в какую-нибудь историю. И тебя тоже ранят.

Он махнул рукой.

— Все равно — пропадать!

— Но это глупо! Почему не подождать, пока придут красные?

— А если они через год придут?

— Нельзя же так ехать — неизвестно куда. Особенно теперь.

— На это и шли. У тебя психология беспартийного человека: мама, папа, убьют. А я видал всякие вещи.

День был тусклый, по комнате стлался мутный свет, Варя снова повернулась к окну. Безайс прошелся по комнате, чувствуя себя отчаянным и решительным.

— У нас, в Советской России, настоящие парни,— сказал он, хмурясь.— Мы все рискуем шкурой. Сегодня ему ногу, а завтра мне голову. Это серьезное дело. Матвеев сам отлично все понимает, и его не надо уговаривать.

Он подошел к зеркалу и стал рассматривать свое лицо. Кожа обветрилась и покраснела, около глаз лежали темные круги. Худым он был всегда, но теперь похудел еще больше. За дорогу он отвык спать в постели и есть за столом. Но он никогда не придавал этому значения. «Быть здоровым,— говорил он,— это все равно, что быть брюнетом: кому повезет, тот и здоров. В наше время только мещане имеют право на здоровье, а нам прямо-таки некогда лечиться и прибавлять в весе».

Он прислушался — из комнаты Матвеева ничего не было слышно. Мать Вари пошла к доктору — было решено, что Безайсу лучше первое время не показываться на улице. Чтобы заняться чем-нибудь, Безайс нагнулся к зеркалу и сделал сердитое лицо. Некоторое время он рассматривал свое отражение, а потом высоко поднял брови и скосил глаза. В эту минуту ему показалось, что Варя всхлипывает. Он обернулся и увидел, что она действительно плачет. Волосы упали ей на лицо, она вздрагивала и вытирала глаза рукой.

— Варя, что это значит?

Она не отвечала. Он вынул из кармана носовой платок, но после минутного размышления сунул его обратно.

— Что это такое?

Вопрос был праздный, и Безайс чувствовал это. Женщины всегда были для него сплошным сюрпризом, и он никогда не мог угадать, какую штуку они выкинут через минуту. Когда

у мужчины иепрнятности, он курнт и режет стол перочинным ножом. А женщины плачут от всего — от горя, от радостн, от неожиданности, от нспуга,— н что толку спрашнвать их об этом? В тягостном настроенин он вынул папиросу н закурнл.

— Как тебе ие стыдно,— сказал ои, подбирая выражения.— Взрослая, передовая, развнтая девнца ревет ревмя! Му-у! Ты плакала вчера, плачешь сегодня. Это кажется, переходит у тебя в привычку. Придет твоя мать н подумает бог знает что. Она подумает, что я... что ты...

Ои замолчал с полуоткрытым ртом. Его поразнла новая, неожидаиная, стремнтельная мысль. Ему показалось, что он настал, этот день, ожидаемый давно н упорно,— его празднлк. Надо было петь, орать, бесноваться, а не болтать этн вялые и пошлые утешення. Ои уезжает,— и она плачет! Мяч катится ему навстречу, н надо было держать его обеимн рукамн.

— Неужели? — прошептал он взволнованно.— Безайс, старина!..

Ои потрогал ногой половнцу и пошел к Варе, обходя каждый стул. В сером квадрате окна ее фигура с круглыми опущеннымн плечамн казалась трогательной н милой. Волосы светилнсь вокруг головы тусклым золотом. У Безайса была только одна цель, опьяняющая и блестящая, дальше которой ои ие видел ничего: обнять ее за талию. Мнр раскрывал перед ним самую странную н прекрасную из своих загадок, которую он хранит для каждого человека — даже когда у того веснушки и розовые ушн.

— Варя!

Она спрятала свое лнцо, и он вндел только шею н вздрагнвающую грудь.

— Варя! — повторнл он с каким-то воплем, сам пугаясь своего голоса.

Она оттолкнула его руку.

— Пусти! Какое тебе дело?

— Не плачь!

— Отстань от меия!

Он постоял, а потом рваиулся, точно его держалн за воротннк, отбнваясь от самого себя, и обнял ее за талию. Тут он успокоился н некоторое время стоял, упиваясь этим новым ощущеннем н ободряя себя к дальнейшему продвижению. Пока можно было действовать молча, однимн рукамн, было еще сносно, но вскоре надо было начать говорить. Он боялся этнх неизбежных уже слов н в то же время страстно нх желал. «Я тебя люблю».

— Успокойся... ну, я тебя прошу,— нсчерпывал Безайс свой скудный запас нежных разговоров.— Очень прошу.

— Я... не скажу... ни одного слова.

— Ну, пожалуйста, оставь,— тнхо сказал ои, совершенно нссякая.

Она словно сопротивлялась, но Безайс охватил ее плечи и повернул к себе. Тогда она отняла руки от лица и подняла на него полные слез глаза. «Какая она хорошенькая!» — подумал он возбужденно.

— Ты понимаешь, Безайс,— заговорила она взволнованно и уже не стыдясь своих слез,— он даже не спросил обо мне! Хоть бы одно словечко, Безайс, а? Ведь меня могли ранить, даже убить, а ему все равно! Он спрашивал о тебе, о деньгах, о бумагах, обо мне даже не вспомнил. Значит, я для него совсем не существую? Он обо мне ни капельки не думает? Да, Безайс?

Сдерживая дыхание, она вопросительно смотрела на него. Безайс, расширив глаза, стоял глухой и слепой. Невозможно угадать, какую штуку они выкинут в следующую минуту. У мужчин все это гораздо понятней и проще, а женщины сделаны, как шарады: кажется одно, а получается совсем другое.

У него на языке вертелись только самые пошлые, самые избитые фразы: «Ах, вот как?» Или: «Вы, кажется того?» Или: «Я давно кое-что замечал!» Но это здесь не годилось. Ее ресницы слиплись от слез, и глаза стали большими и блестящими. Безайс осторожно отвел руки от ее талии.

— Какая ты глупая! — воскликнул он с плохо сделанным удивлением.— Он, наверное, толком не понимает даже, где он находится и что с ним случилось. Ранили бы так тебя, ты узнала бы, что это такое. Когда мне на фронте вырезали опухоль под правой рукой, я никого не узнавал. И не удивительно — потеря крови, лихорадка, слабость. Это хуже всякой болезни.

— Но ведь о бумагах и деньгах он вспомнил же?

— Да, о бумагах. Это партийное дело. Оно важнее всяких болезней. Ты никогда не поймешь, что это такое.

Она покачала головой.

— Вовсе не поэтому. Я знаю, он считает меня мещанкой и дурой.

— Почему ты так думаешь? — уклончиво ответил Безайс.— Он мне ничего такого не говорил. Сейчас он просто болен, и глупо требовать от него галантности. А ты ревешь, разводишь сырость и устраиваешь мне сцену. Хочешь, я покажу, как ты плачешь?

Он скривил лицо и всхлипнул. Она быстро вытерла слезы и оттолкнула его.

— Ну, уходи,— сказала она, смущенно улыбаясь и краснея.— Уходи, чего ты на меня смотришь?

Безайс повернулся и вышел. В столовой он мимоходом взял со стола пышку и сел перелистывать семейный альбом. Откусывая пышку, он машинально рассматривал пожелтевшие фотографии бородатых мужчин и странно одетых женщин.

— Нет,— сказал он, захлопывая альбом.— Каждый человек

может быть иемиого ослом. Но иельзя быть им до такой степеии.

Ои встал, походил и остаиовился перед гипсовой собакой иелепой масти, стоявшей иа комоде. У нее был розовый иос и трогательиые голубые глаза: одно ухо было подиято вверх. Безайс пощелкал ее по звоикому иосу.

— Это ваше личное дело,— прошептал ои.— Вы влюбляетесь и рыдаете. Но за что я, Виктор Безайс, обязаи выслушивать все это? А если я ие хочу? Какое мие дело, позвольте спросить?

Собака неподвижио смотрела иа иего гипсовыми глазами.

На другой деиь сиова пришел доктор. Он осмотрел метавшегося в жару Матвеева, долго писал рецепт и расспрашивал Варю. Потом ои встал и отвел Безайса в угол.

— Это правда, что ои ваш брат? — спросил ои.

— Нет. Это мой товарищ.

Доктор взял Безайса за рукав и засопел.

— Хотя все равио. Но отиеситесь к этому, как мужчииа. Вы слушаете?

— К чему? — спросил Безайс, холодея.

— Ему придется отиять иогу. Больше иичего сделать иельзя.

На мгиовеиие ои перестал видеть доктора. Перед иим был Матвеев — здоровый, широкоплечий, иа груди мускулы выпирали из рубашки.

— Это иевозможио! — воскликиул Безайс.— Как же так?

— Кость раздроблена, срастить ее иельзя. Началось нагиоеиие.

Безайс взволиованно взъерошил волосы.

— Доктор, неужели иельзя? Вы ие зиаете, какой это человек! Ои такой сильиый и здоровый. Что ои будет делать без иоги?

Доктор сердито пошевелил бровями.

— Не иадо лезть! — сказал ои со сдержаниой яростью.— Дома иадо сидеть, а ие лезть иа рожои. Ну, зачем вы полезли? Кто вас просил?

Безайс ие слушал его. Ои поимал только, что Матвееву собираются отхватить иогу около колена, и иичто иа свете ие может ему помочь.

— Вам иичего ие втолкуешь. Идейиые мальчики!

— Но его лучше прямо убить! — с отчаяиием сказал Безайс. Ои ие мог представить себе Матвеева с одиой иогой.— А если ие резать?

— Ои умрет, вот и все.

— Так пускай лучше ои умрет,— ответил Безайс.

Доктор заложил руки за спину и прошел из угла в угол. Матвеев бормотал какой-то вздор.

— Думаете — лучше? — спросил доктор задумчиво, останавливаясь перед Безайсом.

— Лучше.

Прошло много времени — минут пятнадцать.

— Куда он денется? — сказал Безайс.— И на что он будет годен? Заборы подпирать? У него горячая кровь, он сам здоровый — что он будет делать?

Опять наступила пауза.

— Операцию я все-таки сделаю,— сказал доктор.— Это его дело распоряжаться своей жизнью, а не ваше. Вы слушаете меня?

— Слушаю.

— Я думаю — завтра.

— Это — окончательно? Никак нельзя поправить?

— Я же сказал. Если вы обращаетесь к врачу, надо ему верить.

— Где вы думаете сделать это?

— Не беспокойтесь, он будет в безопасности. Операцию сделаю в больнице. Я ручаюсь, что никто не будет знать, кто он такой. Иначе невозможно,— на дому таких вещей делать нельзя. Это сложная история.

Безайс молчал.

— Вы мне не верите? — спросил доктор с горечью.— Думаете — выдам?

— Нет. Но вы сами уверены, что никто не узнает?

— Я ручаюсь.

Поздно вечером приехали за Матвеевым — доктор, Илья Семенович и одна женщина. Они увезли его, и на другой день, тоже вечером, привезли обратно — левая нога Матвеева кончалась коротко и тупо. Безайс ушел в темную столовую и сел на расхлябанный диван. Ему хотелось рыдать.

Он чувствовал себя виноватым — виноватым за то, что он здоров, что у него целы ноги, что мускулы легко играли под кожей. Ехали вместе и вместе попали под пули, но Матвеев один расплатился за все. Безайс тут ни при чем, это его счастье, что ни одна пуля не задела его — но иногда так невыносимо, так дьявольски тяжело быть счастливым!

ГИПСОВАЯ СОБАКА

Матвеев очнулся сразу, точно от толчка. Он вздрогнул и открыл глаза. Комната в серых сумерках, незнакомая, странная, медленно поплыла перед его глазами.

Его охватило тяжелое предчувствие чего-то страшного. Все вокруг имело дикий, несоразмерный вид. Потолок и стены кривились острыми зигзагами. У кровати на стуле стояли бутылка и стакан с чайной ложкой. Они показались огромными, выросшими и заполняли собой все. Комод, стоявший у противоположной стены, виднелся точно издали, как в бинокль, когда смот-

ришь в уменьшительные стекла. В углах шевелились сумерки. Он прислушивался к их тихому шороху, не понимая, что сейчас — утро или вечер.

Закрывая глаза, он чувствовал, как кровать начинает качаться под ним медленными, плавными размахами. Сначала ноги поднимались вверх, потом опускались, и начинала подниматься голова. Он открыл глаза, повернулся и вдруг дико вскрикнул. За окном, прижавшись к стеклу широким лицом, стоял кто-то и неподвижно смотрел на него.

Ужас придавил его к кровати. Все ощущения мгновенно приобрели остроту и напряженность. С мельчайшими подробностями он видел, как темная фигура за окном подняла руки, надавила на раму, и стекла высыпались, падая на одеяло. Темный силуэт просунулся в комнату и оперся на подоконник — осколки хрустнули под его локтями. Матвеев видел большую голову, широкие плечи и завитки волос над ушами, но лица разглядеть не мог — вместо лица было какое-то серое пятно.

В комнате ходил ветер, хлопая занавеской. Несколько снежинок закружилось над Матвеевым.

Исчезающими остатками сознания Матвеев понял, что это бред.

— Ничего нет,— прошептал он.

И действительно, на секунду силуэт побледнел, и сквозь него стали видны очертания рамы. Последним усилием Матвеев старался освободиться от тяжелой власти кошмара, точно разрывая опутывающие его веревки. Но затем он сразу погрузился в дикий призрачный мир, и бред сомкнулся над его головой, точно тяжелая вода. В синем квадрате окна очертания темной фигуры стали еще отчетливее.

Для него исчезли день и ночь, пропали границы времени. Когда он снова открыл глаза, было уже поздно, и луна светила в комнату. За окном никого не было. По-прежнему аккуратными складками висела тюлевая занавеска, и стекло светилось матовым блеском. Матвеев долго лежал, ни о чем не думая. Потом он услышал тончайший писк и повернул голову. Писк прекратился. Через минуту из темноты тихо вышла большая рыжая крыса и остановилась в пятне лунного света. Это было крупное животное — ростом с котенка. На ее тонких круглых ушах серебрилась короткая шерсть. Она постояла, поводя ушами, потом пошла дальше, волоча по полу длинный хвост и низко держа узкую морду. Он следил, как она постепенно выходила из лунного луча — сначала голова, туловище и, наконец, вся, до кончика хвоста, пропала в темноте.

Потом пришли еще два плюшевых гада, неестественно больших, и стали ходить по комнате. Они возились, как лошади, шуршали бумагой и нагло подходили к самой кровати. Их голые лапы казались прозрачными. Матвеев несколько раз кричал на них, они медленно уходили в угол и снова возвращались

на середину пола. Потом они вовсе перестали обращать на него внимание, точно его не было в комнате, ходили, царапались, пищали и чуть не довели его до слез. Ему страстно хотелось их убить.

Снова наступил провал — не то сон, не то обморок. Луна ушла в тучи, разливая ровный млечный свет. Скрипнув дверью, вошел Жуканов. В комнате потянуло холодком. Матвеев неприязненно поглядел на него и полузакрыл глаза. Сквозь опущенные ресницы он видел, как Жуканов отряхивал рукой снег с левого бока. «Он упал на левый бок»,— вспомнил Матвеев.

Жуканов подвинул стул к кровати и сел. Сняв шапку, он разгладил редеющие волосы и начал что-то говорить, улыбаясь и вопросительно глядя на Матвеева. Матвеев устало молчал, не слушая его. Голова тяжело лежала на горячей подушке. В висках быстрыми ударами билась кровь. Он обернулся — в окне никого не было.

Нога не болела — он не чувствовал ее. Иногда, касаясь подушки, он испытывал быструю, пронизывающую боль от скулы до плеча. Может быть, и плечо тоже ранено? Вряд ли, Безайс сказал бы об этом. Это у Жуканова в плечо. В плечо и в грудь — под горлом...

Тут он отчетливо увидел, как стоявшая на комоде гипсовая собака подняла заднюю ногу и почесала у себя за ухом привычным собачьим жестом, а потом снова застыла в неестественной окаменевшей позе. Это его удивило.

— Скажите, пожалуйста! — прошептал он.

Жуканов настойчиво тронул его рукой. Матвеев поднял глаза и заметил, что он сердится. О чем это он? Опять о лошадях? Боже, как это надоело!

— Я ничего не знаю, спросите у Безайса. Не лезьте руками, у вас пальцы холодные. Что? Мне до этого нет никакого дела: видите, я болен.

Тучи за окном рассеялись, и лунный свет мягко разлился по комнате. На одеяло легла тень оконной рамы. За стеной раздался осторожный бой часов. Матвеев натянул одеяло на голову, но снова высунулся.

— Вы ужас как много болтаете,— сказал он, сердито поглядывая на Жуканова.— Оставьте меня в покое! Я ничего не знаю, понимаете? Чего вы ко мне пристали? Уходите отсюда.

Жуканов сгорбился и виновато улыбнулся. Это привело Матвеева в ярость.

— Убирайтесь к черту, старый попугай,— закричал он, садясь на кровати.— Убирайтесь, или я встану и хвачу вас по башке!

Он нащупал бутылку и сжал ее в руке. Жуканов встал.

— Я тоже ранен,— сказал он глухо.— В плечо и в грудь — под горлом. Я тоже ранен, заметьте это...

Матвеев почувствовал режущую боль. Тело ослабело, подогнулось, как бумажное, и само опустилось на кровать. Бутылка,

звеня, покатилась по полу. Он задыхался. Над ним наклонилась Варя, натягивая ему иа плечо одеяло. Матвеев отстранил ее рукой.

— Я еще разделаюсь с вами, старый осел,— сказал он, высовывая голову и морщась от нестерпимой боли в плече.

Его томнло желание крепко выругаться, но присутствие Вари мешало ему. Придерживая рукой рубашку иа груди, она накрывала его одеялом и говорнла что-то. Матвеев послушно повернулся на другой бок.

— Идиот,— сонно пробормотал он, закрывая глаза.

Боль медленно гасла. Слабость тихо разлнлась по телу до кончиков пальцев. Варя приложила руку к его горячей голове.

— Сколько у него? — спросил кто-то.

— Вечером было сорок и шесть десятых.

— Не дать ли ему хины?

Матвеев не хотел пнть хину. Чнркнули спнчкой, на стене заколебались тени. Кто-то прошел по комнате, осторожно ступая босыми ногами.

— Я не хочу пить хину,— сказал Матвеев.

Ему ие ответили.

— Мама, принеси полотенце и уксус,— сказала Варя.

«Это еще зачем?» — недовольно подумал Матвеев.

Он хотел сказать, что ему ие надо ни полотенца, нн уксуса, но тотчас забыл об этом. Он заснул сразу и ие слышал ничего.

Сколько прошло времени — год или неделя,— этого он ие знал. Он еще жил в призрачном н страшном мнре, перед ним проходили далекие пережитые дни. Старые товарищи садилнсь на кровать говорить с ннм о боевых делах, и он снова пережнвал восторг и ужас горячих лет. В сумерках своей комнаты ои слышал команду — она звучала, как призыв, и заставляла дрожать от возбуждения. Ему хотелось стать иа свое место в строй; броснться вместе со всеми и кричать отчаянное слово «даешь!».

Было рождество — веселое морозное рождество с жареным гусем, ангелами из ваты и старой елкой. На кухне бушевал огонь, и Александра Васнльевна ходнла, распространяя запах ванили и сливок. Это было ее время — никто ие смел с ией спорнть или прнкуривать иа кухне. Когда запекали окорок, казалось, что в доме случнлось несчастье. Она то звала помогать, то гнала всех и иесколько раз принималась плакать. Окорок вышел хороший, темно-красный, его поставнли в столовой н привязали к нему кокетлнвую бумажную манжетку.

Елку прншлось делать в спальне, потому что столовая была рядом с комнатой Матвеева. Несколько дней шла возня с разноцветными цепями н флагамн. Безайс говорил, что все это предрассудкн, вздор и что для передового человека елка является

таким же грубым пережитком, как каменный топор. Варя немного поколебалась, но потом сказала, что она всегда так думала. И когда вечером зажгли свечи, около елки были только родители и малыши: они ходили вокруг сверкающего дерева и вполголоса, чтобы не разбудить Матвеева, пели: «Как у дяди Трифона было семеро детей...»

В семье к Матвееву было особое отношение. В этот тихий дом он вошел, как легенда, озаренный мрачной славой отчаянного и гордого человека, не щадящего ни себя, ни других. Они никогда не видели смелых убийц, кладоискателей, знаменитых поэтов и других необыкновенных людей, идущих своим сказочным путем. Отец, Дмитрий Петрович, тридцать два года плавал по реке от Николаевска до Сретенска взад и вперед, без всяких приключений. Ему не суждено было причаливать к незнакомым берегам, где без устали щебечут радужные птицы, растут странные цветы и черные люди отдают золото за осколки стекла. На выцветшей фотографии в столовой он был снят, когда впервые надел нашивки механика,— худощавый, в баках, с прямым взглядом светлых глаз. Сначала он водил зеленый с кормовым колесом пароход «Отец Сергий», возивший вверх соленую кету, дешевый миткаль, японские веера, спички и иголки. Вниз, от Сретенска, он шел налегке, захватывая иногда пассажиров — волосатых, обветренных забайкальцев, едущих в низовье на заработки. «Отец Сергий» принадлежал «Береговой компании Николаева и Сомова в Хабаровске» и был единственным пароходом компании. Дмитрий Петрович вступил на пароход через неделю после смерти старого капитана.

«Отец Сергий» был изумительно дряхлым судном, старым, как река, как седые амурские камыши. «Береговая компания» сама удивлялась, когда «Отец Сергий» снова возвращался из плавания в Хабаровск и, надсаживаясь, орал у пристани. Он держался на воде прямо-таки чудом, вопреки рассудку. Его старый зеленый кузов, заплатанный в десятках мест, ржавая труба и грязная, в щелях, палуба наводили на мысль о вечности. Он плавал, поразительный, как миф, старческими усилиями бороздя голубые волны громадной реки.

Восемь лет Дмитрий Петрович водил «Отца Сергия» по реке, продавая береговым селам кету, дробь и ситец. Дела «Береговой компании» шли неважно. Компания однажды сделала предложение Дмитрию Петровичу вступить в долю, но он отказался,— было бы безумием всаживать деньги в эту груду ржавого железа и старого дерева. Тридцати одного года он перешел помощником механика на «Даур» и женился.

Его заветной мечтой было получить большой пассажирский пароход. Это было бесконечной темой семейных разговоров. «Когда отец получит пассажирский»,— так начинались все предположения о спокойном, твердом будущем. Маленькой Варе пассажирский пароход рисовался добрым, щедрым богом. Пассажир-

ский пароход вошел в быт, сжился с мельчайшими разветвлениями жизни. Его так долго ждали, что уже казалось невероятным, чтобы отец не получил его. С летами Дмитрий Петрович похудел еще больше, его волосы и брови побелели. На пятом десятке лет, когда он добился уже звания старшего механика, мечта о пароходе казалась особенно близкой и осуществимой.

Варя отчетливо, до мелочей, помнила этот весенний прозрачный день, когда принесли повестку из конторы. Мама мыла окна в столовой, на дворе бестолково кричал петух. Посыльный вошел, спугнул ребят, возившихся на пороге, и передал маме большой конверт. Папу вызывали в контору.

В походке и разговоре посыльного, в конверте с печатью, в вежливом и лаконичном письме конторы чувствовалось что-то необычайное, новое. Папа молча оделся, поцеловал маму и ушел, бледный и торжественный. Даже «переплетчики» затихли, чувствуя, что наступил большой день. Мама зажгла лампадку и послала Варю догнать отца,— он забыл носовой платок.

Он вернулся домой поздно, усталый, и прошел в столовую, не сняв фуражки с седой головы. Его назначили на берег ремонтным смотрителем,— покойная работа для стариков. О пассажирском пароходе надо было забыть, но трудно забывать такие вещи, хранимые десятками лет. В этот день не ужинали, не смеялись, даже не разговаривали, точно умер в семье близкий человек.

Для Матвеева была отведена угловая комната, где обычно гостей поили чаем. Он лежал полусонный и, ничего н сознавая, смотрел прямо перед собой. Он выздоравливал медленно, сознание действительности возвращалось к нему кусками — иногда он отчетливо видел Безайса, Варю, каких-то незнакомых людей и разговаривал с ними. Он знал, что ему отрезали ногу, но не успел ни удивиться, ни испугаться — снова наступил бред, и комната наполнилась говором, шелестом листьев и звяканьем копыт по странным, неезженым дорогам. Иногда было больно, но он умел болеть и глотать лекарства молча и быстро.

Не то это был бред, не то на самом деле произошел такой случай,— этого он не помнил,— но однажды он увидел Безайса, сидевшего у него на постели. Безайс глядел ему прямо в глаза и долго молчал, потом сказал:

— Тебе отрезали ногу, старина, ты знаешь?

Матвеев думал, закрыв глаза, потом открыл их. Прямо перед ним висел в рамке похвальный лист, выданный ученику Волкову Дмитрию за отличные успехи и примерное поведение Недалеко от похвального листа к стене был приколот рисунок, изображавший огромную бабочку с толстыми усами и лапами, сидевшую на небольшом, унылого вида цветке. Бабочка смахивала на паука, и Матвеев с трудом привыкал к ней. Его

особенно сердили бессмысленные глаза бабочки и неестественно толстые лапы.

— Знаю,— сказал он.— Нельзя ли убрать отсюда эту мазню?

Безайс встал и снял рисунок, потом снова сел на кровать.

— Я знаю,— повторил Матвеев, что-то вспоминая.— Это для меня костыли там?

А потом он вдруг увидел, что Безайса нет, а на его месте сидит военком 23-й бригады, товарищ Брагин, с которым он прошел насквозь Область Войска Донского и Украину, и Кавказ — в Батуме они купались в море и ели золотистые апельсины. Такая же была борода кустами и жестоко потрепанный френч. Голубоглазая гипсовая собака спрыгнула с комода, подошла, стуча неживыми ногами, и стала нюхать рыжие брагинские сапоги.

Но иногда по ночам он вдруг просыпался с ясной головой, лежал, прислушиваясь к тихим ночным шорохам, и думал, пока не засыпал снова. Многое теперь было кончено для него — и лошади и футбол,— уже не бегать ему больше, обгоняя других. Все это было уничтожено шальным выстрелом на большой дороге около чужого города. Ему было жаль свое сильное, хорошо сложенное тело, и он с медленной тоской вспоминал ясный июльский день, когда они побили седельскую команду.

Но ко всему этому примешивалось небольшое тщеславие, на которое всегда имеет право человек, сделавший больше других. Это была честная солдатская рана. В конце концов, не каждый может сказать о себе то же самое.

Понемногу им овладела одна мысль — встать с постели. Иногда ему даже снилось, как он надевает на правую ногу ботинок, берет костыли и необычайно быстро ходит по комнате. Ощущение во сне было до того реальное, что, просыпаясь, он чувствовал под мышками легкое давление от костылей. Но он знал, что вставать пока еще нельзя, и потому терпеливо ждал, когда придет его время. Тут, в постели, он приобрел внимательность к мелочам. Он пересчитал, сколько прутьев в спинке кровати и половиц в комнате, следил, как на окне нарастают новые узоры льда. Сначала он замечал вещи — они неподвижно стояли на местах, их было легче запоминать. Людей он стал замечать потом.

Это было утром, в пятницу. Он чувствовал сильный голод. За окном густыми хлопьями падал снег. Голова не болела, но во всем теле были слабость и лень. Он оглянулся и увидел, что у дверей стоит маленький стриженый мальчик в брюках на помочах и с любопытством смотрит на него. Заметив, что Матвеев проснулся, он сконфузился и начал царапать ногтем пятно на двери.

В ноге был такой зуд, что Матвееву хотелось снять повязку. Он с трудом подавил в себе это желание.

Дверь приоткрылась, и в комнату просунулась еще одна стриженая голова, но тотчас спряталась.

— Молодой человек,— сказал Матвеев, удивляясь, что его голос звучит так слабо,— вы принесли бы мне чего-нибудь поесть. Какую-нибудь котлету или булку.

Мальчик сконфузился еще больше. Он, видимо, не ждал такого внимания к себе, и это угнетало его.

— Котлет сегодня нет,— раздался за дверью несмелый голос.— А булки мама заперла в буфет.

— А что есть?

— Есть пирог с рисом и яйцами.

— Давайте.

Оба мальчика убежали. Через несколько минут они вернулись, красные, тяжело дыша, и, оспаривая друг у друга честь накормить Матвеева, принесли ему большой кусок пирога. Они робели перед ним, но костыли делали Матвеева неотразимым, и они не нашли в себе сил оторваться от этого зрелища. Они были почти одного роста, одинаково одеты и так походили друг на друга, что Матвеев путал бы их, если бы один не был отмечен большой красной царапиной через подбородок и клетчатой заплатой на брюках. Они очень походили на Варю круглыми лицами и большими серыми глазами. С трогательным вниманием следили они за каждым движением Матвеева, и он чувствовал себя ответственным за выражение лица и каждый свой жест. Вошел Безайс. Он поймал обоих мальчиков за уши и вывел их из комнаты. Они покорно последовали за ним.

— У меня с ними свои счеты,— сказал Безайс, раздеваясь.— Вчера я поймал их за тем, что они лежали на полу и выкалывали глаза семейным фотографиям. А это что такое?

— Это пирог с рисом и яйцами.

— Их придется все-таки высечь, этих мальчишек. Папаша говорит, что он поседел из-за них, и я начинаю ему верить. Ты не смотри, что у них такой скромный вид,— они свирепствуют в доме, как чума. Сегодня они успели уже высадить окно на кухне, и я заклеивал его газетой. А тебе полагается сегодня манная каша и слабый чай с молоком и сухарями. Пирогов тебе есть нельзя. Пироги сейчас для тебя опаснее яда,— это все равно, что есть битое стекло. Брось сейчас же, слышишь?

Но Матвеев знал его привычку преувеличивать и спокойно кончил свой пирог.

— Ну что ж, я умываю руки. Ты знаешь, что ты разделывал? Ты выл и царапался. А помнишь, как ты опрокинул мне на брюки полный стакан отчаянно горячего чая? Я зашипел и теперь не могу спокойно глядеть на чай. Тогда я промолчал, но теперь я обязан сказать, что это было подлостью.

Матвеев облизнул губы.

— Ладно, давай манную кашу. Я очень хочу есть. Кто это такая — Александра Васильевна?

— Это ее мать. Очень толстая и добрая женщина. Между прочим, ты ей страшно понравился. Она говорит, что ты очень похож на ее двоюродного брата, который был умен и замечательно красив. Но ты, впрочем, не очень-то задавайся — ты похож на него только глазами и подбородком.

— У нее есть родинка на щеке?

— Ты разве ее видел? А я знаешь на кого похож?

— Безайс, я есть хочу.

Безайс вышел и долго не возвращался. За дверями слышались шаги и отрывистый разговор. Матвеев начал уже терять терпение, когда вошла Варя, неся поднос с дымящимися тарелками и стаканами.

— Доброе утро! — сказала она, ставя поднос на табурет около кровати.— Это Котька принес тебе пирог?

— Их было тут двое.

— Ты сумасшедший. Пирог сейчас слишком тяжел для тебя.

— А это что такое?

— А это манная каша.

Варя села около кровати, придвинула стул и посыпала сахаром дымящуюся тарелку манной каши. В дороге Варя почти не снимала пальто и платка, и теперь он в первый раз видел ее в домашней одежде. Она была в сером клетчатом платье и белом переднике. Волосы были гладко зачесаны, и сбоку около левого уха повязан кокетливый бантик, который ей очень шел. Она выглядела очень миловидной и, казалось, сама догадывалась об этом.

Он был очень слаб, его все время клонило ко сну. В разговоре он часто забывал начало фразы и подолгу вспоминал, о чем шла речь. Одна вещь очень удивляла его. Перед тем как его ранили, в левом ботинке сквозь подошву вылез гвоздь, и Матвеев оцарапал о него большой палец. Теперь, лежа в кровати, он чувствовал, как болит на отрезанной ноге этот палец. Он не понимал, как это могло быть, но ощущение было совершенно ясное.

Родители Вари пришли на другой день. Матвеев видел их раньше, но не разговаривал еще с ними, занятый своими, одному ему понятными мыслями. Мать Вари была полная, невысокого роста женщина с обильными родинками на круглом начинающем стареть лице. Она была в том возрасте, когда появляются первые морщины, блекнут волосы и платье не сходится на спине. Она вошла, вытирая руки о фартук, поздоровалась с Матвеевым и села около кровати. Матвеев подумал, что, встретив ее на улице, он сразу догадался бы, что она мать Вари,— до такой степени они походили друг на друга.

Через несколько минут пришел отец. Он пожал Матвееву руку, коротко представился: «Дмитрий Петрович Волков»,— и сел на стул, прямой и смущенный.

Родители сидели у Матвеева долго. Первое время они не знали, о чем говорить, пока не спросили, как здоровье Мат-

веева. С этой минуты разговор попал в верное русло и потек непринужденно. Отец и мать оживились. Разговор о здоровье и болезнях был знакомой, испытанной темой, которая никогда не дает осечки. Они вспоминали десятки историй о ранах, простудах и вывихах. Все это клонилось к тому, что хотя его, Матвеева, рана и серьезна, но что бывает и гораздо хуже, и надо радоваться, что пуля не попала в спину или, чего избави бог, в голову. Все сходились на том, что в этом случае Матвеев умер бы. Александра Васильевна говорила о болезнях со знанием и опытом женщины, воспитавшей троих детей. Дмитрий Петрович тоже знал толк в этих вещах. Сначала Матвееву было скучно, но потом он увлекся сам. Его распирало желание рассказать случай с мальчиком, который засунул в ухо бумажный шарик,— он выждал время и вставил в разговор эту историю.

ОСТАВАЙСЯ ЗДЕСЬ

— Дала бы ты мне лучше чего-нибудь мясного. Манная каша мне опротивела, я зверею от нее.

Матвеев лежал, опершись о локоть, и капризно мешал ложкой кашу.

— Ведь нельзя, Матвеев,— сказала Варя.— Ты же не маленький.

— Конечно, не маленький. А ты кормишь меня кашей. Хоть небольшой ломтик мяса, а? Что от него сделается?

— Нет, нельзя. Если б даже я согласилась, Безайс все равно не позволит.

Она помогла ему подняться и положила подушки за спину. Матвееву не понравилось, что она так ухаживает за ним. Ему не хотелось казаться беспомощным.

— Пусти,— сказал он с досадой.— Тебе, может быть, кажется, что я умираю?

— Вовсе нет,— ответила она растерянно.

Матвеев взял тарелку и начал медленно есть.

— Что слышно? Где сейчас фронт?

— Я ничего не знаю.

— Но этого быть не может.

— Честное слово, не знаю!

— А я знаю,— сказал Матвеев, беря хлеб.— Это все Безайсовы штуки. Он запретил говорить об этом? О, я знаю его. Если он вздумает что-нибудь, то скорее даст себя убить, чем откажется от своих глупостей. Он, наверно, расхаживает сейчас по дому, рассказывает, как ему на фронте вырезали опухоль и кричит на всех.

— Это правда,— засмеялась Варя.

— А он делает что-нибудь? — сказал Матвеев, помолчав.

— Не знаю. Он ничего мне не говорит.

— Он ходит куда-нибудь?
— Его целыми днями нет дома. А что он должен делать?
— Надо подумать об отъезде. Не целый же год мы будем сидеть здесь.
— А разве вы не останетесь, пока придут красные?
— Конечно нет. Кто их знает, когда они придут.
— А твоя нога?
— Нога заживет.

Дверь неслышно приоткрылась. Сначала осторожно показалась нога в стоптанном башмаке. Вслед за тем появилась круглая голова с оцарапанным подбородком. Котя, младший из мальчиков, несмело осмотрелся и уставился на Матвеева. Он внимательно оглядел кровать, табурет, тарелки и стаканы. Несколько минут он изучал Варю, а затем перешел к повязке Матвеева. В его широко раскрытых глазах отражалось преклонение и любопытство. Матвеев сделал сердитое лицо, но мальчик не уходил.

— Но ты не можешь так рисковать,— сказала Варя, теребя оборку передника.— Куда вы поедете, не зная дороги и не имея документов? Вы попадетесь при первом же случае. Ты не имеешь права ехать на верную смерть.
— Так уже сразу и смерть!
— Ты мне ни в чем, совершенно ни в чем не веришь,— сказала она с каким-то новым оттенком в голосе.
— Да ничего подобного!
— Я не понимаю: зачем так рисковать? Ведь гораздо лучше просто подождать, когда придут красные. Много будет пользы, если вас убьют?
— Я обо всем подумал,— сказал Матвеев, ставя пустую тарелку и вытирая губы.— Пожалуйста, не беспокойся. Я знаю что делаю.
— Как хочешь. Это не мое дело, да?
— Я этого не говорил.

Она отвернулась и заметила стоявшего у двери мальчика.
— Ты здесь? Что тебе надо?

Мальчик перевел глаза на Варю, подумал и стал шаркать ногой по полу.
— Ну, иди сюда, не бойся. Скажи дяде «здравствуйте». Иди, глупыш, он не кусается. Где ты оцарапался?

Она порывисто встала, подошла к мальчику и опустилась на колени.
— Бедный малыш, тебе попало от папы? Правда, Матвеев, хорошенький мальчуган? Ты, я вижу, даже не умывался сегодня. Смотри, какие лапки грязные,— бяка! Но ты больше не приноси ему пирогов с рисом,— он не слушается твоей сестры. Понимаешь?

Она нервно рассмеялась.
— Что же ты молчишь? Дядя подумает, что ты немой. Где мама сейчас?

Мальчнк смотрел вбок, иаклоинв голову, и сконфужеиио молчал. Варя иахмурилась.

— Ну, ие упрямься,— сказала оиа резко.— У тебя иет языка, малеиький бука? Где мама? На кухие, да?

Ои поднял голову и улыбиулся, ие поиимая, чего оиа хочет от иего. Варя покраснела, схватила его за плечо и вытолкала за дверь. Обериувшись, оиа заметила на себе скучающнй взгляд Матвеева, и ее возбуждеине разом упало. Она подошла, смущенная, к его кровати и села.

— Ты меня считаешь дурой сейчас? — спросила оиа, иерешнтельио подиимая иа иего глаза.— Только скажи прямо, как ты думаешь, ие скрывай.

— С чего ты взяла? Разумеется иет.

Матвеев чувствовал себя тягостио.

— Ты ие думаешь, что я мещаика и что у меия иет ннтересов?

Он вздохиул.

— Я не поннмаю, зачем ты это спрашнваешь. Коиечио иет.

Варя встала.

— А если я попрошу тебя об одиой вещн? — сказала она.— В этом нет иичего особеииого, честиое слово.

— О чем?

— Чтобы ты остался здесь, пока ие придут красиые. А Безайс может поехать.

— Какая ты страиная,— сказал Матвеев, криво усмехаясь.— Ведь надо же мне ехать. Мы н так потерялн много временн.

— Я ие зиаю. Но еслн я тебя попрошу, понимаешь? Очень попрошу?

— Ну, хорошо,— ответил Матвеев, опуская глаза.— Я какинбудь попробую.

Оин помолчали, не глядя друг на друга. Варя собрала тарелкн н вышла нз комнаты. В дверях оиа столкнулась с Безайсом.

Безайс был в прнподнятом настроеиии. У него был внд человека, с аппетнтом позавтракавшего, довольиого собой и миром.

— Слушай, старина,— сказал он возбужденно.— Как только ты научншься жевать твердую пищу, я дам тебе попробовать здешннх бнтков с луком. Оиа делает их отлнчно. Я почти отвык от горячего мяса н сейчас ел будто впервые. Нам очень повезло, что мы иаткнулнсь иа Варю. Я прощаю Майбе, что ои выбросил иас из вагона. Что я делал бы с тобой, если бы ие это тнхое семейство?

Матвеев лег н укрылся одеялом.

— Очеиь жаль, что тебе здесь так поиравнлось. Мы должны уехать как можно скорее. Ты предпрниимаешь что-ибудь?

— Куда ехать?

— Дальше, в Прнморье. Это для тебя новость?

— А твоя иога?

— Мне это надоело. Что, я умираю, что ли? Скоро я вполне смогу ехать. И, пожалуйста, держи язык за зубами. Не говори Варе ничего об отъезде. Она, конечно, хорошая девица, но лучше об этом помалкивать. Если она спросит, когда мы едем, то говори, что когда придут красные.

— Это все? — спросил Безайс.

— Все.

— А теперь послушай меня,— сказал Безайс торжественно.— Ровно неделю ты не выйдешь из этой комнаты. Сначала ты будешь лежать и есть манную кашу. Дня через три ты побалуешься сухарями. А если не будет лихорадки, мы устроим тебе оргию из куриного бульона, рисовой каши и слабого чая. Не падай духом — если тебе очень повезет, я позволю тебе пройтись немного по двору.

— Безайс, не зазнавайся! Сейчас я встану и вышибу из тебя дух.

— Меня изумляет забавная наглость этого негодяя,— сказал Безайс, показывая на Матвеева и как бы обращаясь к публике.— Ты встанешь? А ты знаешь, сколько вытекло из тебя крови? У тебя закружится голова при первых шагах. Надо лежать и лежать. Я знаю толк в этих вещах, мне самому пришлось их попробовать.

— Только не повторяй мне истории о твоей опухоли,— сказал Матвеев, смеясь и хмурясь.— У меня хватит силы запустить в тебя ботинком.

— Я хочу на это посмотреть,— ответил Безайс.

КАФЕ

Через несколько дней вечером Безайс зашел в комнату Матвеева и остановился на пороге. Матвеев, совершенно одетый, стоял посреди комнаты и, нерешительно улыбаясь, медленно двигался к окну. В первый раз Безайс увидел его на костылях и был поражен этим.

Матвеев поднял голову.

— Только молчи,— сказал он.— И не подходи близко. Знаю, знаю. Ты мне надоел.

— Кто же помог тебе одеться?

— Сам. От начала до конца. Это надо уметь. Ботинок был под кроватью в самом углу, я достал его костылем. Самое трудное были брюки.

Он сделал еще шаг и остановился, с любопытством глядя на костыли.

— Они стучат страшно, как товарный поезд. Но ничего, я привыкаю уже. Смотри.

Он дошел до окна и вернулся обратно.

— Видел? — сказал он.— Ну, что ты мне скажешь? Безайс, будем говорить серьезно: дальше так идти не может.

— Что?

— Надо что-то делать. Мне надоело тут до смерти. Еще неделя — и я буду ходить свободно. А ты ничего не делаешь, прямотаки пальцем не шевелишь. Так нельзя, Безайс.

— Ну, что же мне делать?

— Ехать дальше,— вот что. У меня чешутся руки. Ты чтото говорил о романтике, вот теперь она и начинается. Ты выяснишь, можно ли ехать по железной дороге или нельзя. Если нет, поедем на лошадях. Там, наверное, думают, что нас убили или что мы испугались. Это я предлагаю тебе категорически, и чем меньше ты будешь рассуждать, тем лучше.

— Ты пойми, что это невозможно.

— Оставь. Мы обязаны доехать и начать работу.

— Дурак, да ведь это место черт знает где — в тайге. Туда и здоровым людям трудно добраться, а как же ты?

Матвеев подошел к кровати и сел.

— Это неприятный разговор, Безайс, но обойти его нельзя. Я замечаю за тобой некрасивые вещи. Тебе не хочется уезжать отсюда. Из-за Вари, правда? Как идет твое ухаживание? Тебе, кажется, повезло?

Безайс опустил голову.

— Повезло,— сказал он, улыбаясь.— Страшно повезло.

— И далеко это у вас зашло?

— Так далеко,— ответил Безайс с расстановкой,— что дальше некуда.

— Я заметил. Она теперь так кокетливо одевается, что это бросается в глаза. Недавно она пришла ко мне напудренная. Я спросил, для кого она напудрилась,— и она страшно смутилась. Я рад за тебя, но нельзя же из-за пухленькой дурочки забывать партийную работу. Почему ты по вечерам никогда ко мне не приходишь? С ней небось обнимаешься?

— Может быть, с ней,— сказал Безайс, страдая от этой вынужденной лжи.

Матвеев встал и снова прошелся по комнате. Его занимало новое ощущение.

— Это немного смешно,— сказал он.— Как на ходулях. Ты куда?

— Мне надо пойти сейчас часа на два.

— Ты подумай все-таки об этом. Все хорошо в свое время. Некогда сейчас волочиться за бабами.

— Я подумаю,— сказал Безайс, открывая дверь.

Он вышел на улицу. Плавал легкий, напитанный лунным светом туман. Из аптеки через большие цветные шары на дорогу падали малиновые, синие и зеленые полосы света. Около фонарей воздух колебался матовыми волнами. Безайс легко поддавался впечатлениям, и теперь эти залитые лунным молоком

улицы чужого города будили в нем странное чувство. Ему казалось, что он точно со стороны видит себя самого, идущего неизвестно на что.

— Жизнь собачья,— прошептал он.

Матвеев выматывал из него душу. За эту неделю Безайс чувствовал себя так, точно пережил большую жизнь. Некоторые вещи легче делать, чем говорить о них. Он ругал себя за это, но у него не хватало духа поговорить с Матвеевым начистоту.

Он остановился перед дверью подвала. Здесь было кафе «Венеция»; над входом висела вывеска, на которой были нарисованы море, солнце, горы и деревья. Снизу доносился грохот музыки. Любопытные, нагибаясь, заглядывали в мокрые окна. Безайс спустился по избитым ступенькам, открыл запотевшую дверь и вошел.

В обычное время «Венеция» возбуждала бы в нем неприязнь, но теперь каждая мелочь этого кабака доставляла ему острое наслаждение. Это зависит от того, как глядеть на вещи. Для Безайса «Венеция» была первой в жизни конспиративной явкой. С ней у него связывались все представления о настоящей подпольной работе, и это облагораживало «Венецию»,— даже пиво, которое Безайс ненавидел и раньше не мог пить вовсе, теперь казалось ему не таким уж плохим.

Он подошел к крайнему столику в углу и заказал себе пару пива. Народу было немного. У стены, выкрашенной масляной краской, стояла фисгармония, за которой сидел тапер с длинными волосами, в блузе. Он играл добросовестно, изо всех сил, и Безайс уставал сам, глядя на него. Он бил по клавишам, и жилы вздувались у него на шее. По углам стояли полосатые пальмы. За столиком посреди комнаты сидели тесно шесть человек и пили пиво. Они были пьяны, но еще больше хотели казаться пьяными, орали что-то, стучали стаканами и много курили. За другим столом сидела проститутка с бесцветным лицом, в платье с короткими рукавами и в валенках. Компания ухарски переглядывалась с ней, но пригласить не решалась.

Настоящий пьяный сидел за столом около стойки. Он был готов — его можно было убить, и он не обратил бы на это внимания. Только когда женщина встала и, шаркая валенками, прошла мимо него, он вскинул голову и оглушительно крикнул:

— Цыпочка!

— Дурак,— сказала она, не оборачиваясь.

Над дверью звякнул колокольчик. Вошел пожилой человек в мохнатой шапке, огляделся и, увидев Безайса, подсел к его столику.

— Пива,— сказал он половому.

У него было худое, слегка косоглазое лицо. Это был товарищ Чужой. Безайсу он нравился, нравился до того, что одно время Безайс сам начал машинально косить глазами. Чужой казался ему изумительным человеком, умным и фанатичным.

Такими он представлял себе народовольцев. Он связался с ним через доктора. Доктор стоял от всего в стороне, но людей знал, ему доверяли, иногда прятали у него литературу.

— Я вам дам адрес одного вашего,— говорил он Безайсу, желчно улыбаясь.— Тоже такой же — заладил о пролетариате, о партии и больше не знает ничего. У вас, у большевиков, не хватает остроумия — вы все как один.

Тапер оглушительно ударил по клавишам, и с пальм посыпалась пыль. Чужой, не глядя на Безайса, спросил:

— Ну как?

— Все вышли. Нужно еще.

— Это кто в Гречихе расклеивал?

— Симоненко.

— Мало. Пошли туда двоих-троих. По набережной можно не расклеивать, все равно там никто не видит. Осипа арестовали.

— Ну-у?

— Вот и ну. За тобой никто не ходит?

— Не видать.

— Осторожно надо. Квартира у тебя надежная?

— Чужой, я хотел поговорить с тобой об этом,— сказал Безайс, еще более понижая голос.— Просто терпенья никакого нет. Ты знаешь,— этот парень, который приехал со мной, он уже начинает ходить. Я сейчас отвиливаю от него, и он не знает, где я бываю. Но в конце концов он узнает и тогда уж дома не усидит. Скучно сидеть так, сложа руки. Я хотел тебя просить, поговори с Николой, может быть, можно у меня на квартире совещание актива провести. За хозяев я ручаюсь, они не выболтают.

— Зачем это?

— Понимаешь, чтобы он немного встряхнулся. Парень тоскует сейчас. Он все время был на работе,— ему очень трудно ничего не делать. Сейчас требует, чтобы я ехал с ним дальше, не понимает, что ему нельзя. Пусть он побудет на совещании, заинтересуется местными делами. Мне кажется, тогда он спокойнее будет сидеть дома и лечиться. А квартира близко, и там совершенно безопасно. Поговори с Николой.

— Ну, Николу нелегко будет уломать.

— Почему?

— Ни почему. Скажет — нельзя, и все.

— Поговори все-таки.

— Я поговорю.

Пьяный беспомощно пошевелил ногой и еще ниже нагнулся над кружкой. За столом шумно расплачивалась компания. Чужой глазами указал Безайсу на них.

— Выходи вместе с ними, так незаметней. Я выйду позже. Подожди меня около часового магазина, если увидишь, что никто не следит.

Безайс кивнул головой. Начиналось самое необычайное, са-

мое лучшее, что было у него в жизни. По вечерам он ходил с Чужим на работу — мыл паспорта, расклеивал воззвания, таскал какие-то вещи и оружие. Поймать могли каждую минуту — поймать и убить. Это придавало его жизни какой-то новый вкус.

Он встал, замешался в толпу и пошел к двери. Они толкались и грузно наступали на ноги. На улице Безайс огляделся,— не было никого. Тогда он отошел к часовой лавке, остановился под большими жестяными часами, скрипевшими на ветру, и стал ждать Чужого.

НЕБОЛЬШАЯ ПРОСЬБА

С того времени как Дмитрий Петрович перешел на береговую службу, воскресные дни сделались для него просто наказанием. Он не знал, что ему делать со свободным временем. По дому он не нес никаких обязанностей. Александра Васильевна и Варя вели все хозяйство, и он не знал даже, где что лежит. Такой порядок установился с того времени, когда он плавал по реке и по неделям не бывал дома. Он привык к холодным, росистым вахтам над дымящейся в утреннем полумраке рекой, к шуму воды, кипящей под колесом, к грохоту якорных цепей. С переходом на берег жизнь опустела. Его голос, привыкший к громкой команде, казался странным и незнакомым в маленькой гостиной, оклеенной розовыми обоями. Он слонялся по комнатам, не зная, куда девать себя. Ему поручали вбить гвоздь на вешалке или поставить мышеловку в чулане, потому что мать боялась крыс.

Иногда он решал учить мальчиков математике, и «переплетчики» чувствовали себя, как грешники в страшный Судный день.

— Ну-с, приступим,— говорил папа, и это звучало, как труба архангела.

Они садились, покорные, грустные, с тоской глядя в клетчатые тетради, и погружались в четыре действия арифметики.

Но по воскресеньям, когда не надо было идти на работу, становилось совсем плохо. Сажать мальчиков за арифметику в праздник нельзя — эта наука придумана для будней. Он шел на кухню, смотрел, как Варя и Александра Васильевна месят тесто или чистят картофель, говорил, что надо замазать окна, или рассказывал сон, который приснился в эту ночь, и брел дальше. Он хватался за всякий предлог — придвигал диван к стене или подкладывал щепку под ножку стола, чтобы он не качался. Когда все было исчерпано и безделье надвигалось на него, он шел к кошке и заводил с ней нескончаемый разговор.

— Ну, что ты, кошка, а? — говорил он, когда она лениво и небрежно терлась об его ногу.— Ну, чего тебе надо, а? Ты что же это мышей не ловишь? Кошка, кошка... Ну, чего тебе? Колбасы небось захотелось? — Так он разговаривал с ней, пока утомленная кошка не уходила на кухню.

Но с того времени, как в доме появились Матвеев и Безайс, его дни наполнились новым содержанием. Одно то, что у него скрываются большевики, опасные люди, которых могут поймать, доставило ему много дела. Надо было ходить в аптеку, приносить и уносить самовар и драть мальчиков за уши, чтобы они не лезли к Матвееву. Сам Матвеев возбуждал в нем жгучее любопытство. Он расспрашивал Матвеева о его жизни и никак не хотел верить, что он такой же, как все.

Когда Матвеев начал поправляться, Дмитрий Петрович заявил, что он будет занимать его и не даст ему скучать. Матвеев сначала вежливо слушал его длинные истории и ветхие шутки, а потом начал уставать. Тогда он выучился лежать с внимательным выражением на лице, думая о своих делах, и время от времени в нужных местах произносить ничего не значащие слова:

— Ишь ты... Так, так...

Но иногда старик наседал на него всерьез, и с ним ничего нельзя было поделать. За тридцать лет плавания в нем скопилось много всяких воспоминаний, и они искали выхода. Матвеев был для него прямо-таки находкой.

Иногда заходила Александра Васильевна, приносила горячие пышки со сметаной, ватрушки, сладкие пирожки. Матвееву она смутно нравилась, но он почти не замечал ее. Ему не хотелось думать ни о Варе, ни о ее родителях; у него были свои мысли, которые были больше всех этих пустяков.

В это воскресенье в его комнате вымыли пол, принесли длинный фикус в обернутом цветной бумагой горшке. Матвеев достал себе глупейшую книгу «Лорд-каторжник» и скучал над ее истерзанными листами. Книге было лет пятьдесят, от нее пахло мышами и плесенью. Дмитрий Петрович пришел после обеда улыбающийся, объятый нетерпением. Матвеев, глядя на его бесхитростное лицо, покорно закрыл книгу и принял болтовню молча, как мужчина. Потом пришел Безайс и выручил его.

— Он, конечно, славный старик,— сказал Матвеев,— но я от него устал. Это очень тяжелая штука: слушать избитый, знакомый с детства анекдот и делать вид, что тебе очень интересно и смешно. «А вы знаете историю, как барыня нанимала лакея?» Он подмигивает и стонет от хохота, и у меня не хватает духа сказать ему, что я слышал об этой барыне лет десять назад и что теперь она мне немного надоела. У меня есть к тебе одна просьба, Безайс,— неожиданно закончил он.

— Какая?

— О, это пустяки,— сказал он, закладывая руки за голову.— Ничего особенного. Ты помнишь, я рассказывал тебе эту историю.

Безайс посмотрел на него вопросительно.

— О той?

— Да, о той.

— Так,— сказал Безайс.— Ну, и что же?

Матвеев медлил. Ему трудно было начать.

Он повернулся на спину и, глядя в потолок, сказал, что страсти, любовь, женщины — все это только мешает и стесняет человека, когда он занят борьбой или работой. Эти женщины! Они вертятся и болтают и путают голову.

Он помнит один случай, как одного члена губкома высадили из партии по бабьему делу. Это было в восемнадцатом... нет, не в восемнадцатом, а в девятнадцатом году. А фамилия его была Теркин. А как была ее фамилия — он забыл. Зяблова, кажется.

Но, впрочем, фамилия здесь ни при чем.

Он хочет только сказать, что в наше время женщины и разная там любовная чепуха — поцелуи, объятия, записки и всякое тому подобное — сбивают человека с толку. Когда работник влюблен, его мысли принимают другое направление. Надо ехать на фронт, а ему не хочется. Посылают его на партийную работу в другую губернию, а ему жалко оставлять свою бабу. Потом от любви бывает ревность, а это уже черт знает что такое.

Безайс слушал что-то очень уж внимательно, и это смущало Матвеева. «Что ж это я несу?» — подумал он, но остановиться или свернуть разговор на другую тему уже было нельзя.

Так вот. Но, с другой стороны, разные бывают женщины. Женщина может быть другом, товарищем, она не связывает мужчину и не мешает его работе. Даже наоборот. Эта самая... Лиза Воронцова...

Он снова запнулся, удивленный одной мыслью. «Я как будто оправдываюсь перед Безайсом в том, что влюбился в Лизу,— подумал он.— Точно я совершил какой-то неблаговидный поступок. И Безайс слушает, как следователь».

— Ну,— сказал Безайс.— Дальше-то что же?

— Дальше ничего,— сердито ответил Матвеев, стыдясь того, что он наговорил.— Мне очень скучно здесь лежать. Хотелось бы ее повидать все-таки.

Безайс встал, угрюмый и задумчивый.

— Вон куда ты гнешь! — сказал он.— Нет, об этом лучше не будем и говорить. Я тебя на улицу не пущу. Да ты и сам не дойдешь.

Матвеев сел на кровати. Он немного нервничал.

— Я знаю. До сих пор я не заговаривал о ней. Мне хотелось стать на ноги и пойти к ней самому. Но теперь я вижу, что это долгая музыка. А мне очень хочется увидеть ее, понимаешь? Очень.

— Любовь зла,— плоско пошутил Безайс.

— Я хочу, чтобы ты или Варя зашли к ней и сказали, что я здесь,— только и всего.

Безайс рассмеялся.

— Варя? — воскликнул он.— Чтобы она пошла к ней?

— Ну, пойди ты. А Варя почему не может?

— Потому... потому...— ответил Безайс, потирая лоб,— потому что ты осел.

НЕ НАДО ВОЛНОВАТЬСЯ

Он обещал Матвееву, что пойдет утром, после чая. Но напившись чаю, Безайс начал оттягивать уход и выдумывать предлоги, которые задерживали его дома. После чая надо покурить, а он не любит курить на улице. Потом он помогал искать веник. Когда веник был найден, Безайс начал подумывать, не наколоть ли ему дров, но Александра Васильевна заявила, что дров ей не надо. Тогда он со стесненным сердцем оделся, повертелся несколько минут у Матвеева и вышел на улицу.

Его пугало это поручение. С некоторого времени женщины начали возбуждать в нем острое любопытство и непонятную робость. Все, что выходило за пределы обычного разговора, внушало ему страх — настоящий, позорный, мучительный страх, которого он стыдился сам, но от которого не мог отделаться. Особенно он боялся сцены. А в этом случае, казалось ему, без сцены не обойтись.

Большое красное солнце стояло в туманном воздухе. Он шел по обрывистому берегу реки, машинально насвистывая. «Веселенькая история»,— вертелось в голове.

Идти было далеко. Низкие, зарытые в снег дома предместий остались позади. Он спустился по крутой лестнице вниз, перешел через овраг и повернул в улицу. Было еще рано, и прохожие встречались редко. Кое-где счищали с тротуаров выпавший за ночь снег. Безайс вышел на гору, и Хабаровск встал перед ним.

Далеко за горизонт уходила ровная белая гладь реки. Слева виднелся бульвар, над которым высился чей-то памятник. Деревья, покрытые инеем, стояли неподвижно, как белые облака.

Безайс постоял, разглядывая город, потом вздохнул и стал спускаться вниз. На перекрестке он увидел голенастый поджарый пулемет и около него несколько солдат в серо-зеленых шинелях с измятыми погонами. Они грызли кедровые орехи и переговаривались. Безайс свернул в переулок, но там стоял целый обоз. Военные двуколки тянулись непрерывной вереницей. От лошадей шел пар, на дороге валялись клочки сена. Около походной кухни стояла очередь, и солдаты несли дымящиеся котелки. Он прошел мимо, заставляя себя не ускорять шагов. Теперь он относился к белым спокойно. Их дело было кончено. Что они значили здесь, у края земли, когда вся страна была в других руках? Безайс шел мимо них, как хозяин.

Он вышел на длинную пустую улицу и остановился перед каменным домом с мезонином. Во дворе дряхлая собака обнюхала его ноги и пошла прочь. Он прошел через веранду с выби-

тыми стеклами и постучал. Неряшливо одетая женщина впустила его в полутемный коридор, где резко пахло стираным бельем. Она смотрела на него испуганно и выжидающе.

— Здесь живет Елизавета Федоровна Воронцова? — спросил Безайс. В нем внезапно вспыхнула надежда, что ее нет дома.

— Здесь,— ответила она, напряженно глядя на него.

— Мне надо ее видеть.

Она ушла, но тотчас вернулась.

— Может быть, вам Катерина Павловна нужна? — спросила она.

— Нет,— ответил он.— Мне нужна Елизавета Федоровна.

Она ввела его в небольшую комнату, выходившую окнами в сад. У Безайса началось сердцебиение, и он жестоко ругал себя за такую подлую трусость. Это была ее комната, все было строго и просто, точно здесь жил мужчина. У окна стоял небольшой, закапанный чернилами стол, рядом — узкая железная кровать, покрытая стеганым одеялом. Особенно поразил Безайса беспорядок и разбросанные на полу окурки. На столе стояла лампа с обгоревшим бумажным абажуром и валялись растрепанные книги. «Аналитическая геометрия»,— прочел он на раскрытой странице. С полки скалил зубы медный китайский божок.

Позади скрипнула дверь. Безайс вобрал голову в плечи и медленно повернулся. Перед ним стояла Лиза.

Безайс думал, что она очень красива, и теперь был немного удивлен. Это была невысокая смуглая девушка, черноволосая, с живыми глазами. Она была хорошенькая, но Безайс встречал многих лучше ее.

Она остановилась в дверях и вопросительно смотрела на Безайса.

— Здравствуйте,— сказала она.

Матвеев сказал правду — глаза у нее действительно были очень красивые.

Безайс порывисто встал.

— Здравствуйте. Я к вам по делу. Ваш... это самое... знакомый... вы его, конечно, помните...

Она подошла к нему, слегка щуря глаза.

— Простите, как ваша фамилия?

— Это пустяки. А впрочем, моя фамилия Безайс.

Ему хотелось скорей свалить с себя это дело, прибежать домой и валяться в носках на кровати, не думая ни о чем.

— Он послал меня и очень извиняется, что не может прийти сам. Вам придется зайти к нему, но это близко, не беспокойтесь. Если хотите, я могу вас проводить сейчас. Если, конечно, вы ничем не заняты.

Она подошла к стулу, на котором лежали какая-то материя, бумага, спички, и стала складывать все это прямо на пол.

— Ваша фамилия — как вы сказали?

— Безайс. Я пришел к вам от Матвеева, моего товарища.
— Матвеев здесь? — спросила она живо.
— Да, здесь.
— Отчего же он не пришел сам?

Он помолчал, собираясь сказать самое важное. Но она вдруг подошла к двери и открыла ее. Безайс мельком увидел впустившую его женщину. Она стояла, прислонившись к косяку.

— Мама,— сказала Лиза,— уходи сейчас же! Ну?
— Так вы товарищ Матвеева? — продолжала она, закрывая дверь и улыбаясь.— А отчего он сам не пришел?
— Он нездоров. Хотя, вернее сказать, даже ранен.

Она широко раскрыла глаза.

— Ранен?

Безайс тоже встал.

— Но не надо волноваться, рана не серьезная,— начал он, торопясь.— Он уже почти здоров, честное слово! Но самое главное — не надо волноваться. Это же глупо — волноваться, когда он почти здоров.

Она смотрела на него ошеломленная, точно ничего не понимая.

— Куда его ранили? — спросила она.
— В ногу,— ответил Безайс.— Ему страшно повезло, это такая рана, от которой легко поправиться. Возьмите себя в руки и не расстраивайтесь. До свадьбы заживет,— прибавил он с глупым смехом.

Все остальное тянулось, как кошмар. Он начал рассказывать ей и несколько раз собирался сказать прямо, что Матвееву отрезали ногу, но всякий раз хватался за какой-нибудь предлог и рассказывал о другом — о Жуканове, о Майбе, о дороге. Она слушала, молча глядя ему прямо в глаза, и Безайс смущался от этого взгляда, точно он лгал. Наконец он измучился от звука собственного голоса. Тогда он замолчал, думая несколько минут, и сказал:

— Ему отрезали ногу ниже колена.

Она вскочила, как от удара.

— Отрезали? — крикнула она со всхлипыванием.
— Да,— сказал Безайс,— отрезали. Ниже колена.
— Ниже колена?

Безайс поднял голову. На ее лице был ужас. Она не замечала, как у нее дрожат губы. Некоторое время они стояли молча, тяжело дыша.

— И теперь он... на одной ноге?
— На одной.
— А как же он ходит?
— На костылях.

Никогда в жизни он не чувствовал себя так скверно. Она схватила его за руку и стиснула до боли.

— Это он послал тебя?

— Он. Ему хочется, чтобы вы пришли к нему.
— Но как же это вышло? Неужели ничего нельзя было сделать? Ты все время был с ним?
— Конечно, все время.
— И ничем нельзя было помочь?
Это было прямое обвинение. Безайса охватила мгновенная ярость. Он вырвал свою руку.
— Началось нагноение, доктор сказал, что без операции он умрет.
Она села на стул: сверху Безайс видел ее волосы, разделенные прямым пробором.
— Как это глупо,— сказала она, сжав руки и покачиваясь всем телом.— Именно его! Ведь вас было трое?
— Да.
— Ну, а сейчас? Он встает?
— Даже ходит немного.
Она помолчала, что-то вспоминая.
— Он совершенно беспомощный?
— Нет, конечно. Недавно он сам оделся.
Безайс сидел, ожидая чего-то самого тяжелого. Он обвел глазами комнату, потрогал себя за ухо и встал.
— Я пойду, пожалуй,— сказал он, не глядя на нее и вертя шапку в руках.— Вот теперь я вам сказал все.
Он вышел в коридор, натолкнувшись в темноте на впустившую его женщину, ощупью отыскал дверь, но потом вернулся снова. Она сидела, прижавшись грудью к столу.
— Я забыл дать вам его адрес,— сказал он.— Вы придете сегодня к нему?
— Я приду завтра.
Он вышел на улицу и пошел прямо, пока не заметил, что идет в обратную сторону. Тогда он вернулся, прибежал домой и сказал Матвееву: «Завтра она придет»,— потом ушел к себе, лег в носках на кровать и долго курил. Он как-то не выяснил своего отношения к этой истории, и в его голове был полный беспорядок. Черт знает, что хорошо и что плохо.
Он думал о Матвееве, о Лизе, о самом себе, и было совершенно непонятно, чем все это кончится. Одно было ясно — девушки, как Лиза, встречаются не каждый день.

ОНА ПЛАКАЛА

На другой день Матвеев поднялся и, бодро стуча костылями, отправился просить у Дмитрия Петровича бритву. Кое-как он побрился и, сидя перед зеркалом, с удовлетворением рассматривал свою работу.
Насвистывая, он вернулся к себе в комнату, критически ее оглядел и остался недоволен расстановкой стульев. С полчаса

он возился, громыхая стульями и поправляя оборки иа заиавеске, ио потом устал и сел, тяжело дыша. Ои был в хорошем настроеини, и весь мир улыбался ему. Отдохиув, ои пришел в столовую и стал учить мальчиков играть иа гребеике с папиросной бумагой. Но потом пришла Александра Васильевна, гребеику отобрала и загиала Матвеева обратио в его комиату.

Пробил час, а Лизы все еще ие было. Время текло медлеиио, и ои ие зиал, куда его девать. Безайса, по обыкиовеиию, дома ие было. Александра Васильевна прииесла завтрак, и пока ои ел, оиа стояла у дверей и расспрашивала,— есть ли у иего мать, сколько ей лет и правда ли, что большевики и коммунисты — это почти одио и то же. Оиа жаловалась иа то, что Варя хочет остричь волосы. Оиа считала это глупостью и удивлялась, кому может иравиться безволосая жеищииа.

Но Лиза все еще ие приходила. Когда большие хриплые часы в столовой пробили три часа, Матвеев иачал беспокоиться. Ои взял костыли и отправился бродить по дому, с тоской и недоумеиием спрашивая себя, что могло ее задержать. Он сиова ушел в свою комиату. Там ои сидел до вечера, и с каждым ударом часов в нем росла увереииость, что оиа уже не придет. Ноющая, точио зубиая боль, тоска подиималась в нем, ои иачал думать, что с ней случилось какое-то иесчастье. Эта мысль была иевыиосима, и, когда пришла Варя, ему хотелось сломать что-иибудь.

Она села рядом и иачала говорить, что он должеи больше есть, чтобы пополиеть.

— Ты скажи,— говорила оиа,— что тебе больше иравится. Суп всегда остается в тарелке. Хочешь, завтра сделаем пирог с курицей. Мама очеиь хорошо его делает.

Это было самое иеподходящее время для разговора о пироге с курицей.

— Не хочу,— сказал ои.

Ои искоса взгляиул на иее и заметил, что оиа завилась. Лизу, может быть, арестовали,— и эти легкомысленные белокурые кудри оскорбили его.

— Давай говорить о другом,— сказал ои сухо.— Ты что-нибудь хотела спросить? Ты вечно о кухне разговариваешь, будто не свете больше иет ничего.

— Нет, это я только так. А я действительио хотела спросить тебя об одиой вещи. Я думала об этом весь деиь: когда будет мировая революция?

— В среду,— ответил ои сердито.

За последнее время в ией появилась черта, которая его бескоиечно раздражала. Оиа старалась говорить об умиых вещах: о партии, о цивилизации, о древией Греции. Это было беспомощно и смешно.

— Не старайся казаться умней, чем ты есть на самом деле,— сказал он, помолчав.— Это режет ухо. У тебя нет чувства меры, и ты слишком уже напираешь на разные умные вещи. Держи их про себя.

Он старался не глядеть на нее.

— Это просто флирт... Говори об этом с Безайсом, он будет очень доволен. Но даже и флиртовать можно было бы не так тяжеловесно.

— Почему это флирт?

— Ну, кокетство. Зачем ты завиваешься?

— Я больше не буду,— сказала она тихо.

Он немного смягчился.

— Ах, Варя, мне сейчас не по себе. Не обращай внимания. Но ты напрасно так держишься, это смешно. Неужели ты этого не видишь? Будь глубже и оставь это уездное жеманство. Хотя лучше, знаешь, бросим сегодня это, я что-то зол. Когда придет Безайс, пришли мне его, хорошо?

— Хорошо,— покорно ответила она, вставая.

А когда пришел Безайс, он закатил ему скандал. Матвеев спросил, что в городе нового, и когда Безайс ответил, что ничего нового нет, он взбесился.

— Мне надоело это, Безайс,— начал он громко, чувствуя, что у него дрожат губы.— Это возмутительно, понимаешь ты? Ты изводишь меня. Я сижу в этой проклятой комнате и ничего не знаю, что делается кругом. А ты рассказываешь мне всякий вздор. Зачем это? Ты смеешься, что ли? Я не позволю так обращаться со мной! Скотина!

Последнее слово он почти крикнул.

Безайс осторожно присел на кончик стула.

— Я тут не виноват, старик. Это все доктор. Он сказал, что тебе нельзя волноваться, и я старался изо всех сил. Но теперь я вижу, что он умеет только пачкать йодом и ничего не понимает в нашем деле.

И он рассказал Матвееву, зачем он уходил по вечерам и что делал. Он почувствовал, что хватил слишком и что дальше молчать было нельзя. Матвеев немного утешился и слушал Безайса, не прерывая ни одним словом.

— Это все хорошо,— сказал он.— Погоди, я встану, и будем втыкать вместе. Ты не слушай докторов, это для баб. Из всех лекарств я оставил бы только мятные лепешки,— говорят, они помогают против икоты. А больше я не верю ничему. Завтра я выйду на двор посмотреть, что там, в природе, делается без меня.

— Ты не выйдешь. Увидят тебя соседи, пойдут разговоры. Потерпи еще немного.

Матвеев молчал несколько минут, потом смущенно улыбнулся.

— Оиа далеко живет отсюда?
— Кто?
— Лиза.
— Нет, ие очеиь. Несколько кварталов.
— Слушай, тебе опять придется к ней пойти.
— Когда?
— Сейчас. Я думаю, с ией что-иибудь случилось. Сам зиаешь, какое время. Вдруг ее арестовали? Видишь ли, если оиа что-ибудь пообещает, то обязательио сделает. Безайс, пожалуйста.

Безайс встал.

— Хорошо,— сказал ои убитым тоном.

Худшего наказаиия для него нельзя было придумать. Но идти надо было: если б ои попал в такое положение, Матвеев сделал бы это для иего. Ои ушел н пропадал два часа, а когда вериулся, то произошел разговор, о котором потом ои всегда вспоминал, как о тяжелом иесчастье. С этого дия ои дал себе страшное обещание иикогда не ввязываться в чужие дела.

Он осторожио прошел по темиым комнатам,— в доме уже спали. Матвеев ждал его, сидя иа кровати, н курил папиросу за папиросой.

— Ты был у нее? — спросил он иетерпеливо.
— Был,— ответил Безайс.— Все благополучио.
— Что оиа говорит?
— Говорит, что сейчас ие может прийти. Придет завтра.
— Почему?
— Должно быть, заията чем-нибудь. Я ие знаю.

Матвеев был озадачеи.

— А что оиа просила мне передать?
— Что завтра она придет.
— И больше ннчего? Только это?
— Да, как будто ничего.
— Вспомии-ка, Безайс, подумай хорошеиько. Ты забыл, иавериое.

Это звучало как просьба. Безайс откашлялся и сказал глухо:

— Ну... просила передать, что ты... милый, коиечио.
— Ага...
— Что оиа прямо помирает, так соскучилась. Зиаешь, разные эти бабьи штуки.
— Ну... вот и все.
— А что обо мне говорила?
— Да иичего такого особеииого ие говорила.
— Оиа волновалась?
— Как тебе сказать...

Ои подиял глаза и увидел, что Матвеев бледио улыбается,— точио его заставляли. По его лицу медлеино разлилось

недоумение. Безайс хотел рассказать, какая она передовая, мужественная, но теперь заметил вдруг, что Матвееву этого не надо, что он хочет совсем другого.

— Она плакала, когда ты рассказывал ей об этом?

Он смотрел на него с надеждой и ожиданием, почти с просьбой, и Безайс не мог этого вынести. Он решил идти напролом. Не все ли равно?

— Как белуга,— ответил он, твердо и правдиво глядя в лицо Матвееву.— Я просил ее перестать, но что же я мог поделать. Они все такие.

— Честное слово?

— Ну, разумеется.

Матвеев откинулся к стене и рассмеялся счастливым смехом.

— Это изумительная девушка, Безайс, ей-богу! — сказал он тщеславно.— Когда ты узнаешь ее ближе, ты сам это увидишь. Так она плакала?

— И еще как!

— Вот дура! Наверное, первый раз в жизни.

Наступила пауза.

— А как она тебе понравилась?

— Да ничего. Подходящая девочка.

— Правда, хорошенькая?

— Правда.

— А где ты с ней встретился?

— В ее комнате.

— Та-ак. Какое первое слово она сказала, когда тебя увидела?

— Сказала «здравствуйте».

— А ты?

— Я тоже сказал «здравствуйте».

— Хм. Она, наверное, была в коричневом платье с крапинками?

— Нет, в синем и без крапинок.

Безайс был угрюм, смотрел в пол, но Матвеев не обращал внимание на это. Его распирало желание разговаривать.

— Никогда не знаешь своей судьбы,— говорил он, улыбаясь.— Помнишь, как я старался всучить тебе билет на этот вечер? Каким же я был ослом! Ведь не пойди я тогда, я бы с ней и не встретился. Случайность. Я часто думаю теперь об этом и благодарен тебе, что ты остался дома. Так она тебе очень понравилась?

— Ничего себе.

— Я так и думал. Черт побери, у меня, наверное, сейчас очень дурацкое лицо?

— Нет, не очень.

— Да-а. Так-то вот, старик. Эта новая женщина в полном смысле слова. Когда я разговариваю с Варей, мне кажет-

ся, будто я жую сено. Очень уж невкусно. Ты не обижаешься? Она свяжет тебя по рукам и ногам и будет стеснять на каждом шагу.

— По совести говоря,— ответил Безайс с одному ему понятной насмешкой,— она меня не очень стесняет.

— Ну, может быть. Каждый получает, что он хочет. Ты не чувствуешь в этом вкуса, Безайс. Сойтись, дать друг другу лучшее, что имеешь, и разойтись, когда нужно, без всяких сантиментов. Это чувство физическое, и слова тут ни при чем. Так, значит, она сказала, что завтра придет?

— Так и сказала.

Было два часа ночи,— Безайс потушил лампу и ушел.

ОТ ЭТОГО НЕ УМИРАЮТ

И действительно, на другой день она пришла.

День был точно стеклянный, весь пропитанный холодным блеском. Лед на окне был чистого синего цвета, и небо было синее, и снег чуть голубел, как свежее, хрустящее белье. Из форточки в комнату клубился воздух, поднимая занавеску. Матвеев оделся, ежась от холода. Его переполняла нетерпеливая радость, желание свистеть и щелкать пальцами. Когда вошел Безайс, Матвеев сказал вдруг:

— Я решил подарить тебе свой нож.

Еще минуту назад он не думал о ноже. Эта мысль пришла ему в голову внезапно, когда Безайс отворял дверь.

— Зачем?

— Да так.

— А ты останешься без ножа?

— Ну что ж. Он мне надоел...

Нож был с костяной ручкой, в темных ножнах, замечательно крепкий. Он снял его с офицера под Николаевом и с того времени носил с собой в кармане. Им он открывал консервы, чинил карандаши и подрезал ногти.

Безайс даже покраснел от удовольствия.

— Странно.

— Ничего не странно.

Он вынул нож, подышал на блестящее лезвие и показал Безайсу, как быстро сходит испарина.

— Бери на память.

Потом пришла Варя. Она и Безайс сидели у него долго, но он перестал обращать внимание на них и вел себя так, точно их не было в комнате, пока они не догадались уйти. Он лежал, курил и читал «Лорда-каторжника», ничего не понимая. Так прошло еще несколько часов. С обостренным вниманием он прислушивался к шагам в столовой, к стуку ножей

и тарелок, смертельио боясь, что иа иего обрушится Дмнтрий Петрович со своей ненсчерпаемой болтовней. Солице играло по комиате цветиыми пятиамн.

Накоиец приотворилась дверь, показалось круглое лнцо Алексаидры Васильевиы, горевшее нетерпеинем и любопытством, а за ией Матвеев, замирая, увндел зиакомую беличью шапку.

— Вас спрашнвает какая-то барышия.

Он швыриул кннгу н попробовал встать, ио для этого иадо было добраться до другого коица кроватн, где стоялн костыли. Праздиично улыбаясь, ои замахал рукой. У дверей стояла Лиза, н ее смуглое лнцо, порозовевшее иа морозе, было таким зиакомым и мнлым.

— Ну, раздевайся! — сказал ои. Это было первое слово, которое прншло ему в голову, и ои тотчас пожалел, что проізиес его. После того как оии ие виделись целый месяц, надо было сказать что-то другое.

Оиа медлеиио подошла к нему. Матвеев, улыбаясь, смотрел иа ее розовое от холода лицо, на воротник пальто, покрытый иием. Точио такая же, как тогда в Чите, иа вечере, когда ои увидел ее в первый раз. Неужели прошел только месяц? Он смотрел иа нее, вспомниая морозную звездиую иочь, звоикнй хруст шагов н первые иеумелые поцелуи. Но оиа все еще молчала, и иадо было сказать что-ннбудь.

— Как ты меия иаходнщь? Зиаешь, ты ии капли не измеиилась.

Оиа взволноваиио провела рукой по щеке.

— А ты — очень измеиился,— ответила она.

Ои вздрогиул от звука ее голоса.

— Ну, поцелуй меня,— сказал он просительио.

Оиа подошла и поцеловала его в губы. На мгновенне он зарылся лицом в холодиый воротинк ее пальто. Ои согласился бы сидеть так хоть целый час, ио оиа выпрямилась.

— Раздевайся,— повторнл он, охвачеиный внутренией теплотой, от которой покрасиели шея н уши.— Что же ты стоншь?

Она сияла меховую шапку и пальто. Ои увндел, что оиа оделась нмеиио так, как тогда, в первую встречу,— в косоворотку с вышнтым воротиком и поясом, в темиую юбку с карманами. У иего хватило смысла догадаться, что она оделась так для иего, н ои сиова покраснел.

— Какая мнлая комиата,— сказала она после миаутиого молчаиня.

— Да, конечно. Отчего это пятио у тебя?

— Варнла суп. Тебе больио сейчас?

— Нет. Ни капелькн.

— А когда ранили?

Ему вдруг захотелось рассказать, как это вышло. Как их остановили, как рваиули коин и поиеслись, разбрасывая сиег. Мутиое иебо, оглушительные до звоиа в ушах выстрелы и эта

нелепая собака, лающая за санями,— все это встало перед ним и на мгновение заслонило комнату и Лизу. Но она перебила его:

— Почему ты раньше не прислал за мной?

— Я хотел сам прийти к тебе,— сказал он, глядя на ее шею и борясь со своими мыслями.— Но они меня не выпускают отсюда... А ты помнишь, как мы целовались тогда, в коридоре, и нас заметили?

Она напряженно улыбнулась.

— У тебя бывает доктор?

— Время от времени. Сядь немного ближе, хорошо? Тут такая скука, что прямо выть хочется. Ко мне ходит каждый день один старый лунатик и выматывает из меня душу столетними шутками. Ты скучала обо мне?

— Я страшно беспокоилась.

— И я тоже. Безайс хороший малый, но он ничего не понимает. Как пень. Я валяюсь на кровати и целыми днями думаю о тебе. Как она называлась, эта улица, где общежитие,— Аргунская? Но какая ты хорошенькая!

Она подняла глаза и взглянула в его лицо, сиявшее счастьем. Он очень похудел, под глазами легла синева. Месяц назад он был совсем другой.

— А как ты себя сейчас чувствуешь?

— О, ничего. Через неделю-полторы мы двинем с тобой дальше. Да, я забыл рассказать тебе смешную вещь... Но можно тебя поцеловать? Или об этом не спрашивают?

Он начал входить во вкус и сожалел, что поцелуи так коротки.

— Это очень странная штука. Иногда, когда я о чем-нибудь задумываюсь, я ясно чувствую, как у меня болит палец на той ноге, которую отрезали. На левой.

— Болит палец? — спросила она со сдержанным ужасом.

— Я растер его сапогом,— сказал он успокоительно.— Это только кажется. Лиза, дорогая, так ты беспокоилась? Глупая! Что могло со мной случиться?

Он запнулся.

— Хотя случилось,— сказал он, смущенно улыбаясь.— Вот. Но это ничего, правда? Я еще наделаю делов. Бывает и хуже. Я почти здоров уже.

— Да?

— Ну конечно. О, нога мне не мешает. Хочешь, я покажу тебе, как я хожу?

— Не надо,— быстро сказала она, но Матвеев, снисходительно смеясь, взял костыли и поднялся. Он нацелился на окно и с грохотом, стуча костылями, проковылял до него, повернулся и снова дошел до стула. Она встала.

— Каково? — спросил он, улыбаясь.

— Очень хорошо,— ответила она, комкая свою меховую шапку.— Но мне пора уже идти, милый.

Он сел и взглянул на нее снизу вверх.

— Почему? — спросил он тоном ребенка, у которого отбирают сахарницу.

— Я выбралась только на минутку,— сказала она, опуская ресницы.— Мне обязательно надо быть дома сегодня.

Когда она говорила — надо, Матвеев сдавался. Он совершенно не умел с ней спорить.

— Но ты, может быть, придешь сегодня попозже, когда освободишься?

Она подошла и мягко обняла его.

— Не скучай,— шепнула она, целуя его в щеку.— Завтра я приду на весь день — обязательно.

— Нет, в губы,— только и нашелся сказать он.

Так она стояла рядом с ним, обняв его за голову и перебирая пальцами волосы. Матвеев торопливо и жадно целовал все, что попадалось, не разбирая, с прожорливостью голодного человека,— шею, руки, лицо, овеянный нежным теплом ее тела. Долго ждал он этого дня,— в вагоне, в лесу, в темных хабаровских улицах он думал об этих единственных бровях и нежной ямочке на шее.

Потом он вдруг почувствовал, что она вздрагивает, положив голову ему на плечо. Это было что-то новое.

— Лиза, что ты? — спросил он испуганно, осторожно садясь с ней на кровать.

Он подождал немного, а потом решил начать прямо с того места, на котором остановился, и уже обнял ее за шею. Но она отвернулась, и Матвеев скользнул губами где-то около уха.

— Я хочу поговорить с тобой,— сказала она, тяжело дыша.

Он крепко сжал ее пальцы. Она сидела к нему боком, и он видел ее профиль с длинными ресницами.

— О чем?

— О наших отношениях.

Она волновалась — волновалась из-за него! — и это наполнило Матвеева вульгарной радостью.

— Говори, говори,— сказал он снисходительно.

— Вот... сейчас и скажу,— возразила она, тихо отбирая свою руку.— Еще раз поцелую — и скажу.

Несколько минут она целовала его с закрытыми глазами, горячо и быстро, как его еще не целовал никто и никогда.

— Ну, вот,— услышал он ее взволнованный голос.— Я хочу... только ты не обидишься, милый? Постарайся меня понять. Наши отношения... они не могут быть прежними. Я не поеду с тобой в Приморье.

Она с облегчением перевела дыхание, но у нее не хватило мужества поднять глаза.

— Ты же сам понимаешь это. Я знаю, ты думаешь сейчас обо мне, что я дрянь? Но, дорогой мой, пойми, что я тоже мучаюсь. А я могла бы и не приходить — на-

писать письмо. И все. Я не знаю только, поймешь ли ты меня.

Молчание Матвеева начинало пугать ее. Сделав усилие, она взглянула на него. Он имел такой вид, точно его ударили по голове,— он растерянно улыбался, и эта улыбка отозвалась на ней, как удар ножом. Ей захотелось плакать, и нежная жалость к Матвееву охватила ее. Но любви не было,— что-то дрожало еще в ней,— не то боязнь, не то недоумение. «Мне тоже тяжело»,— вспомнила она.

Это было в Чите перед отъездом. Они ходили по улицам,— он держал ее за руки и слушал, как она горячо и сбивчиво говорила о будущей любви. «Надо уметь вовремя поставить точку,— говорила она,— пока люди еще не мешают друг другу». И теперь он вспомнил это.

— Понимаю. Надо уметь вовремя поставить точку,— сказал он вслух.

Она испугалась выражения его лица. Ей показалось, что он хочет о чем-то просить.

— Если бы ты мог понять, как мне тяжело,— сказала она жалобно.

Он молчал.

— Давай говорить об этом спокойно,— продолжала она.— Если я не буду счастлива с тобой, то ведь и ты будешь чувствовать это. Не надо никаких жертв.

Он пробормотал что-то.

— Я больше не могу,— бессильно прошептала она.

За дверью кто-то громко звал кошку и уговаривал ее вылезти из-под буфета. Пыльный солнечный луч пронизывал комнату и дробился зелеными брызгами в стеклянной вазе.

— Но ты не сердишься на меня?

Он глубоко вобрал воздух в легкие. Так бросаются в воду с большой высоты. Жизнь встала перед ним — Жизнь с большой буквы, и он собрал все силы, чтобы прямо взглянуть в ее пустые глаза. Двадцать лет ходил он здоровый и никому не уступал дороги. А теперь ему оттяпало ногу, и надо потесниться. Ну что ж.

— Я не маленький,— сказал он слегка охрипшим голосом,— и знаю, почему мальчики любят девочек.

Она взяла его руку и прижала к щеке.

— Постарайся понять меня, милый. Мне так больно и так жаль тебя.

У него было только одно желание —выдержать до конца, не сдать, не распуститься. Это было маленькое, совсем крошечное утешение, но, кроме него, ничего другого не было. Что-то вроде папиросы, которую люди курят перед тем, как упасть в яму. Он тоже падал, но изо всех сил старался удержаться. Это был его последний ход, и он хотел сделать его как следует.

— Ты слишком много придаешь этому значению,— сказал он почти спокойно.
— Правда? — спросила она с облегчением.
— Ведь не помру же я от этого.
— Я думала, что лучше сказать все прямо.
— Конечно, ты отлично сделала.
— Но ты все-таки будешь мучиться?
Карты были сданы, и надо было играть.
— Не буду,— сказал он, сам удивляясь своим словам.— Конечно, жалко, что эта интрижка не удалась, но что делать? Не беспокойся за меня.
— Интрижка? — проговорила она с расстановкой.
— От этого не умирают.
Она выпрямила грудь и откинула волосы с лица.
— Я сегодня не спала ночь. Это было самое ужасное — решить. Я никогда не забуду этого.
Надо было кончать как можно скорей.
— По совести говоря,— сказал он, храбро глядя ей в глаза,— эта история мне самому немного надоела. Слишком долго — целых два месяца.
Она встала.
— Что ты сказал? Надоела?
— Да.
— Вот как? Это для меня новость.
— Ну что ж!
— Я думала, что ты меня любишь.
— Хм. Я не знал, что ты придаешь этому такое значение.
Она нервно стиснула руки.
— Это неправда,— воскликнула она, волнуясь.— Неправда, слышишь? Ты любил меня все время. Ну, скажи, любил?
В нем горячо забилась кровь. Какой вздор,— конечно, любил и больше всего — в эту именно минуту.
— Немножко,— сказал он из последних сил.
— Матвеев, неправда!
— Я просто забавлялся. В Чите нечего было делать.
— Ты сейчас это придумал?
— Ну как хочешь.
Он с удивлением заметил, что у нее выступили слезы.
— Как это гадко,— сказала она порывисто.— Значит, ты смотрел на меня как на вещь, на пустяк? Ты шутил со мной? А я так волновалась, когда шла к тебе!
Она волновалась! Матвеев взглянул на нее холодными глазами и с горечью подумал о своей смешной и глупой судьбе. Но он не хотел казаться смешным.
— Я не хуже и не лучше других мужчин на этой грешной земле. Пахло жареным, и мне хотелось попробовать,— сказал он тоном опытного развратника.

Ее брови высоко подиялнсь, и несколько мииут оиа разглядывала его, как иечто новое.

— Однако,— медленно проговорила оиа, чувствуя себя униженной и глубоко несчастной.— Я никогда не думала, что была такой дурой. Надеюсь, между иамн все коичеио?

Он сказал, точно спуская курок:

— Все кончено.

Когда оиа ушла, он долго сидел иа кровати, обхватнв колеин рукамн, н думал. Думал больше о себе, чем о ней, и все казалось ему новым, иеобычайным, пугающнм.

Он погладил свою нзуродованную иогу, оглядел костылн и вздохиул. Смешио подумать, ои как будто ие замечал этого раньше. Это надо было предвндеть,— ведь страиио, чтобы молодая хорошеиькая девушка вышла за иего замуж, когда на свете столько ребят с крепкими руками и иогами... Теперь его место в обозе,— н она указала ему на это.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Через два дия он узнал, что такое настоящая скука. Это было как болезиь. Каждый час ложнлся на него непереноснмой тяжестью, н к коицу дня ои чувствовал себя разбнтым, как после хорошей работы. У него пропал сон н поднимался температура; Варя говорила — лнхорадка, но Матвеев зиал, что это такое. Безайс честно старался развеселить его и выдумывал какие-то нгры, от которых скука становнлась прямо-такн невыноснмой. Он был повален и лежал на обеих лопатках, лицом вверх. Один раз он уиизился даже до того, что стал строить домики из коробок. Безайс прннес карты, и онн селн играть в «пьяиицы». Онн сыграли несколько партнй, и Безайс смеялся так добросовестно, что Матвеев бросил карты.

— Эта нгра для веселых покойинков,— сказал ои, покачнвая головой.— Когда иа кладбнще нечего делать, там нграют в нее. Иди, Безайс, я, кажется, засну сейчас.

Он повертывался на бок н лежал несколько часов, ие двигаясь, пока ие засыпал. Но даже во сне скука не покидала его.

Когда Лнза вышла из комнаты, он думал, что все кончеио, а оказывается, дело только иачииалось. Ннкогда в жнзни он не любнл так — что онн значилн, эти девочки, у которых ои крал торопливые поцелуи в клубиых коридорах, его веселые грехн и первые тайны?

Что ж, любовь... Любят все — и люди, и цветы, и лошади, в этом ннчего особенного иет. Но его любовь была слишком круто посолена. Теперь он прямо с иенавистью вспомниал свои проклятые рассуждения о любви, о женщинах н обо всех этих холодиых н умных вещах, которымн он так смешно гордился. Ему

хотелось найти и побить человека, который их выдумал. Они хороши как раз до того времени, когда человек попадает в беду, когда ему вдруг таким нужным станет простое и теплое слово.

Товарищ? Да, конечно, товарищ — большое слово. Но вот он не мог прийти к Безайсу и рассказать, как сшибла его жизнь и тяжелой ногой прошла по нему. Это нехорошо, когда мужчина приходит к другому мужчине вымаливать утешения, это по-бабьи, это просто невозможно, потому что ничего не сумеет сказать Безайс. «Черт побери,— скажет он, взволнованно трогая ухо в бессильном порыве сделать что-то нужное,— вот так штука!»

У Матвеева был свой взгляд на такие вещи. Их лучше держать при себе и не навязывать другим.

Вот еще глупая, бездарная история — все эти стриженые бабы с половыми проблемами. Если честно, по-человечески подойти к этим проблемам, то окажется, что их нет вовсе. Это всего только волнующие, дразнящие разговоры о запретном, стыдном — разговоры неврастеников, и его беда в том, что он всем своим большим сердцем поверил в них.

На второй день, вечером, Безайс шумно вошел в комнату.

— Пойдем к нам, старик,— сказал он.— Знаешь, что я придумал? Я уговорил ребят провести совещание у нас. Хочешь послушать, что там будут говорить?

— А когда они придут?

— Уже пришли.

— Ладно.

Некоторое время он лежал, убеждая себя не лениться и встать, потом нехотя оделся и вышел в столовую. Его сразу охватил сдержанный гул голосов, смех, табачный дым, в котором неясно виднелись чужие лица и огоньки папирос. Их было пять человек, кроме Безайса, который гремел посудой у стола и откровенно гордился честью поить чаем подпольное совещание. На свежей скатерти стояли самовар и чашки, розовел поджаренной коркой пухлый домашний хлеб. Матвеев поклонился и сел. Некоторое время они молчали, а потом заговорили снова — все разом, и в комнате гуще заколебался синий табачный дым.

— Кто любит крепкий? — спросил Безайс.— Не берите тот стул: у него три ножки.

Невысокий косоглазый человек давал информацию о положении на фронте. Это был товарищ Чужой. Новости были лежалые, и говорил он, казалось, больше для себя,— остальные его почти не слушали. Они пили чай и вполголоса разговаривали каждый о своем, кроме одного чернобородого, который молчал и глядел прямо перед собой, о чем-то думая. Он сидел, небрежно раскинувшись грузным, сильным телом, и дымил папиросой в коротких пальцах. Борода делала его похожим на патриарха.

Рядом с ним пил чай, держа блюдце на концах пальцев, пожилой человек. Сам он ничего не говорил и то-

ропливо соглашался со всеми. На углу сидел молодой, красивый парень, и Матвеев чувствовал на себе взгляд его карих глаз. Последний был заслонен самоваром, видны были только часть плеча и ухо, заткнутое ватой.

Матвеев сидел, разглядывая, ожидая чего-то, как сидят на заседаниях, где люди говорят сначала о неважном, скучном, потому что главное так огромно, что трудно говорить о нем сразу. И чашки с цветочками, и домашний хлеб, и благодушный самовар были будто нарочно поставлены здесь, чтобы заслонить эту огромную суть, таящуюся за окнами, в черном воздухе, на пустых улицах спящего города. Да и люди сидели, точно переодетые, точно пришли они к незнакомым пить чай и разговаривать о тихом житейском вздоре. Только в легкой дрожи пальцев, в неуловимом блеске глаз чувствовалось это горячее кровное братство, в котором люди ставят голову, как последний козырь.

У Чужого было неподвижное лицо и невыразительный голос. Пока он говорил, Матвеев несколько раз старался вслушаться, но потом снова забывал все. Речь шла о каком-то телеграфе — не то надо посадить туда своего человека, не то, наоборот, надо его снять, или, может быть, ничего этого и не говорил Чужой,— слова скользили мимо сознания и таяли, как легкий снег. Безайс со смешной торжественностью разливал чай, искоса поглядывая на Матвеева.

Чужой наконец замолчал; после длительной паузы ему задал кто-то никого не интересовавший вопрос, и когда он добросовестно и многословно ответил на него, заговорил тот, пятый, заслоненный самоваром, и, очевидно, заговорил о существе дела. Горячо, комкая слова, он что-то доказывал, но Матвеев не мог понять всего,— он не знал ни города, ни расположения частей, ни последних событий. Урывками Матвеев ловил его возбужденную речь.

— Организация разбита,— говорил он.— Нет ни связей, ни дисциплины, черт знает что! Информация не поставлена, и правильных сведений нет — подбирают прошлогодние сплетни. Надоело уже говорить об этом. Вместо планомерной работы товарищи увлекаются авантюрами. Кто выдумал этот налет на город? Зачем это надо — испугать белых! Очень умно! А мы рискуем связями, людьми, всем аппаратом работы. Вести организацию под нож — и для чего? Сейчас в первую голову надо собирать силы, надо ставить агитацию, расклейку. Кухаренко сошел с ума. Пускай спускает поезда под откос, но зачем лезть на город?

Тут он рассыпал целую кучу названий, имен, номеров полков, в которых Матвеев совершенно запутался.

Потом заговорил чернобородый — его звали Николой. Он налег своей необъятной грудью на край стола и, ощетинив бороду, загудел густым голосом соборного певчего, сердито блестя белками

из-под тяжелых век. Иногда он ударял по столу ладонью величиной с блюдце, и ложки звякали в стаканах.

— На что мы сейчас бьем? — гудел он.— На то, что они не удержатся. Это их последняя ставка. Если б мы думали, что они продержатся долго, тогда имело бы смысл развертывать подполье и заняться пропагандой. Но они не сегодня-завтра слетят. Японцы уже готовятся к эвакуации. Фронт прорван, они откатываются назад. Поэтому главная работа — военная. Под Бекином их теснят,— надо в тылу наделать панику, смешать, спутать карты. Некогда тут кружками заниматься. Кухаренко — горячая башка, он натворит делов. Ты говоришь, что мы их только пугаем? Что ж. И надо пугать. Нельзя дать им спокойно эвакуироваться. Да ты знаешь, что будет на фронте, когда туда дойдут слухи, что в тылу, в Хабаровске, идет пальба с красными?

Его голос рокотал, как басовые клавиши рояля. Он откинулся на стул и обвел всех взглядом, двигая челюстями, как людоед. Все молчали. Потом заговорил Чужой:

— Я слышал, что сорок вторая снялась из Дупелей. Неизвестно, куда ее сунут,— может быть, в прорыв, если успеют.

— Сорок вторая уже выехала.

Кто-то засмеялся.

— Когда?

— На той неделе. А ты только хватился?

— А откуда этот эшелон?

— Пришел с Имана вчера. Сплошь товарный, с боеприпасами.

— Хорошо бы сообщить Кухаренко, чтобы имел в виду.

— Крепкий орех — сорок вагонов. Если его поднять, от депо ничего не останется.

— Ну, мало ли что!

— В прошлый раз, когда была эта история с японским эшелоном, все шло кувырком. А почему? Потому что действовали стадом. Я бегу к Петьке Синицину, а он ушел к деповским. Потом он кинулся меня искать, а тут подрывники куда-то провалились. А кто виноват? Никто. Чужой дядя. Так нельзя.

— Надо связь держать. Двадцать раз об этом говорили, но вам все как в стену горох.

— Опять завели! Семь верст до небес и все лесом.

— Ты настаиваешь на своем, товарищ Каверин?

— Я ни на чем не настаиваю.

— Нашли время! И о чем спор — о словах!

— Надо решать основной вопрос,— выступаем мы или нет? Что это за фокусы? Надо уметь подчиняться.

Было душно, но форточку из осторожности не открывали. В самоваре клокотала вода. На столе валялись окурки, хлебные крошки, пролитый чай темнел пятнами. Кто-то прожег скатерть и смущенно закрыл дыру стаканом.

— Я за выступление. Каверин говорит, что мы ведем организацию под нож. Ну что же? Надо уметь жертвовать людьми. Без этого не бывает войны. И надо окончательно договориться, чтобы больше не было этих разговоров.

Теперь Матвеев слушал, не пропуская ни одного слова. У него было такое чувство, точно он вернулся в свой старый дом. Все было знакомо, и слова были такие привычные — твердые, отточенные слова бойцов. Где-то раньше он сидел на таком же точно совещании, слушал и вдыхал горячий воздух, напитанный опасностью.

Он нагнулся и глотнул остывшего чая. Его руки дрожали. «Мы еще покажем хорошую работу»,— думал он, стараясь унять эту дрожь. Под Калачом, во время мамонтовского рейда, он попал вместе с другими в какую-то конную часть и повесил поверх рубахи саблю и карабин. На небе разгорался ослепительный день, когда они на рысях вылетели на поле, и полынь захрустела под копытами лошадей. Воздух дымился от пыли и зноя. Под ним бесновался его тяжелый конь. Он увидел впереди окопавшуюся цепь, и душа задрожала восторгом и нетерпением, как сверкающий в руке клинок.

— Надо сразу, в одну точку. Пятая рота почти целиком из татар.

— Это липа.

— А сводный полк!

— Он разбросан по всему городу.

— Завтра ушлем кого-нибудь из связи к Кухаренко. Чтоб не было сутолоки, заранее распределим обязанности. Ты уйми своего дурака, этого чернявого. Прошлый раз он совсем с ума сошел. Выступим сразу в нескольких местах. Они сделают главный удар на товарную станцию. Если удастся — подымут этот эшелон с боеприпасами.

— Опасно.

— Почему?

— Да ведь целый состав. Сорок вагонов.

— Ох, что это будет?

— Главные силы бросим на штаб. Это опасная задача, и надо отобрать самых боевых. Потом надо выделить группу человек в пять — резать телефонные провода. Можно поручить комсомольцам, даже девушкам. Они будут не так заметны.

— Повторяю, что я против этого, тем более, что были уже уроки. За что пропал Саечников? За пустяк. Но если уже решено, я предлагаю принять такие меры: во-первых, одновременно со штабом надо ударить по разведке, в частности попытаться освободить Протасова и Бермана.

— Верно.

— Во-вторых, насчет связи. Чтобы в каждой группе был ответственный за это человек. Ведь это курам на смех: бегают друг за другом в догонялки.

— О расклейке тоже надо сказать. Я сам видел позавчера несколько воззваний нарревкома. Одни были приклеены лицом к стене, другие — вверх ногами.

— Штаб я возьму на себя,— сказал Никола.

Теперь Матвеев вспомнил, где это было. В двадцатом году отряд ловил чубатых парней из банды Свекольникова. Стояла серая снежная муть, в которой бесследно тонула цепь. Около монастыря бил пулемет, и пули жадно искали человека. Цепь шла навстречу ветру, и когда сбоку рванул вдруг залп, замерла, упав в снег. Смерть была до того близка, что ее можно было коснуться рукой. Подъехал на измученной лошади комиссар, окликнул командира и сказал сквозь рвущийся ветер:

— Я беру на себя левый фланг...

И теперь он вспомнил все это. Было много таких дней и ночей, оставшихся позади, и они звали его тысячью голосов. Он выпрямил грудь. Это было как раз то самое, чего ему не хватало. Надо идти по своей дороге и делать свою работу — и тогда можно смело смотреть в лицо судьбе. А его судьба была здесь, и шагала отчаянная судьба в ногу с остальными, как ходят солдаты.

Когда встали из-за стола и, толпясь, разбирали пальто и шапки, Матвеев подошел к Николе и отвел его в сторону.

— А я? — спросил он несколько застенчиво.

Никола взглянул на него с сомнением.

— Но ведь у вас — это самое... Вы же больны.

— Теперь я здоров. Почти.

— А это?

— Это? Немного мешает.

— Смотрите, работенка не из легких.

— Ничего. Бывало и хуже. Да я не так уж плох.

Никола вытер лоб и отвел глаза от его ноги.

— Знаете что? Давайте подкрепитесь немного. Потом подумаем.

— Новая нога у меня не вырастет,— возразил Матвеев, нервно передернув плечами.— Пустяки, берите меня, какой я есть. Вместе с костылями. На какую угодно работу, все равно.

— В том-то и дело, что подходящей работы нет.

— Не может быть! Давайте неподходящую. Вы не смотрите на мою ногу, это ничего.

Он начал волноваться. Крупное лицо Николы было неподвижно, и Матвеев понял, что его нелегко будет пронять.

— Но не в этом суть. Ведь есть же какая-нибудь работа, какую я мог бы делать. Расклейка, например? Потом я мог бы пойти вместе с парнями резать провода. Вы говорили, что можно даже послать девушек. Неужели я хуже их?

Он отчаянным усилием перевел дух и ждал ответа, загля-

дывая ему в глаза. «Черт побери,— думал он,— экое упрямое животное!»

Никола осторожно переступил с ноги на ногу.

— Право, не знаю,— сказал он нерешительно,— как тут быть.

Матвеев наклонился к нему.

— Вы хотите сказать,— проговорил он обидчиво,— что я никуда не годен, да?

— Я этого не говорил.

— Но вы так думаете. Я это вижу.

— Я думаю, что вам надо хорошенько отдохнуть.

— Несколько недель я лежал в кровати. Да какое вам дело? Скажите прямо — берете меня или нет?

Он начал выходить из себя. Это была его последняя ставка, и невозможно было удержать рвущийся голос.

— Так нельзя с маху решать. Да вы не волнуйтесь.

— А вы не виляйте! Это дело докторов — разговаривать о болезнях. Мне надоело тут сидеть. Если — нет, то говорите сразу.

В черных глазах Николы он увидел свой приговор и ужас ударил ему в грудь, как кулак.

— Нет,— сказал Никола.

— Нет?

Кони, ломающие полынь, и ослепительные клинки, и желтая пыль метнулись перед его глазами. Ему стало страшно, потому что ломалось последнее, и он хватался за это последнее обеими руками.

— Может быть, все-таки можно? — спросил он униженно и покорно.— Что-нибудь?

Никола покачал головой.

Тогда он взбесился. Что-то лопнуло в нем, как струна; после, вспоминая это, он мучительно стыдился своих слов. Но у каждого человека есть право быть бешеным один раз в жизни, и его минута наступила.

— Думаете, что я никуда не годен? — сказал он, захлебываясь.— Отработался?

Это было начало, а потом он назвал Николу канальей и опрокинул стакан и заявил, что ему наплевать на все. Он хотел куда-то жаловаться и говорил какие-то ему самому непонятные угрозы. Мельком он увидел покрасневшее лицо Безайса, который сидел и перебирал край скатерти. Но остановиться уже нельзя было, и Матвеев говорил, пока не вышел запас его самых бессмысленных и обидных слов. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он замолчал и, подумав, прибавил совершенно некстати:

— Я член партии с восемнадцатого года.

Только теперь он заметил, что все замолчали и смотрят на него. Но ему было все равно. Э, пропади они пропадом! У него было одно желание: схватить Николу за плечи и трясти, пока он не посинеет. Никогда еще мысль о своем бессилии не мучила его, как теперь.

Никола смотрел вниз и носком ботинка шевелил окурок на полу.

— Можете обижаться,— продолжал Матвеев, тяжело дыша.— Мне наплевать. Но я вам покажу еще!

Никола взял его под руку.

— Знаете, что я вам скажу,— начал он тихо, чтобы другие не слышали,— вы горячий малый, но я не обижаюсь. Если вы настаиваете, чтобы я говорил с вами начистоту, то я вам скажу.

— Я ни на чем не настаиваю,— возразил Матвеев, подергивая руку, которую держал Никола.— Это все равно. Мне наплевать.

Никола отвел его в угол, не выпуская руки. Матвеев безразлично оглядел его плотную фигуру. Он сказал правду: ему было все равно.

— Слушайте, паренек,— начал Никола.— Вы коммунист. И вот у вас есть дело, которое вам поручено и которое надо во что бы то ни стало сделать. Партийное дело, понимаете? Да, кроме того, еще и опасное. Вы будете из всех сил стараться, чтобы выполнить его как можно лучше. Так? И вот приходит человек, который говорит: возьмите меня с собой. Возьмете вы его, если он будет вам мешать? Понимаете — мешать? Нет, не возьмете, будь он хоть ваш родной брат. У работы свои права, и она этого не признает. То-то и оно. Если б это было мое дело, то я б вас взял. Но это дело партийное. Поэтому я вас не беру. Не потому, что я не имею права или боюсь, что вас убьют,— а потому, что вы будете мешать нам всем.

— Чем же я буду мешать?

— Чем? Очень просто. Это не игра. Там будет драка. А драться вы не можете, это же понятно. Не обижайтесь. Значит, кому-то придется за вами присматривать. На костылях вы далеко не убежите — значит, будете задерживать других. Поймите меня и бросьте это. Вы же член партии и знаете, что такое работа.

Матвеев поежился. Он отнял свою руку у Николы, повернулся и пошел к двери, чувствуя, что все глядят ему в спину.

В его комнате был густой черный мрак, и лунный свет лежал кое-где оранжевыми пятнами. Около стола он ударился локтем, но боль отозвалась минут через пять. Добравшись до кровати, он сел, чувствуя себя ограбленным.

Так он сидел около часа, пока в соседней комнате не стихло все.

Тогда он вынул из-под подушки револьвер и, наклонившись к окну, заглянул в дуло.

— Как живем? — пробормотал он.

Дуло преданно смотрело ему в глаза. У револьвера была простая, честная душа, какая бывает у больших и сильных собак. Он выручал Матвеева несколько раз раньше, в хорошее время, и готов был выручить сейчас.

Ведь бывают случаи, когда лучше самому выйти за дверь.

На что он был теперь годен — без ноги, когда даже свои обходят его? Он привык жить полной жизнью и идти впереди других, а его просят отойти в сторону и не мешать.

Он осмотрел револьвер. Было трудно пойти на это, как трудно бывает выбросить старую сломанную вещь, к которой давно привык. Смерть — это скверная штука, что бы там ни говорили о ней.

— Привычки нет,— пробормотал он, взводя курок.

Он поднял руку, чтобы выплеснуть жизнь одним взмахом, как выплескивают воду из стакана. Это был плохой выход, но ведь он и не хвастался им.

Но была, очевидно, какая-то годами выраставшая сила, которой он не знал до этого дня. На полу, в лунном квадрате, он увидел свою тень с револьвером у головы и тотчас же вспомнил избитые фразы о трусости, о театральности, о нехорошем кокетстве со смертью,— и ему показался смешным этот банальный жест самоубийц. Такая смерть была бесконечно опошлена в «дневниках происшествий», в праздной болтовне за чайными столами всего мира — да и сам он всегда считал самоубийц самыми худшими из покойников. Несколько минут он сидел, глядя на свою тень и нерешительно царапая подбородок, а потом осторожно, придерживая пальцем, спустил курок. В конце концов у человека всегда найдется время прострелить себе голову.

— Представление откладывается,— прошептал он, накрываясь одеялом.

Я НЕ ТАК УЖ ПЛОХ

Утро было скучное, серое, и за окном ветки сосны раскачивались от ветра. Матвеев проснулся с тяжелой головой и долго лежал, стараясь догадаться, который час.

Потом он встал, лениво оделся и отправился бродить по дому. Стук костылей выводил его из себя,— тогда он пошел к Александре Васильевне, выпросил у нее лоскут материи и долго возился, обматывая концы костылей. Это помогло ему убить полтора часа, но впереди был еще целый день. Он снова вернулся в свою комнату, вынул старые письма, заметки, документы, клочки бумаги — весь этот хлам, который заваливается по карманам, и начал его просматривать. Сначала было скучно, но потом ему удалось убедить себя в том, что это интересно. Здесь были обрывки каких-то тезисов, клочки дорожных впечатлений и стихи о германской революции,— до того плохие, что он улыбнулся: как это он мог написать такую дрянь! На скомканном листке, разрисованном домиками, лошадьми и профилями, было начало письма к Лизе:

«Моя дорогая,— прочел он.— Мы стоим три часа на какой-то станции и простоим еще пять. Безайс...»

На двадцать строк шло описание того, что делал Безайс. Потом о каких-то дровах.

«Меня грызет тоска,— читал он.— С какой радостью я увидел бы тебя! У меня горит сердце, когда я думаю о тебе...»

Он покачал головой. «Горит сердце!» Странное дело: отчего это, когда пишешь, то выходит лучше, чем когда говоришь вслух? Ему ни разу не приходили в голову такие слова, когда он с ней разговаривал. Так, какие-то глупости: как здоровье, что нового.

«Это письмо я пишу больше для себя, потому что оно приедет одновременно со мной,— читал он дальше.— Мне кажется, будто я болтаю с тобой, и опять вечер, и мороз, и эта лавочка около общежития. Ни одну женщину я не любил так. У меня есть странная уверенность, что мы сошлись надолго — на годы...»

Он почувствовал какую-то неловкость и порвал письмо на мелкие клочки.

Дальше шли различные бумажки, относящиеся к их пребыванию в вагоне: несколько листиков из блокнота, на которых они играли в крестики, железнодорожные билеты и карикатуры, которые они рисовали друг на друга. Все это напомнило ему хорошее время — печку, пятиистый чайник и старый, расхлябанный вагон, в котором они неслись навстречу своей судьбе. Вот что удивительно: почему это людям хочется как раз того, чего им нельзя делать?

Это навело его на другую мысль. Он сам, не оглядываясь, топтал конем упавших в траву товарищей и летел вперед, где поблескивала ружьями чужая цепь, потому что некогда и невозможно было сказать им последнее слово. Другие умели падать молча,— сумеет и он.

«Небось не сахарный»,— подумал он.

В пиджаке в кармане была дырка, и за подкладкой лежал твердый квадратный предмет. Он нащупал его и высоко поднял брови.

— Посмотрим, посмотрим,— прошептал он.— Что бы это могло быть? — Он засунул туда руку, отлично зная, что это такое.

Это была фотография Лизы, отклеенная с какого-то удостоверения, испачканная печатью и чернилами. Он вытащил ее и порвал, прежде чем успел пожалеть об этом.

Самое обидное тут было вот что. В этом городе, в его холодных острых углах, люди делают свою работу. Люди схвачены этой работой, как обойма схватывает патроны,— а он, истраченный патрон, выброшен из пачки и лежит, вдавленный в землю, и на него наступают ногами.

Вчерашний вечер вспомнился ему: дым, черные глаза Николы, самовар. Он понимал, что вел себя глупо. Не то, совсем другое надо было говорить. Прислонившись к стене и опираясь на костыль, он снова разговаривал с Николой — возмущался,

упрашивал, шутил, поглядывал на себя в зеркало. Ведь девушкам — даже девушкам! — дают работу. Это его особенно сердило. Он не так уж плох, как это может показаться с первого раза. Годится для стрельбы,— если стрелять с колена.

Вынув револьвер, он разрядил все гнезда барабана, стал посреди комнаты на одно колено и, внимательно целясь в чернильницу, начал щелкать курком. Понемногу он нашел в этом какое-то удовлетворение. Он целился в свою судьбу — в прошлое, отмеченное этой глупой пулей, и в пустое будущее. Поезд бешено нес его через тысячи верст, под колесами стонали мосты, клубился снег. Он спешил, считая минуты, чтобы здесь вечером между забором и скворечней ему разнесли пулей кость на левой ноге. А в будущем у него костыли и какой-нибудь тихий кружок политграмоты два раза в неделю. На собраниях женщины уступают ему место: «Садитесь, товарищ Матвеев. Мы постоим».

Этот кружок политграмоты не давал ему покоя. Конечно, всякая работа хороша и нужна. Но ему один раз пришлось быть в детском саду для слепых. В скверной комнате сидели дети и ощупью плели корзины. С острой жалостью он глядел в их незрячие глаза и через пять минут ушел — он не мог смотреть на их дурацкую работу. Так вот, это разные вещи. Одно дело вести кружок, когда это надо, а другое дело — вести его потому, что не можешь делать ничего другого.

Он тяжело поднялся с пола и опять зарядил револьвер. Слова для дураков. Хорошо бы сделать что-нибудь особенное, отчаянное. Утереть им нос. Спасти кого-нибудь или взорвать казарму. Или застрелить коменданта города. Чтобы потом прибежал Никола и, тиская его руку, говорил: «Извиняюсь. Я ошибся, честное слово, вы обгоните другого здорового».

Он тотчас поймал себя на том, что все это пустяки, нелепость. Уж если обманывать себя, то не таким вздором по крайней мере. Остроумнее будет съесть кашу и лечь спать снова. А сейчас лучше подумать о том, как убить время до обеда.

Должен был прийти Безайс, но его что-то не было. Матвеев начал ходить по комнате, считая половицы. Он недоумевал, куда девать себя.

И тут пришла мысль, показавшаяся ему великолепной. Он решил написать повесть — это не так глупо, как играть в крестики, и все-таки интереснее, чем копаться в старых бумагах. Это оживило его, и он стал лучше думать о самом себе. Повесть рисовалась ему тысячами блестящих красок, заставляя волноваться. Полчаса он метался по комнате, натыкаясь на стулья, отыскивая бумагу и ручку, а потом сел к столу и с маху написал несколько листов. Безайс застал его бледным, измученным, но очень довольным собой.

— Я страшно занят сейчас,— сказал ему Матвеев.— Если тебе нужно что-нибудь, выкладывай сразу.

— Я всего только на минутку. Девчонки что-то затевают с

санитарным отрядом. Это выдумывает Каверин. Очень задаются и делают вид, что без них все провалится.

Матвеев встал и подошел к кровати.

— Я решил сделать тебе удовольствие,— сказал он.— Хочу подарить тебе револьвер. Твой смитик никуда не годен, им можно только заколачивать гвозди. Это кусок железа. А мой...

Он вынул из-под подушки большой, любовно смазанный револьвер. У Безайса был маленький 32-й смит-и-вессон, блестящий и жалкий, как дешевая игрушка. Он давал Безайсу скорее моральное удовлетворение, чем защиту. Револьвер Матвеева был черный, массивный, с благородным матовым отблеском. Его очертания были просты и строги — настоящее боевое оружие, безошибочное и верное, сделанное, чтобы убивать. Закрыв левый глаз, Матвеев прицелился и щелкнул курком. Раздался чистый, высокий звон хорошо закаленной стали. Матвеев опустил руку.

— Когда целишься, бери немного влево и вниз. Не позволяй дуракам щелкать — испортят.

Он сжал рукоятку револьвера, как пожимают руку товарища.

— Достал в губчека,— убили одного агента. Бери.

— Я его не возьму,— ответил Безайс тихо.

Ему хотелось уйти. Эта передача револьвера казалась ему каким-то тяжелым, пугающим обрядом.

— Бери, бери. Он бьет на двести шагов и вот, пока я его знаю, за несколько лет не дал ни одной осечки.

— У меня уже есть твой нож.

— Теперь будет и револьвер.

— Он тебе еще пригодится. Зачем ты его отдаешь?

Матвеев положил револьвер ему на колени.

— Бери. Он мне надоел...

Он торопливо вернулся к столу и взял ручку.

— А что ты хотел мне сказать?

— Я вот зачем: надо это спрятать. Здесь воззвания штаба. Моей собственной работы, между прочим... Ты был когда-нибудь в типографии? Я вымазался там, как негр. Видишь ли, если положить их в столовой или в других комнатах, то до них доберутся мальчишки, наделают из них голубей, и может выйти скверная история. Я положу их здесь на подоконник, ладно?

— Положи.

— Это запас, тут их штук тридцать. Сегодня не моя очередь, на расклейку пойдут ребята из пятерки Чужого. Я пойду их расклеивать завтра ночью. Хочешь посмотреть, как они выглядят? И повозился же я над ними!

— А чего в них особенного? Не видал я печатной бумаги?

Безайс вышел, крайне удивленный. Но как только за ним затворилась дверь, Матвеев добрался до подоконника и вытащил из пачки лист толстой, шершавой бумаги. Он долго разглядывал его со смутной ревностью. Так это работал Безайс,— скажите пожалуйста!

Потом он вернулся к столу и снова налег на повесть. Это и в самом деле хорошо помогало убивать время. Слова толпились перед ним, спеша и перебивая друг друга. Он не знал, какой будет конец, но это ему не мешало. Самое важное было то, что руки были заняты и цель стояла перед ним, как в прежние дни. «Надо только хорошенько поработать, а остальное придет»,— думал он.

За окном дымился бледный туманный день. Колючая ветка по-прежнему качалась, отбивая секунды. Зашел Дмитрий Петрович, томясь каким-то новым анекдотом, но Матвеев безжалостно отделался от него. Потом, подобострастно изгибаясь, вошла полосатая кошка и села напротив, блестя зелеными глазами. Он терпел ее несколько минут, но потом рассердился, бросил в нее коробкой спичек и громко сказал:«Дура!»

Повесть ему нравилась. На бумаге самые обычные слова становились особенными и приобретали какой-то новый вкус. Понемногу из их беспорядочной разноцветной груды слагался узор событий, людей, имен. Слова находили свое место и становились, выравниваясь, как в строю.

Он писал все, что приходило в голову, без всякого плана. Ему казалось, что надо только придумать побольше героев и дать им какое-нибудь занятие, а уж потом они сами разберутся, что им делать. В творческом восторге он очерчивал людей, давал им внешность, привычки, заставлял их любить и ненавидеть друг друга. Для начала он женил одного рабочего на дочери фабриканта, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Она завивала волосы, поливала цветы и шепотом рассказывала сплетни своему рыжему коту. Ее отец ловил мух и отрывал у них крылья. Он был скопищем всех пороков — и Матвеев не мог думать о нем без отвращения.

Ему нравились сильные моменты, которые ужасали и подавляли воображение. Он не любил тихих, робких книг, в которых обыкновенные люди ходят и говорят обыкновенные слова. Ему хотелось придумать слова невиданной красоты, чтобы повесть гремела и сверкала ими. Пожар и кровь — вот что ему было надо. Тогда он устроил налет на город и начал азартно убивать людей, своих и чужих — всех, поджег город и взорвал водокачку. Бумага задымилась кровью, и перо нагрелось от горячих слов. Он перечитал написанное и бросил в повесть горсть многоточий и восклицательных знаков, чтобы оживить ее и прибавить огня. Ложась спать, он самодовольно улыбался и думал, что день не прошел даром.

Утром он, нечесаный, заспанный, снова сел за стол и писал до обеда. Он работал изо всех сил, как ломовая лошадь, и дошел до полного изнеможения. Безайс не заходил, и Матвеев был благодарен ему за это. Он старался не оглядываться и не думать ни о чем.

После обеда он, бродя по комнате, подошел к окну и машиналь-

но вынул одно воззвание. Шрифт был неровный, и буквы ложились на бумагу кучами, как икра. Он прочел его от начала до конца, потом перечитал снова. В конце крупно были набраны фразы:

«Пусть каждый возьмет оружие и станет в ряды бойцов.

Да здравствует власть труда!

Смерть убийцам!»

Он положил прокламацию и отошел от окна, как отравленный. Эти самые обыкновенные, давно знакомые слова ударили его в самое сердце: казалось, они были обращены прямо к нему.

И когда потом он взялся за повесть, ему стало ясно, что она никогда не будет написана. Он перечитал ее, недоумевая,— неужели он сам написал это? В ней было столько покойников, что она походила на кладбище, на какую-то братскую могилу. Это не годилось. Оказалось, что писать гораздо труднее, чем он думал сначала. Он сам сделал своих героев, дал им дар слова и расставил их по местам, а потом они начали жить своей особой жизнью. Они рвались из-под его власти и все делали по-своему. Главный герой, коммунист, на одном решительном заседании, когда городу угрожали бандиты, встал и понес такой вздор, что Матвееву стало неудобно за него. Он старался, чтобы все было как можно лучше, а между тем получалось совсем нехорошо.

Он отодвинул бумагу в сторону. Вся его повесть не стоила запятой в том воззвании, наспех кем-то написанном.

Александра Васильевна принесла охапку дров и затопила печь. Было темно; Матвеев, не зажигая лампы, перешел к печке и целый час бессмысленно глядел на огонь. Это был конец, — ему начало казаться, что он и в самом деле никуда не годен.

Пахнуло холодом, будто кто-то открыл дверь. Огромная тишина вошла в комнату, и ее дыхание шевелило волосы Матвеева. Лед на стеклах был точно прозрачный мох. Прямо в окно смотрела круглая луна, и ее неживой свет мешался с вздрагивающим отблеском печки, как на палитре смешиваются краски — голубая и красная. Тени бродили по стенам, как в брошенном доме.

Тогда Матвеев поднялся и стал терпеливо одеваться. В темноте, натыкаясь на мебель и вполголоса ругая все, что попадалось на дороге, он отыскал шинель. Шапка куда-то девалась; он обшарил всю комнату, но она точно провалилась. Раз двадцать ему попадался под руки ботинок с левой ноги и довел его почти до исступления. Он швырнул его в угол, потом ощупал каждый аршин комнаты, но через несколько минут его рука снова наткнулась на ботинок. Тогда он сел прямо на пол и вытер пот.

— Надо отдохнуть и подумать,— сказал он.— Спешить некуда, свободного времени у меня много — целые вагоны. Куда же она девалась, подлая?

Отдохнув, он снова взялся за поиски. Он отошел к окну и оттуда начал правильную осаду, не пропуская ничего. Сначала он налетел головой на угол комода, а потом уронил зеленую вазу с ковылем, и она разбилась так громко, что он вздрогнул.

— Так я и знал,— прошептал он, трогая голову.

Через десять минут он нашел шапку. Разумеется, она лежала на самом видном месте — на стуле. Он схватил ее с чувством охотника, загнавшего наконец дичь.

Чтобы одеться, пришлось подойти к кровати, и там, держась одной рукой за спинку, он надел шинель и застегнул пуговицы. Потом он взял сверток прокламаций и ведерко клея, подошел к двери, но вдруг остановился и засмеялся. Этого нельзя было оставить так. Он собрал со стола исписанные листы повести, подошел к печке и с злорадным удовлетворением сунул бумагу в угли. Огонь исправил все: через минуту остался только шелестящий ломкий пепел. С облегченным сердцем Матвеев вышел из комнаты.

В столовой никого не было. Он подошел к другой двери и осторожно заглянул в нее. Александра Васильевна, стоя на коленях, раздевала младшего и вполголоса говорила ему неистощимую материнскую ложь о хороших мальчиках, которые не рвут брюк, любят пить рыбий жир и никогда не воруют сахар из буфета. «Переплетчики», подавленные сознанием своей испорченности, хмуро молчали.

Она раздевала их медленно, и Матвеев начал бояться, что придет Безайс. Уложив мальчиков, она потушила огонь и вышла из комнаты. Он прижался к стене, и она прошла мимо, едва не задев его. Он подождал немного и затем быстро шмыгнул в прихожую. В сенях несколько минут он шарил рукой, отыскивая крючок, в смертельном страхе, что его накроют, и когда он почти решил уже, что все пропало, дверь бесшумно открылась. Он вышел на двор.

Будто целую вечность он не дышал свежим воздухом. Он впивал полной грудью этот густой отличный воздух, чувствуя, как согревается кровь и наполняет тело играющей силой. Слишком уж долго он валялся в кровати и пил лекарства. Надо было с самого начала кормить его мясом и выпускать на двор поглотать настоящего воздуха,— тогда, может быть, все пошло бы иначе.

На дворе лежали острые тени, черные, как сажа, и только края заборов, опушенные снегом, были очерчены узкой полоской света. Он открыл калитку и вышел, прижимая к груди тяжелый сверток. Улица была пуста и едва намечалась вдали пятнами огней. Залитая лунным блеском, она казалась уютной и напоминала святочную открытку с елочными свечами и зайцами, которую присылают с поздравлениями на Новый год. Через дорогу падали кружевные тени берез. На лавочке жалась одинокая пара — в такую ночь хорошо бывает молчать, целоваться и греть руки друг другу. Сверху на город смотрела луна, и снег горел синим огнем. Матвеев перешел через дорогу и пошел по теневой стороне улицы размеренной походкой человека, который гуляет для собственного удовольствия.

Он жалел только об одном: почему ему раньше не пришло это в голову. Надо было самому пойти и доказать, что ты умеешь делать.

К нему снова вернулась уверенность здорового человека, который сумеет дать сдачи всякому. Ему даже стало смешно, когда он вспомнил слова Николы, что о нем, о Матвееве, надо кому-то заботиться.

— Я тоже годен к чему-нибудь,— сказал он счастливо, чувствуя тяжелую силу своих рук и плеч.

Он перешел через мост, и доски глухо звучали под его шагами. Около длинного низкого склада спал сторож в овчинной шубе. Матвеев осторожно обошел его, прислонился к забору и, немного волнуясь, вынул теплый лист бумаги. Теперь надо было поставить ведерко на землю и намазать бумагу клеем. Первая проба была неудачна: бумага лопнула в двух местах, он вымазал рукав, потом уронил кисть, а нагибаться ему было очень трудно. Он огорченно глядел на порванное воззвание.

— Не спешить и не волноваться,— прошептал он.— Безайс говорит, что это вредно для меня.

Тотчас он отметил, что сохранил способность шутить, и это подняло в нем дух. Несколько минут он возился, отыскивая кисть и ругая ее как только мог, а потом снова взялся наклеивать. Ведерко он прижал коленом к забору, и это освободило ему руки. Бумагу пришлось придерживать зубами и даже подбородком. Расправив ее на заборе, он отошел и полюбовался своей работой. Никола говорил вздор — он сделал это не хуже других.

Потом он придумал новый способ и стал расклеивать воззвания около лавочек, на которые можно было поставить ведерко. Он вошел во вкус и уже не боялся ничего. На углу, согнувшись на козлах, зябли извозчики. Он спросил у них, который час, потом сказал, что завтра, наверное, будет оттепель, и пошел дальше, внутренне смеясь. Завтра будет кое-что получше оттепели — для него, например. Это совсем развеселило его; остановившись около телеграфного столба, он на свету с холодной наглостью наклеил бумагу и, не торопясь, завернул за угол. Тут ему подвернулся почтовый ящик и через несколько шагов — водокачка. Оглядываясь, он издали видел сверкавшую в лунном блеске бумагу.

Город раскрывался навстречу новыми улицами с палисадниками, с заиндевевшими деревьями, немой и сонный. Старый ветер дул в лицо, зажигая кровь. Матвеев пошел, распахнув шинель, навстречу ветру, не помня себя от небывалого мучительного восторга. Он шел догонять своих, и все равно, по какой земле идти — по травяной Украине, которую он топтал конем из конца в конец, или по этому перламутровому снегу. В неверном тумане шли призрачные полки, скрипела кожа на седлах, тлели цигарки, и здесь, на этих завороженных улицах, он слышал, как звякают

кубанские шашки о стремена. Кони, кони, веселые дни, развеянные в небо, в дым!

И когда сзади, разламываясь на звонкие куски, прокатился выстрел, Матвеев не испугался. Выстрел был последней, самой высокой нотой в этой серьезной музыке. Он сунул руку в карман, где пролежал себе место черный револьвер, и вдруг вспомнил, что отдал его Безайсу.

— Вот так штука! — прошептал Матвеев ошеломленно.

Сзади еще и еще торопливо захлопали выстрелы, пули пошли сверлить голубой туман. Раздались шаги и тревожный крик:

— Стой!

Он сам испортил себе игру, но теперь было поздно и некогда жалеть. Изо всех сил он побежал вперед, прыгая на костылях. Получилось неплохо, во всяком случае, могло быть и хуже. Он искал глазами открытую калитку, незапертые ворота, но не было ни одной щели.

Они не стреляли больше и бежали молча по его следам. Поворачивая за угол, он мельком увидел двоих с винтовками, в шинелях. Он удвоил усилия и несся вперед на своих костылях с сумасшедшей, как ему казалось, скоростью. «Убегу!» — решил он вдруг, и сердце запело в нем, как птица.

Но уже бежали ему навстречу еще трое, уже видел он их штыки и желтую кожу подсумков; впереди, хлопая полами шинели, бежал офицер — отчетливо были видны на нем ремни и шашка, которую он придерживал рукой на отлете. Тогда Матвеев бросил сверток бумаги и ведерко — оно покатилось, загремев,— кинулся в узкий угол, черневший между двумя домами, и замер, прижавшись пылавшим лицом к ледяным камням. Здесь был черный, неподвижный мрак и впереди проход блестел, как серебряная дверь.

Крепкий топот сапог приближался с обеих сторон. Сначала добежали те двое, которые догоняли его, и, брякая винтовками, остановились за стеной, не показываясь. Через несколько секунд слева подошли остальные,— шли уже шагом, шурша шинелями по стене, потому что бежать ему было некуда. Они окликнули тех двоих.

— Хамидулин, ты? — И солдат справа ответил что-то.

— Оружие есть?

Это спрашивали уже у Матвеева.

— Нет.

Снова раздались торопливые голоса, шаги, потом в проходе показался офицер — пожилой усатый человек с повязанной щекой; он стоял, держа револьвер вперед.

— Подними руки вверх.

Матвеев помолчал. Они хотели взять его со всеми удобствами, как покупку с прилавка,— по крайней мере этого не будет.

— Иди сюда, я с тобой что-то сделаю,— ответил он.

Угроза была беззубая, жалкая, н офицер поиял это,— оружия у иего не было, иначе ои отстреливался бы.

— Вылазь оттуда.

— Не пойду! — глухо отозвался Матвеев.

Офицер вздохиул, потом спрятал револьвер в кобуру и поправил повязку. Миого раз приходилось это слышать, и ие было уже ни возбуждеиия, ни любопытства, ни дрожи — иичего. Все оии иадеются на какой-то последиий, безумиый шаис и — смешио — ие понимают того, что есть закои, точиый и иемой, с которым иельзя спорить, как иельзя спорить с камием. Люди проявляют болезиеииый интерес к своему концу. Коиечио, этому, загиаииому в угол, кажется, будто на всей земле ему первому приходится умирать.

— Ну, вылазь, вылазь,— сказал ои терпелнво.

Матвеев молчал. Ои уперся спииой в угол и выставил костыли иемиого вперед. Это давало ему устойчивость. Тут было узко, около аршииа от стеиы до стеиы; слева был дом, справа широкий камеииый амбар аляповатой постройки. В проходе, впереди, полукругом стояли солдаты, держа виитовки иа ремие; иа стволах и граиях штыков отражался полосками луииый блеск. Прямо иад головой Матвеева было окио, закрытое ставием, сквозь щели желтый свет ложился тоикой сеткой иа щербатую стеиу амбара. Там, за окиом, кто-то играл иа рояле гамму — играл упорио, иастойчиво, точио заколачивая гвозди. Гамма ступеиьками взбиралась вверх до тоичайших иот и сиова спускалась к рокочущим басам.

— Выходи, что ли. Возиться тут с тобой!

На мгиовеиие у иего мелькиула мысль выйти. «Скорей отделаюсь»,— подумал ои. Но все в ием запротестовало против этого — до коица, так до коица,— и ои остался стоять. Наступило молчаиие, потом свет в проходе исчез. Поставив виитовку к стеие, солдат сделал шаг вперед, чтобы вытащить его иаружу, как вытаскивают под иож упирающегося телка. Ои приблизился, шаря по стеиам руками, когда вдруг его остановил короткий удар по переиосице. Прежде чем ои успел удивиться, иовый удар между горлом и челюстью, отдавшись во всем теле, запрокииул ему голову иазад и боком бросил иа сиег, как вещь.

Ои подиялся, дрожа от иеожидаииости, прислушиваясь к шуму крови в ушах. Ои ие поимал, что это такое, и слепо бросился вперед, чтобы тяжестью тела подмять его под жестокие удары казеииых сапог. Дальше этого ои ие видел иичего. Перед иим был калека, человек иа костылях, лишеииый защиты,— и он смел еще отбиваться? Солдат размахиулся, ударил с плеча и попал куда-то, по уху, или по груди,— раздался глухой звук.

Но ему дорого обошелся этот удар. На иего обрушился целый град быстрых, точиых ударов,— по подбородку, по губам, по иосу,— в иих чувствовались вериый глаз и тяжелая рука. Оии ошеломляли, ие давали опомииться и закрывали человека

как стеной. Это было уже искусство, перед которым была бессильна его неуклюжая деревенская возня с широкими вялыми размахами и бесцельной жестокостью.

Он кидался и снова отлетал назад, отброшенный этой безошибочной силой. Потом — пауза и новый удар, опять между челюстью и горлом. И, наконец, последний, страшный, усиленный отчаянием удар в живот, нанесенный мгновенным разрядом всех мускулов. Он проник сквозь шинель, сквозь ватную телогрейку,— не уберегло и мохнатое японское белье,— подсек колени и сломал человека пополам. Для него это оказалось на несколько градусов крепче, чем он мог вынести, и солдат вылез на улицу, уже не помня, с чего все началось.

Несколько наполненных недоумением минут слышно было, как бубнил дурак за окном свои бессмысленные гаммы, поднимаясь и опускаясь по клавишам,— сначала густое рычащее «до», потом вверх, вверх, к тонкой, как волос, ноте. Потом в угол бросились, толкаясь, сразу трое. Они спешили ради бескорыстного желания поколотить человека,— поколотить так, слегка, не до крови,— скорее игра, чем серьезное избиение. Но с первых же секунд они увидели, что человек относится к этой игре горячо. В одно мгновение они получили свое — больше всего по лицу. Он рассыпал удары щедро, полной горстью, показывая свое блестящее мастерство, и держал всех троих на расстоянии вытянутой руки.

Бывает, что свершается изумительное, невозможное. Одна великолепная минута встает над всем и горит огнем, но потом снова наступает обычный порядок вещей,— так было всегда с того времени, как земля начала вертеться. Он бил их троих всех сразу,— он! — но его минута уже истекала. Это немыслимо, чтобы один человек на костылях мог устоять против троих хорошо накормленных мужчин. Хрустнул костыль, и кончилась великолепная матвеевская минута. Настало его время лежать на земле, а над ним вознились трое солдат, обдирая каблуками стены и звеня подсумками.

— Трое вас там дураков,— сказал офицер, нетерпеливо прислушиваясь.— Тащите его сюда.

Это было легче сказать, чем сделать. Он упирался, вертелся, как бешеный, и не давался никак. Его можно было только бить, и они отводили душу, колотя от всего сердца, неторопливо и старательно, как выбивают из матраца пыль. Наконец они выволокли его наружу под руки, тяжело дыша и встряхивая на каждом шагу.

Он опять увидел ослепительную торжествующую луну и синий снег. Офицер, опустив глаза, разглядывал его ногу. Четвертый солдат стоял, прислонившись к стене, ожесточенно плюясь; его лицо в лунном свете было бледно, как неживое. На земле валялись брошенные прокламации и вздрагивали на ветру, точно умирая.

— Можешь идтн?

Они здорово отделалн его. Что-то случилось с левой рукой, наверное, наступнлн каблуком, потому что пальцы распухлн и сгибались с трудом. Но особенно досталось голове. Губы были разбнты, и текла кровь, на затылке глубоко оцарапалн кожу. Он выплюнул кровь н сказал:

— Без костылей не могу. А однн костыль сломан.

Он вдруг почувствовал, что у него по одеревеневшему лнцу от усталости и напряжения текут слезы, н сам удивнлся этому.

— Может, его здесь, ваше благородне? — спроснлн сзадн.

Дыша на озябшие пальцы, офнцер кинул сердитый взгляд.

— Не крути мне голову, не заскакнвай. Соберите бумагу. А ты — что там с тобой? Достань его костыли.

Когда солдат, державшнй за левую руку, нагнулся, Матвеев обратнлся к самому себе с единственной мольбой. Надо было только на несколько секунд удержать равновесие. Затаив дыханне, он вырвал вдруг левую руку н, резкнм двнженнем всего тела повернувшнсь на каблуке, хватил другого солдата опухшнм кулаком. От снлы удара его самого покачнуло назад, он схватился за рукав солдата, и они упали вместе.

Это была его последняя драка, н он старался как только мог. Иногда им удавалось прижать его, но потом снова одннм движением он вдруг вырывался н бнл, что было мочи. Временн у него оставалось немного, и он спешнл, одновременно нанося несколько ударов. Один нз солдат все время старался ударить его в пах,— подлый, блатной удар,— и Матвеев, нзловчившись, с огромным удовольствнем хватил его ногой в грудь.

Ему удалось высвободить голову, и он судорожно вцепнлся зубамн в чью-то руку. Ни на минуту он не обманывал себя. Арнфметнка была против него, еще нн одному человеку не удалось справнться с этой проклятой наукой. Она знает только свон четыре действня и не слушает нн возражений, ни просьб.

— Ты кусаться... так ты кусаться...— услышал он прерывающийся голос.

Отчаянным усилием он сброснл с себя вцепнвшегося в горло солдата, и тут вдруг небо и земля лопнулн в оглушительном грохоте. На мгновенне кровь остановилась в нем, а потом метнулась горячей волной. Луна крнвым зигзагом падала с неба, и снег стал горячнм. Блнзко, около самых глаз, он увндел чей-то сапог, массивный и тяжелый, как утюг.

Жнзнь уходнла из тела с каждым ударом сердца, на снегу расползалось большое вншневое пятно, но он был слишком здоров, чтобы умереть сразу. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Матвеев повернулся на жнвот и медленно подобрал под себя коленн. Потом, вершок за вершком, напрягая все силы, он поднялся на руках на четвереньки н поднял голову, повернув к солдатам побелевшее лнцо. Надо было кончать н уходить,— но он ннкак не мог отделаться от этой смешной прнвычки.

— Здоровый... дьявол,— донеслось до него.— Помучились с ним...

Это наполнило его безумной гордостью. Оно немного опоздало, его признание, но все-таки пришло наконец. Теперь он получил все, что ему причиталось. Снова он стоял в строю и смотрел на людей как равный и шел вместе со всеми напролом, через жизнь и смерть. Клонясь к земле, на снег, под невыносимой тяжестью роняя силы, он улыбнулся разбитыми губами.

Вдруг он увидел большую тень. Перед ним, один в пустом городе, стоял его конь, с белой отметиной на лбу, похожей на сердце и смотрел в лицо преданными темными глазами. Черным серебром отливала грива, точеные ноги стояли твердо.

— Ты?..

Он поймал повод, вскочил на холодное седло и полетел прямо по длинной лунной дороге — догонять своих.

— Ну... я... не так уж плох,— прошептал он, точно отвечая на чей-то, когда-то заданный вопрос.

Это было его последнее тщеславие.

1928

КОММЕНТАРИИ

Бронепоезд 14-69

Повесть стала «книгой жизни» Вс. Иванова, он долгие годы продолжал работу над ее совершенствованием; им были созданы три редакции и множество вариантов со стилевыми и жанровыми уточнениями повествования. Текст настоящего издания соответствует третьей редакции повести (1934), которая была утверждена как наиболее точный, полный и адекватный замыслу вариант Комиссией по литературному наследию Вс. Иванова.

Повесть основана на типическом для гражданской войны эпизоде захвата или нападения на вражеский бронепоезд партизан.

Типичны не только события повести, но реальную подоплеку имеют и некоторые персонажи. Так, например, прототипом Пеклеванова отчасти послужил, по собственному признанию писателя, «товарищ Афанасий» — А. А. Наумов (Назаров), большевик, по сути бывший одним из руководителей омского подполья, к деятельности которого имел прямое отношение Вс. Иванов.

«Бронепоезд 14-69» издавался отдельно, но чаще всего (с 1923 года) включался Ивановым в цикл «Партизанских повестей», в состав которого входили «Партизаны» (1920—1921) и «Цветные ветра» (октябрь 1921). Появление этого цикла получило самый широкий резонанс и в критике, и в писательской среде, и в массовой читательской аудитории. После выхода «Бронепоезда 14-69» А. Воронский писал В. И. Ленину: «Я задался целью дать и вывести в свет целую группу молодых беллетристов — наших или близких к нам... Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш...» (Новый мир.— 1964.— № 12.— с. 216). «Мы уже привыкли получать от Вс. Иванова одну прекрасную вещь за другой: «Бронепоезд 14-69» — одно из лучших его творений.» (Фурманов Дм. Собр. соч.— М., 1961.— Т. 3.— С. 350).

С таким же энтузиазмом восприняла критика и открытия, сделанные Ивановым в области формы: красочный словарь, сказовую манеру повествования, особый ритм, живое лирическое мироощущение, жизнеутверждающий пафос. «Про вещи Вс. Иванова первой поры можно сказать, что они не построены, а вытканы как ковер» (Лежнев А. Всеволод Иванов // Литературные будни.— М., 1929.— с. 271).

Не обошлось и без ожесточенных полемик. Вс. Иванова обвиняли в возвеличивании стихийного элемента в революции, в «незнании истинных пружин партизанского движения» и др. Против подобных нареканий, в защиту точной исторической правды, воссозданной и в творчестве Иванова,

и в других произведениях 20-х годов, выступила Л. Рейснер: «Кто смеет утверждать, что крестьянство, а отчасти пролетариат вступили в революцию... такими же сознательными и организованными, как, например, в ленинский набор... тот хочет лишить революцию ее заслуги. Потому-то и изумительна история этих лет... что русский мужик и рабочий шли в революцию, отдирая свои ноги из вековой, застарелой грязи...» (Рейснер Л. Против литературного бандитизма // Журналист.— 1926.— № 1.— с. 27).

Эта проблема стихийности и сегодня широко комментируется в науке о творчестве Иванова, однако расценивается как проявление «закономерного этапа развития революции», вовлекавшей в свои ряды широчайшие демократические массы.

На основе повести к десятилетию Октября Иванов создал одноименную пьесу, прочно вошедшую в число лучших произведений советской драматургии, принесшую Вс. Иванову мировую известность. Режиссером Ю. Чулюкиным, использовавшим мотив «Партизанских повестей», в 1973 г. был поставлен фильм «И на Тихом океане...», в 1956 г. в Большом театре шла опера Д. Кабалевского «Никита Вершинин».

Падение Даира

Повесть построена на строго документальной основе. Автор в период Перекопско-Чонгарской операции, послужившей историческим материалом для создания «Падения Даира», занимал должность начальника Информационно-исторического отделения при штабе Шестой армии Южного фронта, находившегося под командованием М. В. Фрунзе. Параллельно с повестью Малышкиным был создан военно-теоретический труд «Описание боевых действий 6-й армии по овладению Крымом», заслуживший одобрение военного командования, а позднее и исторический очерк «Перекоп» (1924), говорящие о доскональном и точном знании писателем всех событий, связанных с беспримерным подвигом красноармейцев при переходе Сиваша и штурме перекопской твердыни, завершившихся «ликвидацией последнего крупного организованного фронта Гражданской войны» (БСЭ.— 3-е изд. — Т. 19.— С. 93).

О верности «Падения Даира» историческим фактам говорит многое: это и описание перекопских укреплений, «почти дословно совпадающее с описанием врангелевской обороны, сделанным М. В. Фрунзе в статье «Памяти Перекопа и Чонгара», и тот факт, «что приказ командующего фронтом, приведенный в тексте «Падения Даира», в значительной степени повторяет в сжатом, концентрированном виде исторические указания... М. В. Фрунзе, данные им перед штурмом Перекопа, и мн. др.» (Вольпе Л. Примечания//Малышкин А. Соч.— М., 1965.— Т. 1.— С. 535—536).

Перекопско-Чонгарская операция, названная В. И. Лениным «одной из самых блестящих страниц Красной Армии» (ПСС.— Т. 42.— С. 130), длилась 10 дней (7—17 ноября 1920 г.). Писатель «втрое» уплотнил историческое время, представил события в сжатом виде. Так, центральный эпизод повести — смотр войск (гл. V), состоявшийся несколькими неделями раньше, на Каховском плацдарме, перенесен Малышкиным на 6 ноября, за день до трехлетней Октябрьской годовщины, за сутки до начала легендарного перехода Сиваша. Из десяти дней победоносных боевых действий Красной Армии против Врангеля Малышкин сосредоточивает пристальное внимание лишь на событиях трех дней — с 7 по 9 ноября, от сивашской эпопеи до взятия Турецкого вала 51-й дивизией под командованием В. К. Блюхера. Останавливаясь более подробно на штурме Юшуньских позиций, «очень бегло Малышкин говорит о штурме Чонгарского перешейка... (не называя его своим именем), а в последней главе повести, не соблюдая хронологических рамок... о преследовании белых войск, окончательном их разгроме, вступлении Красной Армии» в Севастополь (15 ноября) и города Крыма.

Особое место в повести отведено деятельности штабов, командования и стратегическим разработкам плана операции М. В. Фрунзе (в повести — «командарм N»). Практически вся экспозиция «Падения Даира» посвящена

рождению «знаменнтого удара комаидарма N», основанного на «молнненосном маневре», в «обход террасы» с востока, через Сиваш н Чонгар, в тыл врагу, к Юшуньскнм позицням, с одиовременным прорывом глубокой обороны Турецкого вала силами 6-й и др. армий.

Образу Фрунзе, которого Малышкин хорошо знал, посвящена не включенная в основиой текст одна из глав «Падения Данра» (глав было 9), где воссоздавался более детальный портрет комаидарма, подчеркивались его образоваиность н демократнзм, анализнровалнсь военио-теоретические н нсторнческие воззрення. Но эта подробиая аиалнтическая н психологнческая развертка образа вступила в известное протнворечне с закоиами героического жаира, тяготеющимн к обобщеиности и идеализации характера. Поэтому Малышкин, следуя нм, «монумеитализнровал» образ героя, представнл его как тнп, концеитрирующнй в себе героическую волю масс.

Исторнчески достоверны н картины, связаиные с жизнью белого Данра. Это не только точное воспронзведение всей системы укреплений, но и скрытое от войск врангелевским командованием предложенне Фрунзе о капнтуляцнн с соответствующей гараитией амнистии всему личному составу белой армии; это н тайный план эвакуацнн, который был реализован лншь прн помощн «отчаянной контратакн на наступавшне красные днвнзнн находившегося в резерве белых коиного корпуса генерала Барбовича (в повести Оборовича)». Это позволнло белогвардейцам в ночь на 12 ноября начать отступленне к портам н оторваться на 1—2 перехода от преследовавших нх красных днвнзий.

Однако н здесь автор не только летопнсец событнй, но н тонкнй художннк. С одной стороны, «пнсатель создает серию зарисовок бывших аристократов, спекулянтов, завсегдатаев кафе», передает «нервозность, тревогу, страх, чувства обреченности, злорадства, лютой ненавнстн к народу».

С другой стороны, «это мнр, населенный людьмн, н нх чувства н настроення побуждалн художинка нскать путн его непосредственного самовыражения в роковые минуты... Так возник образ Данра, отмеченный печатью красоты и обреченности, образ, в котором едва-едва уловимо прнсутствне н авторской эмоции... связанной, вероятно, с мыслямн н тревогамн о судьбе культуры в обстоятельствах революциоиных потрясений». Между тем нет оснований «серьезно говорнть о том, что элегнчностью и эстетизацией отмечеиа картина Даира, если вспоминть, что мотнвы отчаяння н смятенностн, любовного упоения и страха... свою художественную кульмннацню получают в апоплексической смерти «тучного», в пейзаже ночного города, волнующем и зловещем...» (Хватов А. И. Александр Малышкнн.— Л., 1985.— С. 44).

Исполнениый в тонах н мотнвах декадентской н модернистской лнтературы начала XX века, образ белого Данра предвосхищает собой знаменитые строкн поэмы В. Маяковского «Хорошо»:

Кругом
тонула,
Россня Блока...
Незнакомкн,
дымкн севера,
Шли
на дно,
как ндут
обломкн...

Появление в печати повести было горячо встречено демократнческим читателем и крнтнкой. «Падение Данра» стало «достоянием всех красноармейских клубов н библиотек, как кинга, запечатлевшая славные традицин первого героического поколения Красной Армнн» (Красная звезда.— 1926.— № 22(622).— 4 февраля).

В первых же откликах былн даны высокие оценки художественностн н исторической достоверностн повести. «Повесть написана какой-то особой натянутостью иервов, а вместе с тем автор сумел придать ей характер эпоса, отчего памятные днн уже уходят в седую даль прошлого, героического,

уже окутанного дымкой легенд, саг и сказаний» (Воронский А. Падение Даира А. Малышкина.— Цит. по кн.: Воронский А. Литературно-критические статьи.— М., 1963.—С. 180). Это «повесть реалистическая, порою почти протокольная», в ней «подслушан... ход истории, топот ее железных шагов — это дано немногим художникам... главное в повести — слияние реализма и героической романтики... Это какой-то особый род живописного изображения, здесь намечены пути к подлинно нужной сейчас поэзии масс» (Горбачев Г. Художественная проза революции // Звезда.— 1924.—№ 1).

В рецензиях на «Падение Даира» были сделаны и первые попытки определить жанрово-видовую специфику повести: «Это род лиро-эпической героической поэмы»... «Автор рассказывает о днях борьбы... не как сторонний наблюдатель, а как участник, как солдат революции — потому в его голосе то дрожание живой страсти, то пафос, которые воссоздать не в состоянии самое изощренное мастерство...» «Это романтика гражданской войны». (Лежиев А.//Красная новь.— 1926.— № 3.— С. 261).

Стр. 75. ...*громадный ромб полуострова...*— Крымский полуостров, называемый в тексте Даиром.

...*связан с материком узким перешейком...* — Перекопский перешеек, укрепленный с северной стороны мощными, оборонительными сооружениями Турецкого вала (Даирской скалы), с южной — линиями менее прочной обороны Юшуньских (Эншуньских) высот.

... *еще одна тонкая нить суши ... прерванная проливом посередине* ... — по всей вероятности, речь идет о Чонгаре и Арбатской стрелке.

Стр. 76. *Заволжская армия* — Четвертая армия, которая действительно до переброски ее на Южный фронт действовала в степях Заволжья, а в дальнейшем совместно с 3-м Конным корпусом наносила вспомогательный удар на Чонгар.

... *громадой взорванного моста* ... — имеется в виду взорванный белыми Чонгарский мост.

«Антарский пролив» — по-видимому, Чонгарский пролив.

Счастливый, роковой ветер дул ... — образ, продолжающий символику блоковского «ветра революции».

Стр. 79. *В селе Тагинка...*— в действительности — село Чаплинка.

Железная и Пензенская дивизии — 15-я и 52-я дивизии, в тяжелых погодных условиях форсировавшие Сиваш в ночь на 8 ноября 1920 г.

... *захватила восемь танков...*— имеются в виду события на Каховском плацдарме, где 51-я, 52-я и др. дивизии держали упорную оборону, против которой Врангель применил новый тогда вид оружия — танки. Многие из них и на Каховском рубеже и при наступательных действиях Красной Армии в Северной Таврии стали военными трофеями.

Стр. 80. ... *становье орд,* как и дальше,— *«тьмы тем», «кочевья»,*— очевидная перекличка со «Скифами» и предреволюционными циклами поэзии А. Блока («На поле Куликовом»).

Стр. 83. ... *шли, шли, шли*.... как и дальше,— *«великим походом шли города»,*— перекличка со «150 000 000» В. Маяковского.

Стр. 86. *«Гаврило, крути!»* — художественный акцент на близкую ситуацию известного стихотворения Э. Багрицкого «Отъезд»:

> Крути, Гаврила, и Гаврила
> Накручивает. И уже не поезд,
> А яростный летит благовеститель,—
> Архангел Гавриил...

Стр. 87. *Эгретка* — пучок перьев, украшающих женскую прическу или головной убор.

Пластрон — туго накрахмаленная грудь мужской сорочки, одеваемой под жилет или смокинг.

Стр. 89. *Баядера* — название, данное европейцами индийским танцовщицам, служительницам религиозного культа, а также — индийским танцовщицам, выступающим в ресторанах за плату.

Коломбина — одна из масок итальянской комедии, веселая предприимчивая крестьянская девушка. Одновременно это и персонаж лирической пьесы А. Блока «Балаганчик».

Стр. 94. ...*перед террасой с севера лежали полки*...— 51-я дивизия В. К. Блюхера, начавшая на рассвете 8 ноября атаки на Турецкий вал; захватила его приступом только 9 ноября.

С частями за заливом связи нет... и далее... *в море или резервы*...— с 7 на 8 ноября 15-я и 52-я дивизии форсировали Сиваш и 8-го — овладели Литовским полуостровом. Однако ветер переменился, и вода стала прибывать. Это создало угрозу дивизиям быть отрезанными от резервов. Малышкин верно подчеркивает, что это была самая критическая точка всей Перекопско-Чонгарской операции. Жители прибрежных деревень были брошены на укрепление затапливаемых бродов. Через Сиваш были двинуты, в результате этих мер, новые войска, отвлекшие и оттянувшие силы противника от Турецкого вала.

Дефиле — узкий проход между препятствиями (озера, горы, болота), используемый для задержания противника обороняющимися войсками.

По ту сторону

Единственное из завершенных произведений писателя. Получило высокую оценку Горького, Маяковского, Багрицкого и др.

Роман неоднократно инсценировался (напр., С. Карташев, «Наша молодость», премьера спектакля весной 1930 г. во МХАТе) для театра и кино (фильм реж. Ф. Филиппова «По ту сторону», по сценарию В. Симукова и Ц. Кин).

Роман основан на автобиографическом материале. В. Кин начал писать роман о журналистах, который должен был завершить дилогию, объединенную образом Безайса, приехавшего в Москву и ставшего сотрудником газеты. Сохранившиеся отрывки произведения опубликованы в кн.: Кин В. Избранное.— М., 1965. Образ Матвеева — собирательный. В нем запечатлены многие черты друзей Кина по Дальнему Востоку — Константина Антонова, с которым он познакомился в поезде, следующем в ДВР, и Виктора Шнейдера, с кем сдружился во время совместной работы в подполье.

Роман вместил в себя все созданное В. Кином в период работы журналистом в 1923—1927 гг. Здесь и отзвуки его «лирико-романтических фельетонов» («Старый товарищ», «Годовщина» — о подвиге Виталия Баневура), и реализация его литературной программы, выраженной в статье «Литература идеалов», в которой утверждался принцип создания не идеализированного, а найденного в жизни, «общественно нужного человека эпохи». «...Литература идеалов имеет воспитательное значение, т. к. она увлекает, заставляет подражать...» (Цит. по кн.: Гладков А. Виктор Кин.— М., 1981.— с. 34). Многое в роман было привнесено из записных книжек, писем, дневниковых заметок, отрывков автобиографии и др. Вошли в него и отзвуки полемик, проходивших на страницах «Комсомольской правды». Участвуя в них, писатель боролся с неуместными проявлениями «новых разновидностей базаровского нигилизма», «наложившего свой знак на суровый быт молодежи в годы военного коммунизма», что было оправдано временем ломки государственных устоев прежнего мира, но что утратило необходимость в новых, созидающих человека обстоятельствах жизни. «Тургенев забыт, и молодежь, сокрушая предрассудки... изгоняя из любви нежность, постоянство, «черемуху» и прочий прекрасный любовный реквизит, даже и не подозревала, насколько это ново...» («Литература идеалов».— Цит. по указ. соч.: Гладков А.— с. 33). Выступая против «опошления» Базарова богемными принципами «все дозволено» и вообще против аскетического нигилизма и бытовой распущенности, В. Кин пишет: «Время ломки, борьбы, разрушения кончилось. Страна входит в период строительства... Нужен новый человек... аккуратный, опрятный, культурный» («О типе комсомольца».— Указ. соч.: Гладков А.— с. 14). Все это объясняет концепцию книги, адресованную к современности, утверждающую живой смысл революции в каждодневных буднях по пере-

созданию мира и человека: «... Подвиг у человека бывает один раз в жизни, а черная работа — каждый день».

Особый интерес представляет проблема взаимосвязей романа «По ту сторону» с «Как закалялась сталь» Н. Островского. Кин по личной просьбе Островского был первым редактором «Рожденных бурей», обоих писателей в последний год их жизни связывала дружба и увлеченная совместная работа. Островский писал в одном из писем, что он знает и любит книгу Кина, «хотя с концом ее не согласен». Это, по-видимому, и предопределило и близость, и расхождение финальных сцен обоих романов (раздумья о самоубийстве в условиях, когда «жизнь становится непереносимой», решение написать книгу, не удавшуюся у Матвеева и доведенную до конца Корчагиным, и др.). Все это нередко приводило к противопоставлению образа Матвеева образу Корчагина. «Характер Корчагина с большим запасом прочности...» «Он не на миг, а на годы. Матвеев возвращается в жизнь через смерть. Корчагин прорывает смертельное кольцо блокады». В действительности же все это говорит о развитии и углублении героического характера в советской литературе.

Стр. 110. ДВР — Дальневосточная республика.

Стр. 141. *Довольно жить законом, данным Адамом и Евой...* — строки из стихотворения «Левый марш» В. Маяковского.

Стр. 147 ... *лежали лестовки...* — лéстовки — кожаные четки у старообрядцев.

Стр. 179 ... *с песнями прошел отряд ЧОНа...* — ЧОН — части особого назначения, военно-партийные отряды, с 1919 г, создававшиеся на заводах и учреждениях для оказания помощи Советской власти по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ

Вс. В. ИВАНОВ

Всеволод Вячеславович Иванов (12 (24) февраля 1895 г., пос. Лебяжье, ныне Павлодарской области — 15 августа 1963 г., г. Москва) — выдающийся советский писатель, автор знаменитых «Партизанских повестей» (1922) и других произведений о гражданской войне: «Голубые пески» (1922), «Возвращение Будды» (1923), «Гибель Железной» (1928), книги «Тайное тайных» (1927), романа «Пархоменко» (1939). Его перу также принадлежит автобиографический роман «Похождения факира», циклы «экзотических рассказов», книга воспоминаний «История моих книг»...

Человек яркой и самобытной судьбы, он по-горьковски рано оказался «в людях», также, мечтая об Омском университете, был вынужден пройти свои суровые «университеты» жизни. С малых лет его потянул к себе «буйный, безмерно отважный мир». Он исходил вдоль и поперек Сибирь, Урал, Северный Казахстан, мечтал добраться, «если не до Петербурга, то хотя бы до залихватской и бесшабашной Волги», «прошел пешком через нынешние целинные земли, через пески и дебри Семиречья»; от станции Арысь «зайцем» добрался в поезде до Ташкента, а оттуда в Бухару. После неудавшегося «паломничества в Индию» (будущий писатель пытался пристать к каравану, идущему в Кабул) Всеволод Иванов опять оказывается на Урале, в Екатеринбурге, затем в начале 1915 года добирается до Кургана. Революцию встречает уже в Омске. В Кургане им были написаны, а затем опубликованы в газете «Приишимье» его первые рассказы, один из которых («На Иртыше») был одобрен М. Горьким и напечатан во «Втором сборнике пролетарских писателей» в 1918 году.

За годы странствий будущий автор «Бронепоезда 14-69» переменил множество занятий и профессий: был приказчиком в мелочной лавке, матросом на пароходе, служащим цирка, странствующим факиром, сортировщиком на изумрудных копях, добровольцем омской Красной гвардии, драматургом и постановщиком собственных пьес, редактором литературной газеты «Согры» (название, означающее «поросль на болоте», которое насмешники расшифровывали зло, как «союз омских графоманов») и, наконец, автором первой безгонорарной книжки рассказов «Рогульки», которую писатель набрал сам в типографии и «издал» тиражом в... тридцать экземпляров.

Но главным во всей этой молодой одиссее Всеволода Иванова было знакомство с разными людьми, с их простыми, а нередко и легендарными судьбами, живые впечатления и глубокое знание жизни предреволюционной и «вздыбленной революцией» России. Все это легло впоследствии в основание многих и многих его книг.

В 1921 году, обнадеженный перепиской с М. Горьким, окрыленный его поддержкой, «прижимая локтем зашитые под подкладкой пальто два его письма» и уцелевшие «четыре книжки «Рогулек», Иванов добирается до Петрограда.

Публикуемый ниже отрывок из автобиографической повести Вс. Иванова «История моих книг» живо воспроизводит духовную атмосферу тех романтических лет, литературные искания молодого писателя, завершившиеся созданием повести «Бронепоезд 14-69».

УЧИТЕЛЯ МУЖЕСТВА[1]

Читатели, а чаще всего начинающие прозаики, которым хочется иметь хорошего и верного учителя, иногда спрашивают: «Кто были ваши учителя? У кого вы учились?»

Я с удовольствием отвечаю на этот вопрос. Дело в том, что сам я и поныне нуждаюсь в учителях. Во-первых, учение — бесконечно, потому что бесконечно знание. Во-вторых, жизнь не упрощается, а усложняется, и только знание поможет вам понять законы этого усложнения. И, наконец, третье,— если вы не чувствуете себя учеником, а всегда только учителем, вы неизбежно заразитесь пороком самомнения. ⟨...⟩

— Кто же, однако, ваши учителя?

— Я уже писал о них, но я с радостью повторю их имена: Горький, Чехов, Флобер, Бальзак, Л. Толстой, А. Блок. Я много раз читал и переписывал их. Переписываю и сейчас.

Эти учителя гибкого и грозного мужества, которое так необходимо художнику, научили и учат меня главному — умению видеть жизнь в ее наиболее героических, стойких и гуманистических проявлениях, видеть прежде всего человека, не только с большой буквы, но написанного вообще очень большими, заглавными и даже цветными буквами. ⟨...⟩

...В самом начале 1921 года я вышел через Миллионную на Мойку против Придворных конюшен. Настала оттепель, дул влажный ветер, и Мойка и камни мостовой были покрыты ржаво-желтым налетом. Устав, я положил связку книг — ею наградил меня Горький, считавший, не без основания, что мои знания очень малы,— на каменную тумбу и задумался.

Меня всегда, и каждый раз по-разному, удивлял Горький. Сегодня он очень болен, это заметно даже и моему совсем неопытному взгляду. Лицо у него удлинилось, нос заострился, и бровные дуги приподняты как-то странно и тревожно.

Но вот он коснулся рукой папки, где лежат рассказы молодых писателей,— и болезни словно не было. Перебирая одну за другой, стал он вспоминать, как начинали современники его, писатели, ныне известные всему миру:

— Да вы поймите же, что они начинали гораздо слабее! — воскликнул он радостно.— Вы все начали удивительно. И еще более удивительные дела ждут вас дальше,— и поэтов, и писателей, и ученых, и самых обыкновенных крестьян и рабочих.

А как он пытливо глядел на каждую нашу рукопись, огорчался каждой

[1] Глава из книги Вс. Иванова «История моих книг». Печатается по изданию: Иванов Вс. В. Собр. соч.— М., 1958.— Т. 1.— С. 117—126.

нашей ошибкой, и какой грациозной представлялась ему композиция любого нашего рассказа, который, быть может, не имел ничего грациозного.

— Вы вошли в эпоху плодотворнейшего труда, помните это! Вы будете не только писателями, а и учеными,— в своей области. И каждый, не только писатель,— каждый рабочий,— будет ученым. Большие времена вы отвоевали себе! Ученые времена. Да, ученые...

Грудь его высоко поднималась. Охваченный еще большим возбуждением, пронзительно глядя через окно на бледные и крылатые деревья сада, окружающие Народный дом, Горький повел речь об ученых. Казалось, он знает каждую работу, каждого ученого. Он помнил их всех: и тех, кто бывает в Доме ученых, и тех, кто по болезни или старости не в состоянии бывать в этом большом, теплом и очень гостеприимном Доме. Ах, как дорого стоит государству гостеприимство в эти голодные, суровые дни! Но именно это-то гостеприимство даст в свое время великие плоды!

Глаза его сверкали. Радостно было наблюдать за всеми порывами этого пленительного ума, величавого сердца и безмерного трудолюбия. ⟨...⟩

— Иванов?

Высокий человек с резким голосом, раскинув длинные руки, подошел ко мне. Я был тогда секретарем литературной студии и хорошо знал этого человека в коричневом пальто, барашковой шапке и синем шарфе с белой бахромой. Это был К. И. Чуковский.

Указывая на своего спутника, он спросил:

— Не знакомы? Блок.

Блок изредка читал в нашей студии лекции, но по разным причинам я не мог бывать на этих лекциях и видел его впервые.

— Вот здесь, напротив, живет некто Белицкий,— сказал, смеясь, Корней Иванович.— Он работает в Петрокоммуне. У него бывает серый хлеб, а иногда даже белый. Так как вы оба голодны, и я тоже голоден, и так как вы оба не умеете говорить, а значит, будете мне мешать, я пойду к Белицкому и достану хлеба.

И он скрылся в доме.

Блок стоял молча, не говоря ни слова. Он, по-видимому, думал о своем. Он работал и вряд ли видел меня. Я понимал это. Мне нисколько не было обидно, я не только не возмущался, а чувствовал восхищение. Вот стоит рядом величайший поэт России и работает! И то, что вы не лезете к нему со словами восхищения, не пытаетесь его «выпрямлять», как это часто делают другие, а просто тихо дышите, вы до какой-то степени помогаете ему. Глубокое молчание царило между нами.

Смею думать, мы оба наслаждались этим молчанием. ⟨...⟩ Послышался резкий голос Чуковского.

— Достал!

Сняв небрежно мои книги, Корней Иванович положил на каменную тумбу буханку хлеба, вынул перочинный нож и разрезал ее пополам.

— Половину за то, что достал, получу я,— смеясь, сказал он. И затем, отрезав от второй половины буханки небольшой кусочек, Корней Иванович с царственной щедростью протянул мне: — Вам, как начинающему писателю.

Остальное он отдал Блоку. Блок взял хлеб восковой желтой рукой, вряд ли понимая, что он берет. Держа хлеб чуть на отлете, он уходил рядом с Корнеем Ивановичем вдоль Мойки, в сторону Дворцовой площади и Дома Искусств. ⟨...⟩

...В Литературиой студнн, как я уже пнсал, чнтают лекцнн миогне знаменитые чнтателн н критикн города Петрограда. В последнее время, после того как поэты-пролеткультовцы несколько раз внушалн слушателям, какой редкнй случай выпал им иа долю, слушателн сталн нсправно посещать лекцнн. Но два дня назад, когда начался Кроиштадтскнй мятеж, число слушателей заметно умеиьшилось. Сегодия в студию, кроме меня, ннкто ие пришел.

Я уныло бродил по серой, промозглой комиате. Тоскливо глядеть на высокие стулья, аккуратио расставлеиные вдоль обширного стола. Кожа со стульев давно ободрана, торчат пружинки, мочала, клочки холста. Зеленое сукио со стола тоже содрано, и стол такой, словно на него брошена большая ветхая промокашка, вся в зелеиых чериилах.

На столе ведомость для лекторов. Средн них — А. Блок.

В днн, когда по распнсанию Блок должен читать лекцию, я повторяю его стихи, которые давно зиаю наизусть. Меия счнтают недурным «декламатором». Ах, еслн бы удалось продекламировать ему какое-либо, хоть самое крошечное стихотворенне! Но где там! Не хватает смелостн. И к тому же Блок стал появляться редко: говорят, прнхварывает.

Невысокий человек медленно идет по коридору. В руках у иего тоикое пальто, с плеча свнсает кашне. Я мгновенно узнаю его: по шаткому биению своего сердца. Блок! Кажется по выражеиию его сухого, темного и иесколько надмеиного лнца, что его терзает большая скрытая мысль, которую ему хочется высказать нмеино сегодня. «Какая жалость: нет слушателей!» — думаю я.

— Никого? — говорнт Блок, оглядывая комнату.

— Восстанне,— отвечаю я нзвнняюще.

— А вы?

— Я секретарь студин.

— И слушатель?

Он глянт на меня задумчиво, н взор его говорит: «Это хорошо, что вы осталнсь иа посту поэзнн. Поэзия, дорогой мой, ие менее важиа, чем склады с порохом, напрнмер».

И он вдруг спрашнвает:

— Разрешите прочесть лекцию вам?

Я важио сажусь иа другой коиец стола; пространство между нами, кажется мне, еще более увеличивает силу того событня, которое происходнт.

Блок раскрывает запнскн и чнтает медлеино, не спеша, постепеино разгораясь. Он чнтает о французскнх романтнках, н каждое слово его говорнт: «Оин были прекрасны, несомненно, но разве мы с вамн, мой молодой слушатель, менее прекрасны? Мы, вот здесь снддящие, в холодиой сырой комнате, за тусклымн, несколько лет немытымн стеклами?»

Я кнваю головой каждому его слову и про себя говорю: «Мы с вамн достойиы звания людей!» Он мие возражает: «Но разве мы одни? Нас миожество, мой молодой друг!» И я покорно ему отвечаю: «Да, нас миожество. Мы трудимся».— «И ведь правда, какой у нас отлнчный, прозрачно прекрасиый труд! И как я люблю его. А вы?»

По расписанню Блок должеи был чнтать час.

Через сорок мннут после иачала ои позволнл себе иемиожко передохнуть. Отодвннув в сторону запискн, ои, поеживаясь, подиялся.

— Одиако у вас тут холодиовато.

— И сыро.

Он читал еще сорок пять минут. Я заметил, что чернила в нашей чернильнице замерзли. Как же будет расписываться Блок? Взяв чернильницу в руки, я отогрел чернила. Блок расписался в ведомости, и я был очень доволен, что чернил на его перо собралось достаточно. Блок, молча пожав мою руку, медленным шагом покинул комнату. 〈...〉

...Блок, Горький, Есенин...— какие учители и спутники гибкого и грозного мужества наших дней!

А. Г. МАЛЫШКИН

Автобиография[1]

Родился в уездном городе Мокшане (Пензенской губернии)[2], бывшей столице мордовского княжества. Корни рода — из безземельных крестьян, бывших дворовых помещика Нарышкина, отпущенных на волю без надела. Ростки этого рода многообразны: одни шли в уезд, в мальчики, в приказчики, другие брали на откуп кабаки, третьи уходили на заработок в большие города — «на каменку» (строить церкви, дома), четвертые батрачили у богатых мужиков, пятые — орудовали на базарах и ярмарках с крапленой колодой и рулеткой. В такой обстановке прошло детство.

Почувствовать, полюбить литературу мне помогла Лермонтовская библиотека в Пензе, где я учился в гимназии. Блока и Пшибышевского, без преувеличения, пережил своим пятнадцатилетним уездным мозгом как личную трагедию, как тиф. Впоследствии так же глубоко перечувствовать пришлось заволжские рассказы А. Н. Толстого, «Петербург» Белого и «Слово о Полку Игореве», над которым я год работал в просеминарии профессора Каринского в Петербургском университете. Первая вещь,— конечно, стихи («В каземате») — была напечатана в «Правде» в 1912 году. Студентом вступил в литературный кружок В. Л. Львова-Рогачевского, с которым связано незабываемое воспоминание о первых встречах с «настоящими писателями» и о первом напечатанном рассказе (ж. «Современный мир»).

По окончании университета началась кочевая жизнь: революция, война, Черноморский флот, где я служил младшим офицером на тральщике, гражданская война, во время которой пришлось увидеть много мест и много людей. Все это было, конечно, сильнее литературы. «... С 1919 г.— Красная Армия. Оперативная работа на Восточном, Туркестанском, Южном фронтах. В 1920 г. входил в состав оперативной ячейки 6-й Красной Армии, проделавшей известный маневр у Перекопа: Кременчуг, Борислав, Каховский плацдарм — Перекоп — Симферополь...»[3].

Затем, после семилетнего перерыва, начал опять писать («Падение Даира»). Это было в 1921 году, в Таврии. В те дни, во время писания, приходилось еще иногда, по ночам, стрелять в форточку из нагана, чтобы отпугнуть бандитскую шпану.

С 1923 года началась Москва.

[1] Текст печатается по кн.: Советские писатели. Автобиографии.— М., 1959.— Т. 2.— С. 25—26.

[2] Александр Георгиевич Малышкин родился 21 марта 1892 г. в селе Богородское Мокшанского уезда Пензенской губернии.

[3] Отрывок из автобиографии, приведенный в кавычках, цитируется по кн.: Малышкин А. Г. Рассказы.— М., 1931.— С. 100.

МАЛЫШКИН[1]

В. Лидин

В литературу Малышкин вошел темпераментно, особенный. На его гимнастерке еще как бы сохранились следы гражданской войны. В упрямых черных волосах не было серебряных нитей, которые преждевременно тронули голову Малышкина, когда ему едва минуло сорок лет. Все, чем жила лучшая, передовая молодежь в годы, предшествовавшие революции, все это Малышкин принес с собой и сохранил в душе. Она так и осталась на всю жизнь студенческой, молодой, отзывчивой, поборницей справедливости, необычайно скромной, когда дело касалось Малышкина, напористой, когда дело касалось кого-либо обойденного или несправедливо обиженного. Участник перекопских боев, обожженный гражданской войной, он был женственно нежен, любил Блока и музыку, пугался успеха, который сразу сопутствовал ему в литературе, ощущая литературу как дело ответственное, требующее огромных сил и труда.

Я вспоминаю первое свое знакомство с Малышкиным, тесную квартирку на Плющихе, безбытность его еще неустроенной жизни, свежесть ритмического нагнетения в «Падении Даира» и самого Малышкина — милого, смешливого, трогательно-косноязычного, с ореховым отливом в темных глазах, только что готового развернуться, чтобы написать две замечательные взволнованные книги — «Севастополь» и «Люди из захолустья»...

Малышкин музицирует. Он ученически старателен, играя на пианино старинные вальсы или этюды Шопена: он так и требует студенческого окружения или тесной морской семьи где-нибудь в кают-компании. В его герое Шелехове много автобиографических черт — все порывы и несвершения самого Малышкина. Он наигрывает то мечтательно, то бравурно, оглядываясь на собравшихся, любитель дружбы, тесноты и веселья. Он отзывчив на любую шутку, будет оживленно говорить обо всем, но только не о литературе. Тут Малышкин становится сразу серьезен, в его глазах появляется мучительное беспокойство. Утром, наедине, когда он сядет за рабочий стол, начнется трудная борьба с фразой, ответственная работа писателя, смешком здесь не отделаешься.

Он работает трудно, скупо, перечеркивает целые страницы, недоволен собой. Он безжалостно расправляется со всем, что привнесено, неорганично, подсказано литературщиной. К литературе в ее настоящем значении у Малышкина благоговение. Его не пугает старомодность этого определения. Он сам вырос на лучших образцах литературы и понимает, что значит слово писателя.

— Как, Сашенька, работали сегодня?

— Черт знает что... черт знает что,— путаясь в косноязычной скороговорке, он как бы отмахивается от самого себя.— Никуда не годится. Все надо сначала.

Не слишком ли строго? Нет, не слишком строго. Именно так, как может и должен Малышкин. Успех в литературе — это выданный вексель. Надо по нему платить. Позорнее всего оказаться неоплатным должником перед читателем.

— Особенно советская литература! — Малышкин поднимает указательный палец.— Ведь по ней будут изучать нашу эпоху. Попробуй ошибись, хе-хе!

Но смешок нарочитый, невеселый.

---

[1] Воспоминания о А. Г. Малышкине печатаются по кн.: Лидин В. Люди и встречи.— М., 1961.— С. 49—58.

Малышкин застенчив до робости. Если надо пойти куда-нибудь на людное собрание, на какой-нибудь официальный прием — голос Малышкина по телефону: шумный, сразу тысяча слов, словесный ливень, к которому надо привыкнуть, чтобы разобраться:

— Знаете, я за вами зайду... а то окажусь вдруг один, кругом незнакомые, куда себя девать... хе-хе!

И вот в коричневом пиджачке, аккуратный, смущенный, предпочитая десять раз стушеваться, чем обратить на себя внимание, Малышкин жмется в многолюдстве где-нибудь в углу — милый, застенчивый студент с такой стеснительной душой. Но в себя не так-то легко он пускает. Мало побыть с ним в доброй компании, мало: пожалуйста, хохоток, историйки, тосты, шумный пробег по клавишам рояля, можно и потанцевать — отчего же? Но душа Малышкина замкнута. В душу к себе можно пустить только проверенного человека, мало с ним выпить, с ним нужно съесть пуд соли. Взыскующий писатель: как мыслишь? Как относишься к трудному и всенародному делу писательства. На любителей литературной поживы Малышкин набрасывается с яростью поистине клокочущего темперамента.

— Ведь это же дрянь, дрянь! Извините-с, прямо так и скажу в лицо, что дрянь! — Он носится по комнате и словно отталкивается от стены к стене. Он не переносит фальши, конъюнктурных оценок, групповых делишек.— Речь идет о литературе, о ли-те-ра-ту-ре! — скандирует он, замедляя свою обычную скороговорку.— Народ будет читать наши книги, народ.— Он становится грустным и машет рукой.— Не то мы пишем. Не так. И я не так пишу.

Его писательская комната тоже походит на студенческую. Ничего лишнего. Никаких украшений. Пианино, книжки стопками; книжки в дешевом мосдеревском шкафчике, но, извините, уж книжечка к книжечке: плохих авторов Малышкин в свой книжный шкаф не пустит.

Взыскательный мастер, Малышкин ищет вместе с тем все живое, настоящее, неутомимо правит рукописи молодых, ободряет, проталкивает. Он радуется чужому успеху. Успех, приобретенный талантом, трудом, вызывает в нем сочувствие, уважение... ⟨...⟩

Но чужую удачу он воспринимает и как укор самому себе. Утром снова полетят перечеркнутые страницы, опять будет крошиться карандаш — он пишет карандашом,— еще одна продольная морщина ляжет на лбу, еще одна седая нить протянется преждевременно в его волосах. Его честолюбие — честолюбие писателя, для которого литература не только профессия, но и цель, смысл жизни. Написанная ложь тебя же и оболжет. ⟨...⟩ Читатель — огромный, новый, жадный, требовательный, чуткий к правде. Его не обманешь. Очередная работа Малышкина мучительно, на годы, затягивается. Не потому, что он мало работает, а потому, что он строг к себе. Я помню Малышкина над фолиантами газетных подшивок: он должен был целиком войти в жизнь, быт, труд людей в первой пятилетке,— он писал «Людей из захолустья».

Литературное отрочество эпохи «Падения Даира» давно кончилось. Пришла зрелость. Но насколько Малышкин собран был в себе, в творческом своем осознании, настолько он был неорганизован, несобран в быту. Не удавались ему обычные дела. То он насадит вокруг своей дачи цветы: у всех цветы как цветы, а у Малышкина какие-то редкие перышки, но ничего, он рад и им, похваливает, даже соберет букетик — галантный кавалер — для какой-нибудь дачной посети-

тельницы. ⟨...⟩ То привяжется к нему какая-нибудь чистокровная дворняга, которую он примет за чистокровную овчарку.

— Ну что же,— скажет он не огорченно.— Собака как собака... зато чертовски умна. ⟨...⟩

Тысячи полюбивших Малышкина читателей следили, книга за книгой, за его растущим, все более строгим и взыскательным к себе писательским талантом. Только книг этих было немного. Не успел Малышкин написать главного. Он был весь в будущем, в точном смысле этих слов: в будущем. Ему дано было писательское зрение и та внутренняя совестливость, которая определяет истинный талант. Малышкин был большой надеждой нашей литературы. Он выполнил в полной мере назначение писателя, оставив книги, к которым еще не раз обратятся в будущем, когда захотят прочесть честные и правдивые страницы об эпохе великих, трудных дел и великой и прекрасной борьбы.

Незадолго до смерти Малышкина посланный принес мне на дачу огромный конверт, в каком пересылают обычно рукописи; в самой его глубине лежала маленькая записочка Малышкина: «Не выберете ли Вы до 9 час. свободной минутки — навестить подыхающего Малышкина...»

Это было в июне 1938 года. В августе его не стало.

В. П. КИН

Автобиография[1]

Чтобы разом покончить с анкетными вопросами, сообщу коротко, что я родился в 1903 году[2], в семье рабочего-железнодорожника. Мои родители решили дать мне тщательное воспитание,— с этой целью меня секли не реже 3—4 раз в год. Довольно о детстве,— все это не интересно не только для большинства читателей, но и для меня лично.

Интересное в моей жизни начинается с 1918 года, когда я с группой товарищей организовал в г. Борисоглебске ячейку комсомола. Мы устраивали митинги, бегали по собраниям, писали статьи в местную газету, которая их упорно не печатала; я имел даже наглость выступить с публичным докладом на тему «есть ли бог» и около часа испытывал терпение взрослых людей, туманно и высокопарно доказывая, что его нет. Это было ясно само собой: если б он был, он не вынес бы болтовни пятнадцатилетнего мальчишки и испепелил бы его на месте.

В город пришли казаки и искрошили 300 человек наших. Казаков выгнали. Наступил голод, меня послали в уезд собирать хлеб. Летом опять пришли казаки, и я вступил в отряд Красной молодежи. Через две недели мы с треском выставили казаков из города, а еще через месяц они опять нас выставили. На этот раз я остался в городе и попробовал вести среди белых пропаганду. Но в красноречии мне не везло никогда: комендант города отдал приказ о моем аресте, пришлось скрываться и прятаться.

Потом их выгнали опять.

Весной 1920 года я отправился добровольцем на польский фронт и был назначен политруком роты. Здесь я увидел настоящую войну, по сравнению с которой наши домашние делишки с казаками показались мне детской забавой. Не-

---

[1] Текст печатается по кн.: Кин В. П. Избранное.— М., 1965.— С. 325—326.

[2] Виктор Павлович Кин родился 14 января 1903 г. на станции Новохоперск Воронежской губернии.

которое время я пытался разобраться в своих впечатлениях и решить, что ужаснее: сидеть в окопах под артиллерийским обстрелом, или бежать, согнувшись, по голому полю навстречу пулеметному огню, или отстреливаться от кавалерийской атаки. Я отдал предпочтение пулемету. Эта холодная, расчетливая, методически жестокая машина осталась самым сильным воспоминанием моей семнадцатилетней жизни.

После фронта я вернулся в свой город. Там был новый фронт — бандиты.

До 24-го года я был на партийно-комсомольской работе, побывал на Дальнем Востоке, на Урале. В 24 году я приехал в Москву и поступил в одно высшее учебное заведение, называть которое я не буду.

Веселое это было место — мое учебное заведение. В нем нас обучали люди, которые никогда не были профессорами, наукам, которых никогда не было на свете. Они выходили на кафедру и импровизировали свою науку. Мы, студенты, относились к ним добродушно и не мешали их игре. ⟨...⟩

Нас торжественно, с речами и музыкой, выпустили из этого вуза. ⟨...⟩

О ВИКТОРЕ КИНЕ[1]

Виктор Шнейдер

...Герои романа «По ту сторону» не из тех якобы положительных героев, которых никаким прессом хвалебных рецензий не загонишь в душу читателя. Они были слеплены из живой плоти. Теплая кровь простых смертных, полная страстей, слабостей и противоречий, бежала в их жилах. Они спотыкались, падали, но шли к цели. Они мечтали, спорили, заблуждались и находили истину. В романе есть борьба, любовь, дружба, смерть, жизнь — все это настоящее, с большой буквы. Ветер эпохи рвался с его страниц, и «октябрьское, руганое и пропетое, пробитое пулями знамя» плескалось на этом ветру и звало вперед.

Роман вышел несколькими изданиями. Его инсценировали для театра и кино. Им зачитывались рабочие и студенты, юные «фабзайцы» и седоусые ветераны подполья. Комсомольцы тридцатых годов, уезжая на стройки первых пятилеток, укладывали его в дорожные чемоданчики со своим нехитрым скарбом. Безайс и Матвеев видели шахты Кузбасса и домны Магнитки. Они слышали тарахтение первых тракторов на колхозных полях и треск пулеметной стрельбы на маньчжурской границе. ⟨...⟩

...Безайс и Матвеев снова в пути, и только того, кто вдохнул в их жизнь, нет сегодня с нами. «Воплотиться в строчки» дано далеко не каждому избравшему труд литератора своей профессией. Автору романа «По ту сторону» это было дано. В страницах романа, полных страстной веры в торжество своего дела, полных любви к людям и тонкого юмора, живет и будет жить Виктор Павлович Кин, настоящий коммунист и большой писатель.

Он сказал достаточно для того, чтобы, как говорили Ильф и Петров, «остаться». Он не сказал и десятой доли того, что мог сказать. При всей яркости созданных им образов в них трепещет лишь частица светлой души художника. Сам он был во сто крат шире и глубже своих героев — человечески обаятельного

[1] Автор воспоминаний Виктор Адольфович Шнейдер был близким другом и соратником Кина по комсомольской работе и подполью на Дальнем Востоке; по свидетельству современников, он являлся одним из прототипов образа Матвеева. Текст печатается в сокращении по кн.: Всегда по эту сторону: Воспоминания о Викторе Кине.— М., 1966.— С. 19—25.

Безайса, мужественнее сурового Матвеева. Он не терпел пышных метафор в книге и обывательской мишуры в жизни. Он не искал ни славы, ни почестей, ни чинов. Он рос в рядах, а не из рядов. Он был из породы тех, кто считал, по Горькому, что высшая должность на земле — быть человеком. ⟨...⟩

Борисоглебская комсомолия. Кин стал ее организатором и вожаком. Бурные месяцы демонстраций и голода, диспутов и разрухи, реквизиций и субботников. Кипение страстей, в котором сталь накаляется добела.

Приходит пора проверить ее на прочность, испытать ее ледяным ветерком смерти.

И вот — угрюмые леса Тамбовщины. Антоновский мятеж. Посвист первых пуль, посланных из бандитских обрезов. Первые встречи с глазу на глаз со смертью. Первый, обыкновенный человеческий страх и то чувство, с которого начинается подлинная отвага,— боязнь быть заподозренным в страхе. Кин выдерживает экзамен. На польском фронте он уже политрук роты. Весна 1922 года застает его на Дальнем Востоке.

Партия послала его сюда на укрепление кадров подполья. С группой комсомольцев нехожеными таежными тропами пробирается он в истекающее кровью Приморье.

...Штаб партизанских отрядов, знаменитое урочище Анучино, неприступная крепость, о которую не раз ломали зубы японские интервенты и белогвардейские полчища... Худощавый, бледный юноша, с виду совсем еще мальчик, входит, пригибаясь, в курную баню, где заседал Приморский обком комсомола. Худые плечи обтянуты брезентовой курткой. На обветренном лице горят веселые, чуть-чуть лукавые глаза. Их лучистая голубизна светится стальной волей, неукротимой смелостью и мягким юмором.

Таким запечатлелся облик Кина в памяти друга, впервые встретившего его там и прошедшего с ним рука об руку весь остальной его жизненный путь.

Период подполья, пожалуй, самый захватывающий период в биографии Кина. Он полон осязаемой романтики. Он до предела насыщен борьбой. Враг стоит на последних своих рубежах, он сопротивляется с ожесточением обреченности. Борьба разгорается с каждым часом, она идет днем и ночью, она становится будничным делом, формы ее многолики. Дерзкие партизанские налеты сменяются ювелирной работой конспираторов, отсидка в белогвардейских тюрьмах — отчаянными схватками врукопашную во мгле.

Виктор Кин в первых рядах бойцов, в самой гуще водоворота. И может быть, он один видит то, чего не замечают другие,— всю героику этих дней, так прочно вошедшую в быт. Истрепанные тетрадки в клеенчатых обложках лихорадочно заполняются записями — пейзажные зарисовки и заседания подпольного обкома, бои и походы, провалы и бои, друзья, лица, события, имена, даты. Еще неумелая рука торопится. Ибо второе призвание Виктора Кина — творчество.

Это и определяет его судьбу после гражданской войны. Партия берет его на вооружение. Он редактирует комсомольскую газету в Свердловске. Кончает институт журналистики и литературное отделение Института красной профессуры. В «Комсомольской правде» и в «Правде» печатаются его фельетоны. В журналах появляются его первые чудесные маленькие рассказы. В 1928 году выходит в свет его роман «По ту сторону».

В 1931—1936 годах Кин — корреспондент ТАСС в Италии и во Франции.

В 1937 году он редактор «Журналь де Моску». В эти годы он начинает новый большой роман из современной жизни, темой которого была партия и ее борьба. Но закончить роман Виктору Кину не удалось. Смерть нанесла ему предательский удар из-за угла. Он умер в расцвете жизненных сил, унеся с собой всю глубину своих творческих замыслов[1]. ⟨...⟩

...Он был преданным другом, одним из тех друзей, которые никогда не подведут. И неизменно он был предан тому знамени, за которым шел с детских лет, знамени, на котором начертано бессмертное имя — Ленин.

Виктор Павлович Кин жил и умер коммунистом. И сердце его, бившееся и под изношенной красноармейской гимнастеркой, и под официальным смокингом в бытность за границей, было всегда сердцем революционера.

---

[1] В последние годы жизни работал над антивоенным романом «Лиль» и романом о журналистах, где в качестве главного героя действует Безайс. Замыслы остались нереализованными; сохранившиеся отрывки опубликованы в кн.: Кин В. П. Избранное.— М., 1965.

СОДЕРЖАНИЕ

СЛУЖУ РЕВОЛЮЦИИ

Составнтель, автор предисловня н комментарнев
Александр Григорьевич Лысов

Зав. редакцней *Г. Н. Усков*
Редактор *Ю. Д. Тарасов*
Художннк *Н. А. Абакумов*
Художественный редактор *Л. Ф. Малышева*
Техннческий редактор *Г. Е. Петровская*
Корректор *Л. С. Вайтман*

ИБ № 11326

Подпнсано к печатн с днапознтнвов 31.03.87. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бум. тнпограф. № 1. Гарннт. лнтерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 16 + 0,25 форз. Усл. кр.-отт. 16,75. Уч.-нзд. л. 17,92 + 0,36 форз. Тнраж 730 000 экз. Заказ 85. Цена 80 коп.

Ордена Трудового Красного Знаменн нздательства «Просвещение» Государственного комнтета РСФСР по делам нздательств, полиграфнн н кннжной торговлн. 129846, Москва, 3-й проезд Марьнной рощн, 41.

Саратовский ордена Трудового Красного Знаменн полнграфнческнй комбннат Росглавполнграфпрома Государственного комнтета РСФСР по делам нздательств, полнграфнн н кннжной торговлн. 410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.

Началось время, о котором не рассказать
простым перечнем фактов.
Время ломки биографий,
время неожиданных негаданных профессий,
время, когда многим приходилось
рождаться сызнова!

А. Малышкин

Я учусь большему и лучшему,
что может мне дать современность,—
революции!

В. Кин

80 к.